

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
в повестях и романах

БОРИС
АКУНИН

БОХ
и
ШЕЛЬМА

РР

Annotation

Две повести, входящие в эту книгу, являются художественным сопровождением второго тома «Истории Российского государства», посвященного ордынской эпохе. Действие первой повести «Звездуха» относится ко времени монгольского завоевания; действие второй повести «Бох и Шельма» – к периоду борьбы русских земель за освобождение.

- [Борис Акунин](#)
 - [Звездуха](#)
 - [Часть первая](#)
 - [О гибели богатырей русских](#)
 - [Манул из рода Манулов](#)
 - [Великая Яса](#)
 - [Деревянный город](#)
 - [На саблю](#)
 - [Вернулась?](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [В Преисподней](#)
 - [Как седлают молодых кобылиц](#)
 - [Тихолепие](#)
 - [Рождение цветка](#)
 - [Первый снег](#)
 - [Монголки не плачут](#)
 - [Бог милостив](#)
 - [Бох и Шельма](#)
 - [Житие несвятого Иакова](#)
 - [Поучение мудрого хитрому](#)
 - [Слово о дальних странствиях](#)
 - [Чудо о волшебной змее](#)
 - [Дастан о заколдованной деве](#)
 - [Видение о благодарных душах](#)
 - [Хождение за три степи](#)
 - [Сказ о добром молодце и красной девице](#)
 - [Повесть о неправде на Непрядве](#)
 - [Плач о Страшном Суде и неотвратном воздаянии](#)

Борис Акунин

Бох и Шельма (сборник)

© B. Akunin, автор, 2015

© ООО «Издательство ACT», 2015

* * *

Звездуха
Повесть

Часть первая Война

О гибели богатырей русских



Широкая, покрытая снегом равнина вся сверкала на солнце, так что больно смотреть. Мальчик в драном тулупчике, с куском овчины на голове, заменившим шапку, шел и жмурился, а иногда тер глаза — путь лежал навстречу солнцу, на восход. Внизу всё было белое, сверху голубое, сшитое между собой золотыми нитями. Но красота зимнего мира мальчика не радовала. Он сопел, злился на плетущегося сзади старика. Во-первых, тому было легче идти по уже протоптанному. Во-вторых, слепому не приходилось щуриться от нестерпимо яркого сияния. А в-третьих, дед нынче был не в духе, всё норовил ткнуть в спину посохом.

— Ты по дороге идешь иль напрямки прешься? Не сбился, дурья башка? Идем, идем, а встречных никого нет, — бурчал слепец. — Ноги-то не подымай, приволакивай. Разгребай снег, разгребай!

Получив очередной удар, мальчишка шмыгнул носом, зашуршал войлочными чунями, прокладывая тропку по шире. На прямой, как копье, дороге, обрамленной сугробами, снег был не такой уж глубокий — только тот, каким припороли за ночь. Но с рассвета здесь еще никто не прошел,

не проехал. Снежный покров был нетронут.

— Куды тащимся, — ворчал поводырь, ускоряя шаг — подальше от клюки. — Может, наврали тебе в Свиристеле, надсмеялись над калекой. Людей не видно, ничего не видно. Нет там никакого села. До ночи не дойдем — замерзнем в поле.

Морозец был легкий, покусывал небольно, будто игривый кутенок, но к вечеру щенок вырастет в лютого кобеля с острыми зубищами. До захода, впрочем, было далеко. День только начинался.

Палка впustую рассекла воздух — не достала.

— Дурень! Дорога есть — значит, куда-то ведет, иначе на кой она? И село есть. Называется Овчарово, там овчары живут. Большое село, богатое, с церковью да с колоколенкой. — Стариk говорил бойко, будто сказку рассказывал. Он и был сказочник. — Вот за Овчаровым уж точно ничего нет, одна только степь, до самого края земли. А про Овчарово-село мне на княжьем подворье всё обсказали. Село новое, после половецкого замирения поставленное. Овчары легко живут, сытно. Землю не пашут, потому у них — луга с душистыми травами. Знай, овец с пастбища на пастбище гоняют да шерсть стригут. Церковь у них железом крытая, с медным колоколом. У попа свой терем со службами. И поп тот большущий охотник до былин и сказок. Пока все не переслушает, от себя не отпустит. Если повезет, там, в Овчарове, и перезимуем.

— Лучше бы в Свиристеле перезимовали. Ладный город.

— Ладный-то ладный, да вишь князь с княгиней какие, — вздохнул слепец, поправляя за спиной мешок с гуслями. — Щедры, ласковы, а привередливы. Какую сказку ни начни — говорят, знаем, другую давай, какой не слыхивали.

— Так насочинял бы новых. Не пришлось бы тащиться по холоду невесть куда.

— «Насочинял бы». Будто это орехи щелкать.

— Нашелкаешь ты орехов, без зубов-то, — одними губами прошептал парнишка.

Но слух у калеки был острый — услышал.

— Поговори, куренок!

Посох опять впustую рассек воздух.

Препирательство было привычное, не для ругани, а чтоб не заскучать от долгой ходьбы.

Пожевав морщинистыми губами, потерев рукавом заиндевевшую седую бороду, стариk пробормотал:

— ...И то, чем снег без толку месить. Сочиню-ка. А ты запоминай,

слышь?

Память у калики в последнее время начинала слабеть. Старые былины и песни хорошо помнил, а новые, случалось, забывал. Это обидно, особенно если хорошо сочинилось. Но у мальчишки, даром что дурак, память была цепкая. За то его сказитель и кормил. Поводырствовать всякий может, а чтоб длинный сказ в точности повторить и ничего не перевратить – это от Бога. В добрую минуту, хорошо поев и обогревшись, слепец говоривал: «Повезло тебе, Савша. Вот помру я, а тебе с зеленых лет верный кусок хлеба останется. Сам ты сказок не сложишь, но тебе и моих до скончания жизни хватит. Глаза только себе выколи – люди больше давать будут. На кой они, глаза? Суeta от них одна и завидство».

– Про битву на Калке-реке любят, – заговорил сам с собой былинник. – Но про нее все нынешние поют. Князь вон и слушать не стал. Надо бы Калку эту как-нибудь поновить… Перевернуть, чтоб заиграла…

Мальчишка шел, помалкивал. Знал: сейчас мешать нельзя.

– Хороший сказ, какой люди любят, он что? – продолжал рассуждать слепой. – Чтоб был с богатырями и красавицами, это беспременно. Чтоб со слезой – бабам поплакать. И с надеждой в конце, а то и поколотить могут.

Помычал, поболтал неразборчивое, попробовал напеть сначала басисто, потом тонко, жалобно. Откашлялся.

– Ну, слушай, Савка. И гляди у меня, если переврешь… Запущу я про Калку вот как, никто еще так не сказывал. Все говорят: на Калке проклятой русские богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич и Попович Алеша голову сложили. Но как сложили, никто не знает.

– А ты знаешь? – с любопытством обернулся поводырь.

– «Быль о гибели богатырей русских», – торжественно объявил былинник, не слушая. Сбился, опять забормотал: – Сначала про Божью кару спою. Как Господь за грехи наши прогневался, степное лихо наслал. Это можно из «Былины о Святославе Гориславиче» взять, только «поганых половцев» на «поганых татаровей» поменять, а Тугарина на Субудай-хана, и ладно будет. А потом сразу про то, как богатыри с женами прощались.

И затянул, приоравливая медленный напев к таким же небыстрым шагам:

– «У Ильи жена – дочь кузнецкая, а по имени Марья Ниловна. Говорит ему, сама плачется, слезы горькие утираючи: «Ты возьми, Илья, крестик кованый, да повесь его под рубахою. То железный крест, он с молитвою, с наговорами мною выкован. Коль навалится сила лютая, сила грозная, несразимая, ты сорви с груди крест намоленный, да коснися им до сырой земли. Земля-матушка тут расступится, заберет тебя, упасет тебя.

Обратишься ты малой семечкой и спасешься тем от погибели».

– Илья Муромец – малой семечкой? – недоверчиво спросил мальчик.

– Никшни! Повтори лучше, верно ли запомнил.

Поводырь повторил слово в слово.

– То-то. Дальше слушай. «У честного Добрыни Никитича – Евпраксия жена, лебедь белая, пава райская, дочь боярская. Повязала снурок, нить шелковую, на снурке на том мала ладанка. «Гой ты, сокол мой, мил Добрыньюшка, знать нескоро нам с тобой свидеться. На погибель ты отправляешься, биться с ворогом несчисляемым, с ратью страшною, сатанинскою. Но когда от ран изнеможешься, когда верный меч переломится, разорви снурок из последних сил, да подбрось заветную ладанку. Ты взлетишь за ней ясным соколом, в облака взлетишь, в небо чистое. Не пронзят тебя копья острые, не догонят стрелы каленые». Ну-ка!

Парнишка старательно пропел весь кусок, стараясь, как и сказитель, говорить за «лебедь белую, паву райскую» тоненьким голосом.

– Теперь про Алешу Поповича. «А Алешу, сына поповского, провожала девка пригожая – черноглазая, ведьмоватая, с половецким полоном добытая. И взяла она кольцо медное, трижды молвила слово тайное, и надела тот перстень любому через лево плечо да на малый перст. «Если гибель придет неминучая, помяни меня, девку грешную, да стряхни кольцо в зелену траву – только тем от смерти избавишься. Обратишься ты змейкой медною, уползешь подземль, в норы темные, а враги твои ненасытные так голодными и останутся ...» – Стариk оборвал пение, деловито сказал: – Ну, про битву-бой я из старого намешаю. – И скороговоркой: – «Как махнет Илья саблей вострою, так прорубит повдоль переулочек, вдругорядь махнет, раззадорившись, средь татар откроется улица» и всяко такое. Это ладно... А в конце опять запущу новое. «Налетают злые татарове, рубят саблями, колют копьями. И повытекла у Илюшеньки из глубоких ран чиста кровушка, нету мочи щит от земли поднять. Из последних сил Илья Муромец кинул оземь крест свой намоленный, и за тем крестом сгинул со свету, в один миг исчез, будто не было». Так ладно будет, с Ильей. А Добрыню с Алешой пускай татарове в полон возьмут, как наших князей взяли. «Навалились татары бесчисленно на Добрыню с Алешой Поповичем, стали руки вязать, руки белые, стали петли тугие закидывать. Как на левой ручке Добрыниной сразу сто татар висом свесились, а за праву руку могутную аж полтысячи уцепилися».

– Не много будет – полтысячи? – засомневался Савва.

– Не мешай! «С левой рученьки лютых ворогов сотряхнул Добрыня, изладился, но десницу свою, сколь ни тужился, от татар поганых не

вызволил. Делать нечего. Разорвал снурок, вскинул ладанку ажно до неба, и взлетел Никитич за ладанкой ясным соколом в небо синее».

Мальчик задрал голову. Небо было синее, и в нем летала птица. Только не сокол – ворон.

– А Попович что? Тоже одну руку высвободил?

– Нет, он же слабее Добрыни. «Повели Алешу плененного к Субудаюхану поганому. Субудай сидит, не мед-пиво пьет, пьет из чаши кровь христианскую. Ликом черен он, гласом рóкотен, тушей будет с башню настенную. Не на троне сидит, не на бархате – на князьях-боярах закованных, татарвою в плен заарканенных. «Подходи, – говорит он Поповичу, – я тебя, молодцá, приложу. Поклонись ты только Диаволу, отрекись от веры отеческой, а уж я тебя, добрый молодец, одарю сщедrá златом-серебром, будешь первым моим воеводою. А не примешь веру поганую, задавлю с князьями-боярами».

Парнишка слушал, шевеля губами – запоминал.

– Ну, дале ему Попович из «Былины о князе Владимире Красном Солнышке» скажет, про Сатаны прислужников и поганство, – прикидывал вслух сказочник, – в самый раз подойдет. Помнишь?

– Помню, помню. Ты дальше сказывай. Что с Алешей было?

– «Ухватили татары Поповича, наземь кинули, к прочим пленникам. Сами все с Субудаем уселися, знай, пирут, собой похваляются. Скинул тут Алексей кольцо медное, половецкой девкой даренное. Обратился змей ядовитою, да подполз к владыке поганому, укусил его под коленкою. Опрокинулся царь неправедный, очи выпучил, язык высунул, и подох, скотина поганая, околел – туда и дороженька».

– Так его! – закричал Савва. – Ай, хорошая былина!

– Погоди, не всё еще. Былина выйдет совсем складная, если под конец такое запустить, чтоб все призадумались. Ты свое допел, а они в затылке чешут, вздыхают.

Старик остановился, уперся посохом в снег, на время умолк.

– «Наказал Господь войско русское, за грехи и вины великие, и татаре, семя бесовское, стали Господу Богу ненадобны. Дунул Он из Града Небесного, и смело всю силу татарскую. Побежала она, укатилася на восход, откуда явилась. С той поры и духа татарского на земле нигде не осталось. Но и Русь, по Божьей немилости, без защиты ныне сиротствует. Где ты, где ты, рать богатырская? Где вы, русской земли охранители? Из земли растет Илья Муромец, к свету тянется-пробивается, один Бог решит, когда вырастет. И Никита, сокол лазбревый, в облаках летает да мечется. Не сыскать ему, острокрылому, до Руси дорогу обратную. Чешуй блестит,

извивается, через степь ползет змейка медная. Далеко ей, чай, пресмыкается, через степи, реки да паводки. Ты расти скорей, мил Илюшенька. Ты летай-лети, мил Добрыньюшка. Ты ползи, ползи, мил Алё...»

Оборвав сказ на полуслове, слепой вдруг умолк и потянул носом воздух. Нюх у него был еще острее, чем слух.

От густого кустарника, что торчал прямо из придорожного сугроба, потянуло ветерком, и старик что-то учゅял.

– Кислым несет, – сказал он. – Овца запутала?

Мальчишка прикрыл глаза ладонью от солнца.

– Не видать.

– Что ты врешь? Вон там, близко! – Сухой палец показывал прямо на ракитник. – Что там?

– Кусты.

– Поди, поищи. Коли овца – наша будет. Иди, песий сын, пока палкой не согрел!

Паренек присмотрелся к кустам повнимательней, но все равно ничего не увидел. Вздохнул, все-таки пошел. Старик был настырный. Втемяшется какая блажь – не отвяжется.

Короткая толстая стрела без оперения ударила мальчика точно в переносицу. Он и не вскрикнул. На землю упал уже неживым.

Прямо из сугроба, весь залепленный снегом, поднялся человек: плотный, сутулы, одетый в косматую шкуру, с коротким луком в руке. Узенькими глазами-щелками он смотрел на беспокойно топчувшегося слепца. Чего-то ждал или, может, колебался.

– Упал? – сказал былинник, вращая бельмами. – Вставай, что лежать-то? Эй, Савка!

Убийца опустил лук, спрятал обратно в колчан приготовленную стрелу. Повернулся, пошел прочь.

– Куда ты? – переполошился калека. – Саввушка! Обиделся? Прости старика грешного! Не по злобе ругаюсь! Саввушка! Не бросай меня! Пропаду я один!

Чужой человек обернулся на жалобно причитающего старика. Остановился.

Слепой услышал, обрадовался.

– Так-то лучше, Саввушка. Ступай ко мне. Вишь, я сказку какую сложил – в селе заслушаются. Угостят, обогреют.

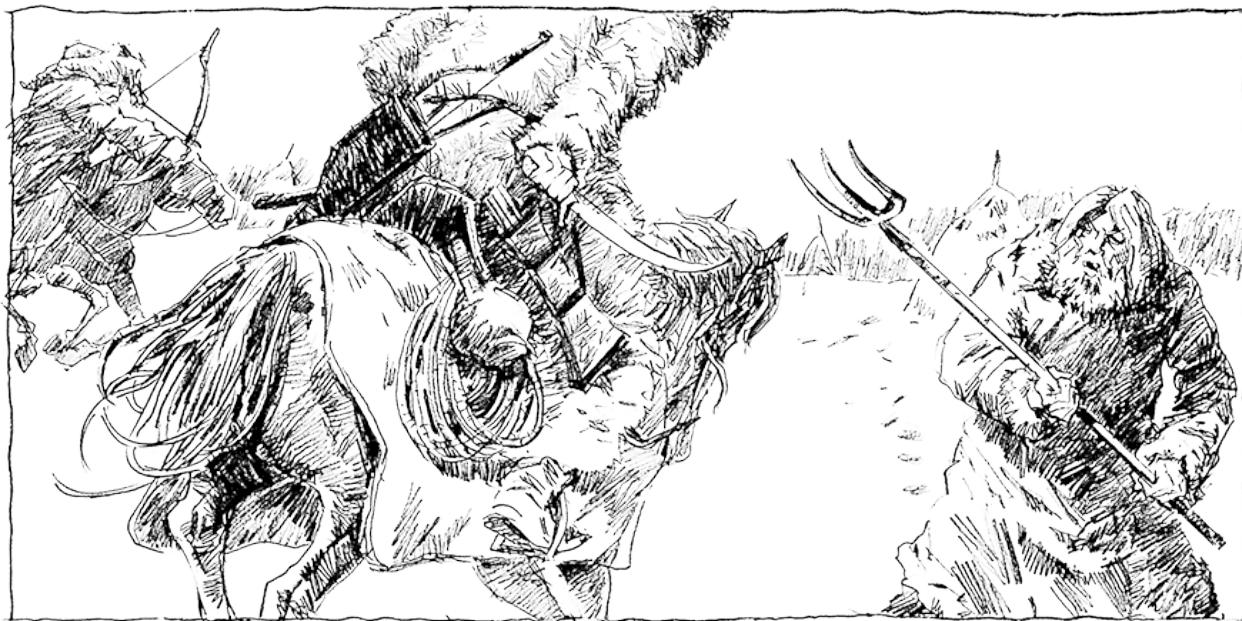
Косматый со вздохом снова достал стрелу. Коротко, со звериной

грацией вскинул лук. Тетиву с малого расстояния натянул слабо, она даже не тренькнула.

– Иди-тко сюда. Я тебе коврижки медовой откусить дам, мне свиристельская княжна подари…



Манул из рода Манулов



За тридцать с лишком зим сплошных войн и походов сердце у Манула так и не зачерствело, а, как известно, человеку от доброты один убыток. Несчастный ульгэрч-сохор, слепой сказитель, опасности не представлял. Ничего не видит, ничего никому не расскажет. Но он так испуганно причитал, так метался на пустой дороге, что Манул поддался жалости. Что будет с одиноким стариком, когда по снежным полям пройдет железный Нижнеорхонский тумен? Кто приютит калеку? Кто объяснит, что творится на свете?

Мягкосердечие обошлось Манулу во вторую калгу кряду. Калга – беззвучная стрела с плоским костяным наконечником, который при

попадании в цель расщепляется, второй раз не используешь. Стоит такая стрела дорого. Собираясь в разведку, Манул, как положено, наполнил колчан одними калгами. Летят они бесшумно, разят наповал. Нет ничего лучше, когда нужно убить косулю, не напугав остальное стадо. Или снять дозорного.

Эх, надо было саблей, запоздало посетовал Манул. Вытер бы клинок о снег – и всё.

Когда вдали на белой дороге показались две черные точки, Манул велел десятку спрятаться в овражке, а сам зарылся в сугроб у обочины. Старик с мальчишкой шли медленно. Пока дотащились, намерзся.

Но это ничего. Пятнадцать или больше зим назад, когда воевали в Хорасане, отрядили Манула следить за войском султана Джелала. Зарылся Манул в горячий песок бархана и сидел там, пока мимо не проследовала вся длинная колонна всадников. Сварился, как куриное яйцо, когда китайцы запекают его в золе. Сделался такой же багрово-лиловый. Нет, холод лучше, чем жар. Добрее, привычнее. Потому монголы и любят воевать зимой. Зимой замерзают реки и болота. Зимой на белом далеко видно. Зимой раны меньше болят и не загнивают.

Вернувшись к овражку, нукерам он ничего не сказал, просто кивнул: по седлам. А Звездухе, подойдя, шепнул на ухо: «Потерпи, вечером дам тебе вареного овса».

Кобыла нежно толкнула его мордой, кивнула головой с белым пятнышком на лбу – по этой звездочке и получила своё имя. Звездуха любила вареный овес, теплый. Но могла питаться и сухой травой, даже пальми листьями, которые сама добывала из-под снега, разгребая его копытами. Никогда не капризничала, не жаловалась.

Была она неказистая, на бегу не сказать чтоб быстрая. Но простому десятнику казистую лошадь держать и не по чину. Сотник позавидует – зачем это нужно? А что не быстрая – зато умная и проворная. Если надо кого догнать или, наоборот, уйти от погони, Звездуха выберет самый лучший путь, а это важней скорости. И не споткнется.

Ближе Звездухи у Манула на свете никого не было. Даже не то чтоб ближе. Вообще никого больше не было. Только они двое.

Коня обычно как отбирают? Захлестывают арканом двухлетка и объезжают, приучают ходить под седлом, слушаться узды. А в два года лошадь уже взрослая, с характером, с самоуважением. Чтобы такую к покорности привести, ей надо дух сломать. Но конь со сломанным духом все равно что человек со сломанной душой. Все равно что богол, раб, даже хуже. Богол хоть о свободе мечтает.

Звездуху Манул присмотрел еще жеребенком. Долго ходил за выводком, наблюдал. Как-то раз молодняк стоял на крутом берегу реки. Хотят пить, а спуститься не умеют. И вдруг одна чубарая, рыжая, со звездочкой на лбу отчаянно тряхнула гривой, да и сиганула вниз. Упала на мелководье неловко, боком, но даже не всхрапнула. Встала и начала пить. Тогда-то Манул и решил: моя.



Ходил к ней в табун каждый день. Лакомил с руки вкусным, играл, разговаривал – чтобы полюбила его голос и научилась понимать слова. Спал с ней под одной попоной. И скоро кобылка уже сама, завидев Манула, бежала навстречу. Ходила за ним, как собачка. Обижалась, когда уходил.

Первый раз он сел на Звездуху, когда она окрепла, наполнилась силой. Молодка только развеселилась, восприняла это как очередную игру. Манул скжал ее бока коленями – повернула голову, сочла за ласку. Так, играючи, и выучилась языку скачки.

Скоро десять лет, как они вместе. Прокатились круглым кустиком-хамхулом по всей великой Степи, от края до края. Где только не бывали.

Сравнялись в возрасте, потому что у лошадей век короче. Оба уже немолодые, но еще крепкие. И умные, жизнью ученые. Людей, кто умнее Звездухи, еще поискать надо, а про лошадей и говорить нечего. Манул не променял бы ее даже на саврасого жеребца высокородного Гэрэл-нойона. Ни на что не променял бы. Тому, кого любишь, все богатства мира не замена.

Один нукер спросил:

– Далеко еще до города русов, Манул-мэргэн?

Манул – дикий степной кот. Десятника так звали не потому что похож – кошачьего в нем совсем ничего не было, а потому что происходил из рода Манулов. В детстве звали иначе: Молчун. Он был неразговорчив, всегда сам по себе, вот и называли. Когда приезжал к своим на побывку, снова становился Молчуном. Но в родном *нутуге* он бывал редко. Когда юнцом поступил в войско великого Чингисхана, да будет его память священна, во всей сотне из рода Манулов был он один, ну и превратился просто в «Манула». Потом, когда постарел, сделался десятником, младшие стали прибавлять «мэргэн» – меткий стрелок. Стрелял Манул и правда лучше всех в сотне, а хороших лучников в сотне хватало.

– Час рысью. Если вчерашний лазутчик не соврал, – ответил Манул. – Рассыпаться по полю, глядеть в оба! Чуть что – сами знаете.

Десяток *алгинчи*, один из передовых дозоров тысячи высокородного Гэрэл-нойона, которая, в свою очередь, была передовым отрядом Нижнеорхонского тумена, авангарда всей великой армии, вытянулся цепью по обе стороны от дороги. Расстояние от всадника до всадника – полсотни шагов.

Сам командир ехал посередине, прямо по дороге, что вела в город русов. Из него, как сообщил лазутчик, ведет только два торных пути: один сюда, на восток, другой на запад. Но западную дорогу должен перекрыть десяток рябого Нохоя. Обойдут город степью – и закупорят, как кубышку. Никто из города не выберется, весточки остальным русам не передаст. В начале войны, если враг не ждет нападения, всегда так делают. Это уж потом, когда начнется переполох, к вражескому хану или князю шлют посланцев, согласно Великой Ясе: смирийтесь или умрите. Но первый вражеский город лучше взять с наскока.

Ночью захватили большой поселок, но это было просто, потому что поселок – не город. Ни стен, ни гарнизона. Кто из крестьян попробовал убежать, всех догнали. Зимой легко догонять – следы на снегу. В город о нападении сообщить было некому. И нынче Манул получил обычный для

алгинчи приказ: всех встречных убивать. Нужно, чтобы город не насторожился, не затворил ворота.

Шуба у Манула из белого барана, малахай из белого яка, Звездуха укрыта белой попоной. Издалека, да против солнца, Манула заметить трудно, а ему всё видно. С годами глаза стали еще зорче, чем в молодости.

* * *

На пути встретили людей еще один раз.

В поле, где летом, верно, был луг, стояли укрытые скирды, и двое, мужчина и парень, накладывали сено в повозку. Монголов они заметили, когда те подъехали уже совсем близко.

Русы были непуганые – знать, давно из Степи никто не набегал. Уставились на конников, быстро приближавшихся на низких мохнатых лошадях. Лишь когда Звездуха, послушавшись легкого сжатия коленей, пустила вскачь и Манул с тихим, приятным шелестом выдернулся из ножен саблю, мужик – рослый, с широкой, наполовину седой бородой – понял, выставил вперед вилы. Крикнул что-то парню, тот спрыгнул с повозки, побежал прочь по целине.

От взмаха вил Манул уклонился, разрубил бородачу голову клинком превосходной дымчатой стали. Сабля, как Звездуха, была собой невидная, но отменная. Прочнее алмаза, острее китайской бритвы. Когда брали богатый город Самарканда, Манул снял ее с убитого бека. Нарочно заменил золотую рукоять на деревянную, украшенные каменьями ножны – на простые кожаные. Чтоб никто не позавидовал.

Нукеров, которые хотели погнаться за юнцом, Манул остановил. Стрелу тратить тоже не позволил.

Был у него в десятке молодой булгарин из недавнего пополнения. Совсем неопытный, никогда еще не убивал. Его и послал, сказав ободряющее слово.

Булгарин (имя ему дали Сувар, по названию города, где взяли в войско) погнал коня и быстро поровнялся с бегущим. Махнул саблей – мимо. Парень повернулся, заметался зигзагами, будто заяц. Сувар опять за ним. Но когда человек знает, что будут рубить, и оглядывается, достать его клинком не так-то просто. Второй, третий, четвертый раз Сувар наезжал на руса, да всё промахивался. Нукеры кричали обидное, но Манул их устыдил: забыли, как сами первый раз человека убивали?

Игра, однако, могла закончиться плохо. Рус бежал не куда глаза глядят,

а к балке. Скатится по склону – гоняйся за ним потом. Только время тратить.

Манул вынул лук, прикинул расстояние, силу и направление ветра. Стрелы дальнего боя, *хоорцахи*, были у него во втором колчане, притороченном к седлу. Целился тщательно – нужно было попасть вертлявому беглецу точно под затылок. Чтобы убить сразу и хоорцах не попортить. В юности позвонки на шее тонкие, не должны погнуть острье.

Воины восторженно завопили. Выстрел был хорош. Но Манул позволил себе довольно улыбнуться, только когда, свесившись с седла, выдернул хоорцах и убедился, что тот цел.

Убитый будто решил приподняться вслед за стрелой, да передумал, снова упал головой в снег. Удивленно открытый глаз смотрел на брызги – алые на белом.

Что за день, вздохнул Манул, застегивая колчан. Двух подростков убил. Плохая примета. Бог смерти Эрлэг, когда его кормят детьми, раззадоривается, будто тигр, отведавший человечьего мяса. Может и на охотника накинуться.

У Манула с Эрлэгом отношения были давние, трудные. За старииков и старух бог смерти награждал, они и так зажились на свете дольше нужного; женщин плодоносного возраста брал, но морщился; мужчинам, если молодые и сильные, радовался. А детская кровь действовала на бога смерти, как хмельной *архи*.

Звездухе покойник тоже не понравился, она зафырчала, нервно повела ушами.

– Ничего, – сказал ей Манул. – Вернемся в лагерь – покормим Эрлэга, доволен будет. А пока вот ему.

Он достал из торбы *хурут*, сушеный творог, который взял себе на обед. Половинку отломил, перетер пальцами, развеял по ветру, шепча: «Тебе, Эрлэг, прими. После еще дам. Ты меня знаешь, я никогда не обманываю».

Уныло сидевшего в седле булгарина, проезжая мимо, хлопнул по плечу – не тушайся, убивать еще много придется. Война.

Махнул остальным: едем дальше.

Вскоре после того, за косогором, показалась ледяная река, над ней – высокий берег, и там, в двух полетах стрелы, русский город. Первый, какой довелось видеть Манулу.

* * *

Городов на своем веку он насмотрелся самых разных, все и не упомнить: тангутских, китайских, хорезмских, персидских, индийских. Но такого удивительного еще не встречал.

Поразил русский город не величиной – нет, он был совсем маленький, на коне медленной рысью объедешь за четверть часа, и то много будет. Но никогда еще, ни в одном царстве десятник не видывал, чтоб город целиком был выстроен из дерева. Стены, башни, дома – всё.

В родной степи домов не было никаких, только юрты. В чужих царствах – глиняные, каменные, иногда кирпичные. Но дерева везде не хватало, оно стоило дорого. А тут – вон какое расточительство. Должно быть, здесь богатая страна. Повезло Бату-хану, что при разделе мира ему достался Запад, самой ближней частью которого является Русь.

Лазутчик-половец рассказывал, что это пограничное княжество маленькое и слабое, захватить его будет совсем легко. Говорил он и как называется город. Но название ни произнести, ни запомнить – похоже на свист одора, тяжелой стрелы, которой пробивают доспехи.

Переехав реку по льду, Манул велел воинам рассредоточиться вдоль кромки обрыва и не высываться. Поставил далеко друг от друга, чтобы охватили город полукругом и затаились. Сказал: можно поесть, но огня не разводить и глядеть в оба. У всех было по две шубы, верхняя и нижняя, теплые овчинные штаны, войлочные или меховые унты, хорошие малахай. Не замерзнут, даже когда к ночи захолодают.

Сам улегся на краю спуска, стал смотреть внимательней.

Стены нешибко высокие. Толстые бревна зарыты торцом в землю, меж острых концов удобно укрываться стрелкам.

Башня над воротами четырехугольная, там блестит шлемом часовой. Ходит. Пускай ходит, ничего против солнца не увидит.

Есть ров. Он замерз, но скаты посверкивают льдом. Поливаю их, что ли? Это плохо. Зато мост спущен, ворота нараспашку. Это хорошо.

Интересно было вот что. Вокруг всей стены по сю сторону рва зачемто сложены большие поленницы дров. Это совсем хорошо. Если не получится захватить город слету, за поленницами отлично укроются лучники. Ни один рус со стены не высунется. А кто попробует – пожалеет.

Река опоясывала город полукругом. Точно так же был расположен в Китае этот, как его, Сянлун? Только китайский город был весь глиняный и раз в двадцать больше. Чингисхан в мудрости своей решил не ходить на приступ, не губить монгольских жизней. Согнал со всей округи крестьян, десять тысяч человек. Ночью они бросили в воду каждый по десять мешков земли и перекрыли реку. Она потекла на город и затопила его. Гарнизон

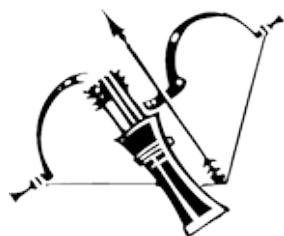
сдался. Никто из нукеров не погиб, только зарубили сто или двести крестьян за медленную работу.

Про взятие китайского города Манул вспомнил просто так, без умысла. Крестьян в этих малолюдных краях столько не сгонишь. К тому же зима, река подо льдом. А главное – зачем терять время? Такую мелочь, да еще врасплох, можно взять на саблю, с разгона.

Больше высматривать было нечего. Пора назад, с донесением.

Оставив вместо себя самого опытного из воинов и повторив ему еще раз: никого не пропускать ни в город, ни из города, Манул сел на заскучавшую Звездуху и помчал обратно – весело, с ветерком.

Ночью, под покровом темноты, вся передовая тысяча переместится на лед реки. А утром, как только опустят мост, стремительная лава пронесется по открытому пространству, влетит в открытые ворота. И первый русский город станет монгольским.



Великая Яса



По дороге, чтоб не было скучно, Манул разговаривал со Звездухой. Верней, говорил он, она слушала, иногда соглашаясь, иногда нет. И никто на всем белом свете не убедил бы Манула, что лошади просто нравится звук его голоса. Всадник знал, что она его понимает. Бывает, и вовсе без слов.

— Мы оба немолоды, — говорил десятник. — Нам с тобой надоела такая жизнь. Скачи тысячу газаров на юг, потом десять тысяч газаров на восток, убивай людей, которые тебе ничего плохого не сделали, сжигай города, которые тебе ничем не мешают.

Звездуха тряхнула челкой, удивляясь. Ей походная жизнь не надоела. Другой жизни кобыла не знала. Она думала, по-иному и не бывает.

— Ты просто забыла. Давно не паслась в родных степях, давно не ела сладкой травы с берегов Орхона. Ничего, это самая последняя война. Великий курултай постановил завоевать всю землю, расположенную меж четырьмя океанами, и поделил ее на четыре улуса. Нашему хану Бату, сыну великого Джучи, который был сыном великого Чингисхана, достался весь Запад. Мы дойдем до Западного океана, другие улусы дойдут до Восточного и до Южного, а Северный океан никому не нужен, потому что там холодно и нельзя жить. После этого мир станет одной державой, повсюду воцарится один справедливый закон Великой Ясы, земля задышит одним дыханием, будет думать одной головой. Больше не будет голода, войн, беспорядков. Нулеров великого войска щедро наградят. Кто захочет остаться в завоеванных краях, получит по табуну лошадей, по отаре овец, по три жены и по десять боголов. А десятники вроде меня станут для новых подданных великого хана нойонами. Но я не хочу быть нойоном в чужой стране, я не хочу никем повелевать, хочу провести старость у себя дома. Неужто ты правда не помнишь, какие красные восходы у нас в степи? Как журчит речная вода? Как стелются под ветром серебристые травы?

Звездуха всхрапнула.

— Ничего. Увидишь — вспомнишь. Будем с тобой жить на покое да радоваться. Жену заведу одну, трех мне не надо, стар я уже для трех. А для отцовства еще не стар. Будут у меня дети. Пообещай, что не будешь ревновать. Жену я, как тебя, любить не буду, а дети — все равно что часть меня.

Лошадь, не сбавляя рыси, низко опустила голову. «Схоронишь меня — живи с кем хочешь», — так ее понял Манул.



— Зря ты. Лошади на покое и двадцать лет живут, и больше. Вместе состаримся. Если помрешь раньше, не дам содрать с тебя шкуру, отрезать копыта. Похороню на том самом берегу, с которого ты тогда, жеребенком, прыгнула в Орхон. И велю, чтоб там же зарыли и мои кости. А если первый умру я, завещаю содержать тебя в сытости и почете.

«Ты умрешь — и я умру, — шумно вздохнула Звездуха. — Пусть меня сразу с тобой закопают».

Всадник растрогался. Потрепал лошадь по рыжей гриве.

— Ладно, мы с тобой пока живые. Поднажми, милая. Нойон заждался.

Тысячник сидел в походной кибитке, собирая донесения от передовых дозоров, посланных в шесть разных концов.

Лагерь был разбит около захваченного прошлой ночью поселка, в укрытой от ветров лощине. Проезжая меж бревенчатых русских домов, Манул увидел на снегу зарубленных стариков и старух. Они лежали аккуратно, по трупу через каждые двадцать шагов. Их убили для наглядности: чтобы местные были покорны. Так делают всегда. Чужие старики и старухи — зачем они? Какой от них прок?

В кибитке было почти так же холодно, как снаружи, поэтому Гэрэл-нойон сидел на возвышении из войлоков, одетый в лисью шубу с золотыми пуговицами. Теплые гутулы, правда, скинул, остался в белых замшевых чаруках. Отороченная мехом шапка тоже лежала рядом. Поблескивала чисто выбритая макушка, на которую через откинутый полог светило солнце. Челка на лбу и заложенные за уши косички лоснились от молодости. Нойону было всего двадцать зим, на его румянном лице едва пробивались тщательно намасленные усики.

А Манул за красотой не следил — раз в луну соскребал с головы и с лица растительность острой саблей. Меньше волос — меньше вшей.

Упав у входа на колени, он ткнулся щетинистой башкой в войлочный пол. Порядок, установленный Чингисханом, да будет священна его память, предписывает почитать вышестоящих, потому что на уважении к власти держится гармония вселенной. Когда-то, во времена Манурова детства, никто перед нойонами не кланялся, всякий монгол мнил себя вольной птицей. Проклятое было время. Сейчас многое лучше. Поклонишься большому человеку — колени не переломятся и лоб о мягкий войлок не разобьется. Гэрэл-нойон к тому же не просто тысячник, он — сын самого Чингисхана. Правда, поздний, и не от жены — от младшей наложницы, так что и ханом не зовется. Но все равно — царевич. Над его палаткой торчит бунчук не просто двойной, как положено всякому тысячнику, а с хвостами белого цвета, знаком царской крови.

— Вот и пятый вернулся, трехбровый татарский кот, — сказал тысячник, когда Манул расправился, сел на корточки. — Рассказывай.

Что «трехбровый» — не обидно. У Манула через всю левую половину лица, сверху донизу тянулся старый сабельный шрам, рассекая бровь на две части. Что «кот» — тоже ничего. Манул и есть кот. А вот что «татарский» — это было горько. Десятник хоть и оскрабился, но по сердцу пробежал холодок.

Сто зим служи верой и правдой, в навозную лепешку разбейся, а не забудут.

Манул был хоть и монгол, но проклятого татарского корня. Татары когда-то сгубили Чингисханова отца и дольше всех прочих степных народов не покорялись великому объединителю.

Одно из самых страшных в Мануловой жизни воспоминаний было такое.

Сорок зим назад в сражении с Чингисхановым войском полегла последняя татарская рать. На следующее утро курень окружили чужие всадники, говорившие меж собой не по-туркски, как татары, а по-монгольски. Девятилетний Молчун тогда понимал этот язык с пятого на десятое.

Всех мужчин, кого нашли, победители убили сразу. Мальчишек одного за другим подводили к повозке, ставили около колеса. Кто оказывался выше – рубили. Кто ниже – отгоняли в сторону, чтобы отдать на воспитание. Молчуна не хватило до верхнего обода полпальца.

Так он первый раз ощутил затылком холодное дыхание бога смерти Эрлэга, но не погиб, а попал к манулаам. Они тоже были татары, но умные – вовремя переметнулись на сторону Чингисхана и уцелели. Однако и на манулаах лежало пятно татарства. Великий Чингисхан, да будет священна его память, объявил все степные племена единым народом – монголами. Так-то оно так, но монголы бывают первого, второго и третьего разряда. Если в твоих жилах татарская кровь, выше десятника не поднимешься, не мечтай. А Манул и не мечтал.

* * *

Донесение нойон выслушал жадно, нетерпеливо.

– Я так и знал! – воскликнул он. – Пустяковое дело. Нечего ждать темноты! Лошади отдохнули. Надо сниматься с лагеря. Через три часа доскачем до города, а еще через час он будет наш!

Сбоку от тысячника сидел длиннобородый старик с неподвижным лицом, будто вырезанным из дубовой коры.

– Это только пятый десятник, – мягко произнес он. – А посланы шестеро.

Гэрэл обернулся к нему, но старик больше ничего не сказал. Это был мудрый человек, шаман, приставленный к сыну великого хана, чтобы учить его закону и предостерегать от ошибок. Звали шамана Калга-сэчэн.

«Сэчэн» означает «мудрец», а имя «калга» стариk получил за то, что был, как молчаливая стрела, которой снимают вражеских часовых. Он говорил кратко и редко, но метко.

– Да, дождемся последнего десятника, – согласился нойон. Он всегда соглашался с Калга-сэчэном.

Но еще раньше прискакал нукер Медведь, которого Манул оставил вместо себя за старшего.

Он вбежал в кибитку, запыхавшийся от быстрой скачки и, увидев Манула, поклонился ему, а не тысячнику – так предписывал устав: нельзя обращаться к высшему начальнику через голову непосредственного командира.

– Манул-мэргэн, нехорошо! Через час после того, как ты уехал, в полдень, в городе загудела медь. Русы забегали по стенам, затворили ворота и подняли мост! Я гнался за тобой во весь опор, но не догнал!

– Вы себя выдали?! – грозно спросил нойон.

Вот теперь нукер, раз уж на него обратил внимание сам тысячник, повалился головой в войлок.

– Нет, гуай. Мы сидели и не высовывались. Это, наверное, люди Нохоя, засевшие с другой стороны.

Но почти сразу же снаружи вновь застучали копыта, кто-то шумно спрыгнул наземь, крикнул: «Срочное донесение!» – и в шатер вбежал сам рябой Нохой.

– В городе тревога, гуай! – крикнул он. – Наверно, люди Манула себя выдали!

Здесь он поднял голову, увидел Манула и осекся.

Нохой был человек плохой, двоедушный, хуже своего имени, которое означает «Собака». Говорил ласковые слова, улыбался, но в улыбке был яд.

Хорошо, что Медведь поспел первым. Пускай Гэрэл-нойон сам решает, кто виноват.

Однако тысячник не рассердился, а обрадовался.

– Что ж, – довольно молвил он. – Знать, такова воля Тенгри. Возьмем стены штурмом. Бейте в барабаны! Выступаем!

И Манул понял. Захватить город врасплох – заслуга небольшая, честь невеликая. Слава достается тому, кто пролил много крови.

– Когда враг ждет нападения, Великая Яса предписывает отправить посланцев с разумной, мирной речью, – молвил Калга-сэчэн очень тихо, так что Манул едва расслышал.

Гэрэл нахмурил красивые, будто два тугих лука, брови. Задумался. Не хочет, чтобы русы сдались без боя, догадался Манул. Но и нарушать закон

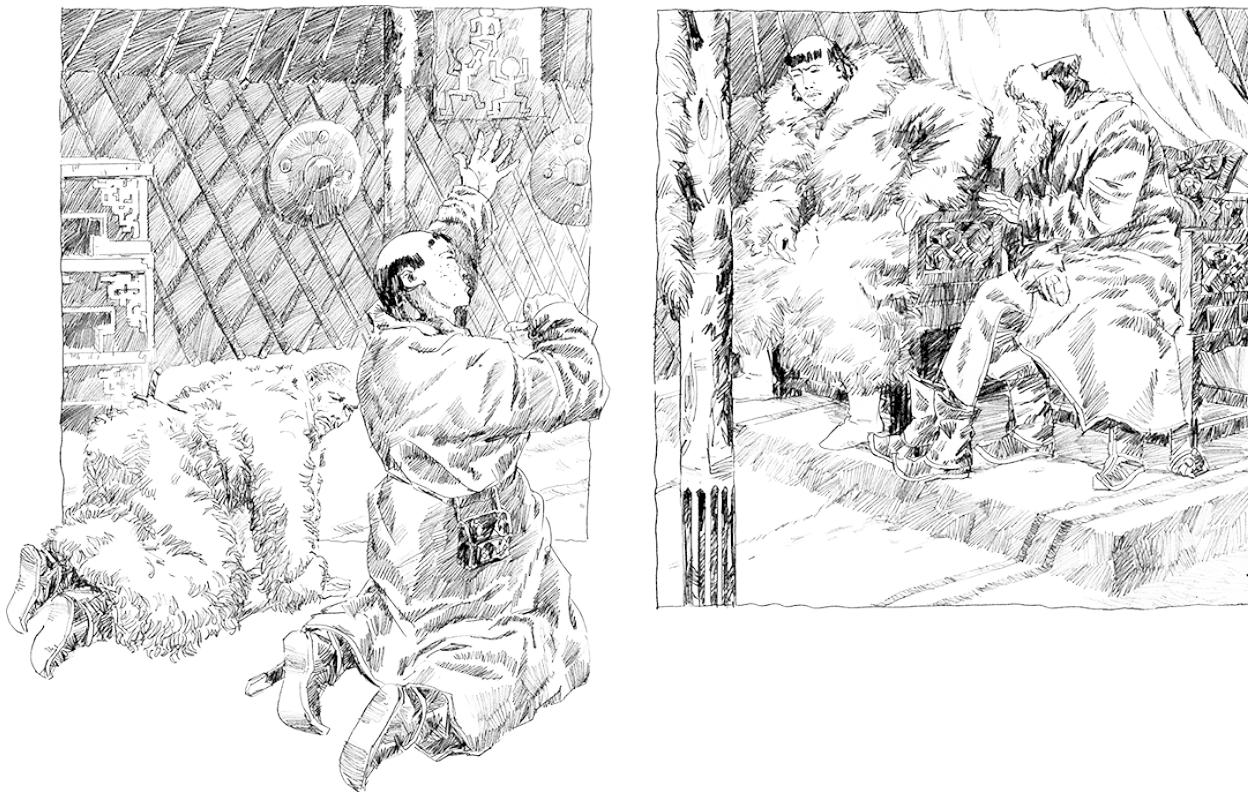
не осмеливается.

Взгляд молодого военачальника почти сразу же прояснился.

– Мы сделаем, как положено. Но посланец будет говорить с русским нойоном грубо и объявит условия, с которыми нельзя согласиться.

– Условия менять нельзя, они определены Великой Ясой, – прошелестел шаман. – Изъявление покорности и десятина.

– Я знаю закон! – Тысячник улыбался, очень довольный тем, как ловко он придумал. – Мой посланец скажет слово в слово вот что. «Все жители города во главе с нойоном должны выползти на коленях за ворота и склониться лбами к земле в знак покорности перед ханом Бату. Десятая часть мужчин станет рабами и носильщиками при монгольском войске. Десятая часть молодых женщин отправится в монгольский лагерь, чтобы потешить воинов. Если у нойона русов есть сыновья, старший станет мне прислужником. Если есть дочери, одну возьму себе в наложницы. И жену пусть тоже пришлет, посмотрю, хороша ли». Ну как? – обернулся он к шаману.



– Никто на такое не согласится, – ответил тот.

– Вот и хорошо. Разве мои условия противоречат Ясе?

Калга-сэчэн неодобрительно покачал головой и ничего не сказал.

– Я хочу понять, что за народ русы, – стал объяснять ему нойон. – Барсы они или овцы. Крепки или податливы. Нам ведь с ними воевать.

– Ну разве что для этого... – Старик вздохнул. – Но тогда нужно посмотреть, как русы выслушают такие условия. Я поеду в город.

– Нет, только не ты! – быстро сказал Гэрэл. И кивнул на десятников: – Кто-нибудь из них.

Нохой приосанился, расправил плечи. На Манула глянул с ненавистью.

Хочет ехать к русам, дурак. Манул-то, наоборот, весь съежился, скособочился, чтобы нойон увидел – какой из него посланец?

Замысел тысячника был ему ясен. Нохой молод, он не знает, что русы – дикари и убивают послов, даже когда те не дерзят. Так случилось пятнадцать зим назад, когда великий Субэде-багатур и великий Джучинойон ходили с разведкой к русским границам. Манул в том походе не участвовал, но слышал рассказы очевидцев, он уже тогда был десятником. Русы убили монгольских послов, которые пришли к ним с вежливыми словами, и пришлось задать варварам взбучку.

Гэрэл-нойон хочет, чтобы русы опять убили посланца. Тогда, согласно Великой Ясе, город нужно будет взять на саблю, а всех жителей перебить. Весть об этом разнесется по всей армии: первый бой с русами, и такой кровавый.

Очень Манул надеялся, что нойон поручит ехать на верную смерть Нохою, – тот и ростом вышел, и статью. Но Гэрэл приказал:

– Тяньте жребий.

И стало Манулу тоскливо. Он был сроду невезучий. Когда у сотника тянули жребий все десять десятников – кому табун стеречь или во внеочередной дозор заступать, – он почти всегда вытаскивал короткую щепку. А тут одна не из десяти – из двух.

Тянуть пришлось из руки у телохранителя, не то Манул с болваном Нохоем сговорился бы. Но нет, судьбу не обманешь. Щепка, ясное дело, оказалась короткой. Ах, Эрлэг, Эрлэг... Бог смерти обиделся, что Манул не сделал обещанного подарка. А когда? Ведь времени не было.

Пока десятники тянули жребий, тысячник о чем-то переговаривался с шаманом.

Потом подозвал Манула, еще раз произнес невыполнимые условия сдачи и заставил повторить, слово в слово.

Манул к этому времени уже немного успокоился. Придумал, как вывернуться из лап Эрлэга.

Перво-наперво принести ему хорошую жертву: зарезать баражка и всю

кровь вылить на снег.

А во-вторых, не говорить русскому нойону оскорбительных слов. Повести речь так, чтобы русы сдались по-хорошему. Ибо зачем дуть навстречу урагану?

Поэтому Манул глядел на начальника браво и повторил задание бодро. Но дальше случилось худое.

– С тобой поедет толмач, – сказал вдруг Гэрэл. – Ты говори по-монгольски, а он переведет на тюркский. Русы давно живут с кипчаками, знают язык.

– Я тоже его знаю, гуай, это мой родной язык! Мне не нужен переводчик.

– Заткнись, татарин! – Тысячник сверкнул бешеными глазами. – Исполняй что велено. Толмачом с тобой отправится Калга-сэчэн. Прямо сейчас, сию минуту, езжайте.

И стало Манулу ясно, что на сей раз с Эрлэгом он не сторгуется. Барашка зарезать не успеет. А старый шаман не даст исказить слова нойона.

Русы обидятся и убьют посла. Переводчика-то отпустят. Их никогда не трогают, они всем нужны. И потом, должен же кто-то отвезти назад отрубленную голову. Это в лучшем случае. В хорезмском городе Отрабе с монгольского посла содрали кожу, набили чучело соломой, посадили на осла и отправили с толмачом обратно. Потом за это великий хан, конечно, приказал убить всех жителей, сорок тысяч человек. Возможно, замученному послу из небесных угодий приятно было на это смотреть. Но мертвого Манула такое зрелище не утешит.

Выйдя из кибитки, десятник обнял Звездуху. Вот с кем расставаться жалко, остальное-то – ладно. Надо о ней позаботиться.

Кобыла учゅяла тревожное. Ткнулась в Манула мордой, спросила: «Ты что? Ты что?»



Деревянный город



Ехали уже в темноте, под звездами. Впереди – шаман на смиренном мерине, укутанный в одеяло поверх ватного хорезмского халата. Над головой старика мерно поднимались сизоватые клубы дыхания, к вечеру приморозило. На посланца Калга-сэчэн не оборачивался, что и понятно. Большой человек, какой ему интерес болтать с каким-то десятником. И потом, не больно приятно вести разговоры с тем, кого убьют, когда сам останешься жив. Манул бы тоже держался от такого спутника на отдалении.

Десятник сутулился, прощался с жизнью. Вспоминал всё плохое, что с ним случилось за долгие годы. Хорошие воспоминания гнал прочь. Ну и, конечно, воображал, как хорошо на просторах Небесной Степи, где вечно зеленой траве сверкают алмазные звезды, ветер благоуханен, ручьи хрустальны, а цветы съедобны.

Только так и нужно готовиться к смерти. Дело привычное: перед каждым боем, перед каждой опасностью десятник проделывал одну и ту же подготовительную работу – припоминал жизни все удары и обиды. Потому и не робел ни в каких переделках. Но и на рожон тоже не лез. Если ты не боишься Эрлэга, это еще не значит, что нужно торопиться на встречу с ним.

Однако нынешняя поездка была хуже самого жаркого сражения. Там всегда есть надежда, что как-то выкарабкаешься. Здесь надежды не было. Манула за тем и отправили к русам, чтоб те его прикончили.

Вот, выходит, зачем родила его мать сорок девять зим назад. Вот зачем он ездиł из края в край земли, убивал чужих людей, терпел лишения,

залечивал раны. Гэрэл-нойону нужен повод, чтобы возвыситься. И десятник Манул – перекладина лестницы, которая хрустнет под ногой благородного нойона.

Сзади растянулись вереницей всадники эскорта. Они в город не поедут, будут ждать, когда вернется Калга-сэчэн с трупом посланца. Хорошо еще, если русы отадут тело. Свои хоть похоронят по-людски. А русы могут и свиньям скормить. Одно слово – варвары, без закона и чести.

Воспользовавшись тем, что конники поотстали, Манул решил поговорить со Звездухой. Надо было объяснить, что ее ждет, а то еще заупрямится – она такая.

– Я оставил тебя перед деревянным городом с хромым Дувой, а сам пересяду на его чалого. Так надо, ты не ревнуй.

Нельзя было ехать на Звездухе к русам. Убив посла, они заберут лошадь себе. Будут бить ее плетью, поставят на тяжелую работу, к которой Звездуха непривычна. А нукер Дува знает, какая Звездуха умная, и позаботится о ней.

Но кобыле не понравились его слова, она встревоженно проржала: «Зачем нам разлучаться?»

У Манула ответ был готов:

– В деревянном городе и улицы деревянные. Ты ведь не любишь ходить по доскам. Помнишь, как занозила копыто тогда, на дощатом мосту? Ты не волнуйся. Я недолго. Побудешь с Дувой?

«Ты меня обманываешь! Я тебе не верю!» – фыркнула Звездуха и дернула крупом так, что всадник подскочил в седле.

Калга-сэчэн придержал мерина, дал Манулу подъехать.

– Я слышал, что ты сказал лошади, у меня острый слух. Однако я не понял, что она тебе ответила. Я знаю много языков, но не лошадиный.

По заинтересованному взгляду шамана Манул понял: старик не шутит, – и смущился. Никто и никогда не догадывался, что Звездуха понимает человеческую речь и может говорить.

– Научишь меня? – спросил Калга-сэчэн.

Отпираться смысла не было. Зачем, если все равно скоро конец?

– Не успею, – ответил Манул, мало заботясь о том, что его слова покажутся шаману дерзкими. – Через час или два русы меня убьют. Ведь именно этого хочет царевич.

– Мало ли чего хочет царевич...

Манул сморгнул – засомневался, правильно ли рассыпал. А старик как ни в чем не бывало продолжил:

— Гэрэл еще совсем молод и оттого не очень умен. Ты будешь говорить с русами не так, как велел нойон, а так, чтобы русы сдались. Зачем зря лить кровь? Ее на этой войне и без того будет много.

Калга-сэчэн вежливо потрепал Звездуху за ухо, и она не отстранилась. Должно быть, тоже слушала и удивлялась.

— Твое дело, десятник, военное. Смотри, как устроена оборона. В этом ты смыслишь больше моего. А как вести переговоры, в этом больше смыслу я. Я знаю язык русов. Все два года, пока готовился Западный поход, я учился у одного кипчака. Я буду слушать, о чем русы говорят между собой, и подскажу тебе, как повернуть беседу. Они же станут думать, что я просто перевожу. Мне надо присмотреться к русскому князю и его багатурам. К каждому человеку ведет своя тропинка.

У Манула внутри происходило странное. Будто по растрескавшейся от испепеляющего зноя пустыне потекли струйки воды, и земля ожила, пустила зеленые побеги. Сразу забылось всё плохое, виденное в жизни, из памяти полезло хорошее: пьянящая скачка по весенней степи, сладость первого глотка воды из чистого родника и разное прочее. Жить, жить! А Небесные Пастбища никуда не денутся.

До этого момента Манул зяб, а тут вдруг стало тепло, даже расстегнулся. Сверху на нем была казенная волчья шуба, покрытая зеленым сукном, — выдали, чтоб не позорил монгольскую армию. Под шубой был еще ветхий тулупчик из тарбагана. Прореха на прорехе, греет плохо, но он — единственный, что напоминало о родных местах. Остальная одежда и обувь давным-давно сносились за годы непрекращающихся походов, а тарбагановая шубейка всё держалась и пахла родным нутугом. В ней Манул собирался нынче умереть, чтобы она сопровождала его и на встречу с Эрлэгом. Потому и надел вниз.

Теперь они ехали с шаманом бок о бок, но совсем близко Звездуха мерила к себе не подпускала. Характер у нее с годами делался всё труднее. Она и вообще-то других лошадей не любила, предпочитала людей, а оскопленных жеребцов на дух не выносила.

Молчали. Манулу было о чем подумать. Калга-сэчэну, надо полагать, тоже.

Про мудреца рассказывали, что в молодости он много странствовал, побывал во всех краях света. Шаманом стал, когда состарился. Это самое лучшее, что может случиться с человеком: дожить до мудрой старости и научиться слышать богов.

— Э, что это? — пробормотал Манул, приподнимаясь в стременах.

Вдоль горизонта — там, где следовало находиться деревянному

городу, – мерцала красноватая полоса.

– Подожги, когда стемнело, – сказал Дува. – Огненными стрелами. Дерево, наверно, пропитано маслом или жиром. Сразу запыхало.

Они смотрели на город, стоя на берегу реки. Деревянная крепость была окружена огненным кольцом. Пылали поленница, за которыми так удобно было бы укрываться лучникам. Вот они здесь зачем, дрова: чтобы освещать подступы в ночное время. Так что подобраться к стенам незаметно все равно не удалось бы.

Город был весь алый, будто подземное царство Эрлэга, где всегда горят озера, наполненные кровью плохих людей.

– Перестань, как не стыдно! – укорил Манул свою лошадь, которая враждебно оскалилась на Дуву и клацнула зубами: не подходи. Вообще-то они были друзья, но Звездуха не забыла, что Манул собирался оставить ее с хромым.

– Успокойся. Мы поедем вместе, – шепнул он кобыле. Дуве велел: – Ждите здесь. Эскорт тоже останется. Если мы с Калга-сэчэном через два часа не вернемся, скачите к царевичу.

– Мы вернемся, – сказал Калга-сэчэн, и Манулу стало совсем спокойно. Шаманы умеют видеть будущее.

Город уже не казался десятнику царством Эрлэга. Просто деревянная крепость, вокруг которой горят большие костры.

* * *

У ворот шаман громко крикнул, приложив ко рту ладони:

– От военачальника Гэрэл-нойона посол к хану Ингварю!

Надо же – знает имя здешнего князя, удивился Манул. Он внимательно рассматривал ров и подъемный мост. В свете пламени было неплохо видно.

На башне густо стояли воины, держали луки наготове. Лязгнули цепи, мост медленно опустился. Ворота приоткрылись ненамного – только протиснуться всаднику.

– Въезжайте по одному! – приказал зычный голос по-туркски, с резким акцентом.

Вблизи город оказался совсем чудным, ни на что виденное прежде не похожим. Лазутчики рассказывали, что неподалеку отсюда степь кончается и начинаются сплошные леса, – лишь этим могло объясняться подобное расточительство: не только дома, но даже заборы на улице были из

прекрасного дерева. В степи такую древесину продавали бы на вес.

Проезжая часть вся была устлана гладкими дубовыми плашками, так что гулко постукивали копыта.

Но на странные горбатые дома и на диковинную мостовую Манул смотрел мало. Его интересовали люди, благо повсюду горели факела.

Русы стояли по обе стороны, пялились на чужих. Впереди, в две шеренги, — воины. Их десятник оглядел с особенным вниманием.

Высокие, сильные, в железных кольчугах и шлемах. Сабли прямые, длинные, а копья коротковатые и без крюка — всадника с седла сшибать неудобно. Щиты тяжелые, широкие наверху, узкие внизу.

За спинами русских нукеров толпились горожане, к которым Манул тоже присмотрелся. Мужчины были с широкими бородами, у женщин головы обвязаны разноцветными тряпками. Лица у одних злые, у других испуганные.

Прикинул, сколько воинов, сколько жителей.

Улица вывела на небольшое поле. Называется «площадь», в городах всегда такие есть: в маленьких одна, в больших несколько.

Посередине стояла еще одна крепостца: высокий тын, из-за него торчат острые крыши. Здесь наверняка ставка русского князя.

У ворот посланца и толмача заставили спешиться.

— Я скоро вернусь, — шепнул Манул лошади. — Не волнуйся.

Прошли тесным двором в большой дом, верней сразу три дома, поставленных друг на друга, и в каждом ярусе свои оконца. Ничего, в хорезмских, персидских, булгарских городах Манул видывал дворцы и повыше. Люди, которые по добной воле запирают себя в городах, вынуждены тесниться, им вечно не хватает места. Манул задохнулся бы от нехватки простора, доведись ему поселиться в таком жилище.

По узкой лестнице поднялись в деревянную юрту — большую, квадратную. Там горели свечи, много. Прежде чем сосредочиться на людях, Манул быстро огляделся — потом будет не до этого.

Парадная юрта у князя русов была небогатая, не то что во дворце хорезмского бека, где Манул когда-то добыл свою чудо-саблю. Стены простые, без украшений. Только в углу, меж занавесочек, висела небольшая картинка с каким-то бородатым лицом, под ней горел малый светильник. Наверное, изображение особо чтимого предка, покровителя рода — как у китайцев. Еще были сундуки и скамьи, накрытые цветной тканью. На большом резном столе лежали ровными стопками прямоугольники — кожаные и бархатные, с серебряными оковками. Манул знал, что это такое, видел в Хорезме. Называется «книги», там внутри тонкие-претонкие

шуршащие пластинки, покрытые закорючками. Бывают и маленькие рисунки, непонятные. Книгами хорошо разводить костер, они горят лучше самого сухого хвороста. У русского князя их было штук двадцать. Манул никогда еще не встречал в одном месте столько этих красивых безделиц.

На беглый осмотр помещения ушло всего несколько мгновений, после чего десятник остановил взгляд на русах.

Трое пожилых сидели у стола. Еще трое – мальчик-подросток и две женщины, юная и старая, – стояли позади.

Главным, конечно, был тот, что сидел посередине. Седой, щуплый, близоруко щурится. Посередине лба пятнышко, круглое. То ли родимое, то ли нарисованное – может, у русов такой знак княжеского достоинства. Одет просто – ни золота, ни серебра. Слева от него, видимо, начальник войска – бычья шея, обветренное красное лицо, большие усы, крест-накрест ремни. Справа – стариk в черном колпаке. Шаман или советник – точно не воин.

Видеть на переговорах рядом с нойонами женщин было необычно, поэтому Манул посмотрел и на них.

Толстая старуха с желто-белыми волосами, выбивавшимися из-под высокой узорчатой шапки, держалась прямо за князем, рукой пугливо трогала его за ворот. Ясно: старшая жена. Вторая была совсем молодая, нарядная, в красивой головной сетке из мелкого жемчуга, острым углом спускавшейся до переносицы. Эта глазела не испуганно, а скорее с любопытством. Любимая наложница или дочь? Наверное, дочь. Очень уж некрасивая: тощая, волосы белые, глаза круглые, будто у совы, и носище, как кончик сапога. Юнец, лет шестнадцати или семнадцати, конечно, был княжичем. Смотрел волчонком, чуть не щерился.

Ладно, бес с ними. Важности эти трое не имели.

Только Манул подумал так, и старая женщина – вот чудо из чудес – первая, без мужнина разрешения, что-то произнесла.

Калга-сэчэн сзади почти беззвучно, не шевеля губами, перевел:

– Говорит, что мы страшные. На людей непохожи.

Сказал что-то и князь.

– Говорит: уходите, не мешайте, тут дело суровое.

Но женщины и мальчишка не ушли. Манул понял, что князь этот слабый – домашние, и те его не слушаются.

Потом главный рус обратился к монголам, по-туркски. Этот великий язык, разделенный на множество наречий, понимала вся Степь.

– Кто вы? – спросил князь. – Почему напали на мое село? Что сделали с крестьянами? Где они?



«Откуда он знает про село? Значит, всё же кто-то сумел добраться до города. Потому и ударили тревогу. Но как? На снегу остались бы следы».

И шаман сзади тоже шепнул:

– Спроси: откуда знает?

Манул спросил:

– Напали? С чего ты взял, князь?

Рус нахмурился.

– Не пытайся меня обмануть, чужеземец. У нас еще со времен половецких набегов заведено: дважды в сутки ближнее к Степи село подает знак. В полдень пускает в небо столб черного дыма. В полночь разжигает большой костер на горке, его видно за двадцать верст. Если дыма или огня сразу два, нужна подмога. Если ни одного – село захвачено.

Манул вспомнил, что на холме близ русского села, и правда, зачем-то

были сложены две кучи хвороста. Вот оно что. С такой предосторожностью монголам сталкиваться еще не приходилось. Ловко придумано.

– Говори, зачем пришли. – Старый князь хмурил белые брови, но грозно у него не выходило – взгляд был встревоженный. – Разве мы вам сделали что-то плохое? Кто вы такие?

– Четвертое, – подсказал сзади Калга-сэчэн.

По дороге, пока ехали, он подробно объяснил, как разговаривать с князем русом.

Если окажется глупый и чванный – одно.

Если глупый и робкий – второе.

Если умный и воинственный – третье.

Если умный и миролюбивый – четвертое.

Манулу тоже показалось, что русский нойон – человек умный, но не воин. Это хорошо. Поймет, в чем его выгода, и сдастся. От этого всем будет лучше, кроме царевича, который еще успеет отличиться. Война ведь только начинается.

И десятник произнес речь – в точности, как велел мудрый шаман. Сказал про хана Бату, которого великий государь Угэдэй, повелитель мира, назначил своим наместником в западной стороне земли. Сказал, что город русов – песчинка на пути могучего урагана. Ни остановить, ни даже задержать этот ураган никто не сможет. Что монголы – тот самый народ, который пятнадцать зим назад одним своим передовым отрядом разбил всех русских князей. И дальше говорил тоже всё, как заучил.

Мог бы особенно не стараться. Калга-сэчэн переводил на тюркский лучше, чем говорил «посол». Кое-что прибавлял от себя. Например, Манул забыл помянуть, что, если со стен полетит хоть одна стрела, все жители будут преданы смерти. Если же покорятся, то отделяются малой платой – десятой частью имущества. Монголы заберут и десятую часть людей, но пугаться этого незачем. Мужчины, кто сильный, вольются в войско великого хана, а кто умелый – отправятся в столицу империи и увидят там много чудесного. Женщины станут монгольскими наложницами, будут жить в сытости и почете.

Хорошо объяснял, необыдно. Но воинский начальник, слушая, побагровел и задвигал усами. Он, конечно, хотел драться – все воеводы одинаковые. Старик в черной шапке шевелил губами, полузакрыв глаза. Наверное, призывал духов. Бабы вели себя тихо. А юнец один раз – когда толмач сказал, что придется выйти в поле и земно поклониться ханскому полководцу, – крикнул, по-турецки:

– Собака! Как ты смеешь!

Но князь поднял палец, и мальчишка умолк. Щеки у него запунацвели.

Напоследок Калга-сэчэн сказал еще вот что, сам от себя, потому что Манул такого и не собирался говорить:

– Посол видит, что ты мудр, и потому ведет речь без лукавства, а желает тебе добра. Мы пришли не за добычей. Мы пришли навсегда. И не остановимся, пока не дойдем до Западного Океана. Теперь мир будет единым, с одним государем. От этого всем будет хорошо. Открывайте ворота без боязни. Поклонитесь великой силе и великому закону. Если нет – погибнете. Нам придется убить вас всех без пощады, потому что это первый город русов, и мы должны показать вашему народу, что бывает за непокорство. Пожалей своих людей, князь.

На месте князя Манул согласился бы, не задумываясь. Но тот, когда толмач умолк, молвил лишь одно (шаман сзади тихонько перевел):

– Так и думал, что это татарове. Про них половцы давно толкуют. Пришли, значит... – И спросил своих: – Что скажете?

Первым опять встрял невоспитанный мальчишка:

– Вели посадить их в железа! Будут знать, как угрожать!

Старая хатун воскликнула (шаман перевел и это):

– Господи, погибель наша пришла!

Но эти – ладно. Что скажут советники?

– Ни шлема у него железного, ни кольчуги, – пробасил воевода. – Саблишка плохонькая. Половцы, и те грознее будут. Ишь чего захотели – десятину. У нас стены дубовые, ров ледяной. Зубы обломают.

Жрец был осторожней.

– Если их сила – это одно, князь. А вдруг брешет он? Может, набежали за добычей, а мы им ворота откроем. Скажи ему, князь, что своего посла к ихнему хану пошлешь. Поеду с Божьей помощью. Посмотрю, сколько их и каковы.



Одна только беловолосая девка ничего не сказала. Таращилась, пучеглазая, ладонью рот зажимала.

Да, не было у русов ни порядка, ни истинного почтения к господину. Князь ответил каждому, будто они ему ровня.

– Послов сажать в железа нельзя.

Это – сыну. Манул сразу повеселел.

Жену успокоительно погладил по руке.

Воеводе кивнул. Жрецу даже поклонился – совсем этот князь был лядающий, безо всякого величия.

Потом перешел на тюркский:

– Имущество – ладно. Коли вас в самом деле много – берите. И склониться перед вашим царем я тоже готов. Но как же я десятую часть своих людей в неволю отдам? Все они – живые души.

Голос у него был мягкий, рассудительный.

«Отвечай что хочешь, – шепнул шаман. – Только недолго».

Манул важно сложил руки на груди, продекламировал начало сказания о родословии Чингисхана: «Предком Чингисхана был Борте-Чино, родившийся по изволению Вышнего Неба. Супругой его была Гоа-Марал. Явились они, переплыв Море-Океан, кочевали у истоков Онон-реки, на Бурхан-халдуне, а потомком их был Бата-Чиган...»

– Понимаю твои опасения, – перевел Калга-сэчэн. – Ты не хочешь, чтобы гнев подданных оборотился против тебя. Не бойся. Мы отберем десятую часть людей сами. Ты перед своими виноват не будешь.

– Что ты с косоглазым толки толкуешь, батюшка? – крикнул

мальчишка. – Стены у нас крепкие, воины храбрые, и гонец за подмогой в Радомир поскакал.

Его слова, как и прежде, шаман перевел Манулу совсем тихонько. Но князь вдруг ответил сыну что-то резкое на языке, который не был похож на русский.

– Догадался, старый черт, что я понимаю по-ихнему, – прошелестел Калга-сэчэн. – А этого наречия я не знаю. Похоже на францкий. Так говорят за Срединным морем Запада. Я слышал этот гнусавый язык в городе Иерусалиме, да выучить случая не было.

Военачальник, жрец, а за ними и княжич придвинулись к старому нойону и стали говорить ему всякий свое, но шепотом – шаман не мог разобрать ни слова.

Однако по выражению лиц, по движению рук и так было понятно. Воевода и мальчишка за то, чтобы биться; жрец – за переговоры. Старуха просто стояла и кудахтала, безо всякого смысла. Дочка хлопала глазами, на ресницах посверкивали слезинки.

Князь молчал, всех слушал, сам ничего не говорил. Лицо у него было несчастное, слабое. Сейчас сдастся, подумал Манул.

– Скажи, что подмоги не будет, – шепнул Калга-сэчэн.

– Если рассчитываете на помошь – зря, – сказал Манул. – Город обложен. Вашего гонца мы перехватили.

Шаман перевел, прибавив: «Да и нет на свете подмоги, которая могла бы вас спасти от монгольского войска».

Тут князь поднял руку. Невысоко и нерезко, но все разом умолкли.

Обратился он не к Манулу, а к Калга-сэчэну, глядя ему прямо в глаза. Догадался, значит, кто на самом деле главный.

– Мне Господь людей доверил. Как я их отдам? Они не мои, они Божьи. Хотите силой взять – берите. Как Бог рассудит, Его воля. А я против своей души не пойду. Тело погубить – полбеды. Душу погубить – вот настоящая беда.

Шаман тоже сказал ему напрямую, без Манула:

– Умный человек знает: лучше лишиться части, чем всего.

– Части или чести? – спросил князь. – Не рассыпал я.

Улыбнулся Калга-сэчэн, повторять не стал.

– Утром выйдешь на стену, увидишь все наше войско – еще не поздно будет одуматься. Выходи за ворота, снимай шапку, вставай на колени. Мой господин горяч, но меня слушает. Я не дам ему вас убить. А начнешь воевать – ничего сделать не смогу. Ответишь перед моим господином по всей строгости.

– Я не перед твоим господином, я перед Богом отвечу, – тихо сказал рус. – Ступайте. Поговорили.

Уже за городскими воротами, под сыплющимся в лицо мелким снегом, Калга-сэчэн грустно молвил:

– Хороший князь. Погибнет, жалко. Хороших князей на свете мало.

– Может, завтра передумает, когда увидит, сколько нас, – беспечно ответил Манул, радуясь жизни, свободе, а больше всего – простору, особенно сладостному после тесноты деревянного города. – К нашей тысяче, поди, еще подкрепления подойдут.

«Мы опять разошлись с Эрлэгом, – шепнул он Звездухе. – Надолго ли, нет ли, поглядим завтра».



На саблю



В ставку к Гэрэл-нойону вернулись заполночь. Об ответе русского князя рассказал Калга-сэчэн. Манул остался у порога юрты, ждал, не

спросит ли о чем тысячник. Беседы больших людей Манул почти не слышал – только отрывистые реплики Гэрэла, потому что шаман говорил очень тихо.

– Ха! Они отказались! – воскликнул царевич. И потом еще несколько раз повторил такое же, радостное.

Послушал еще – хлопнул в ладости:

– Прикажу поднимать сотни. Ударим на рассвете.

Но Калга-сэчэн покачал головой, пошептал еще. Зачем-то показал через плечо на Манула.

– Хорошо, я его выслушаю. Эй, татарский кот, расскажи, много ли у русов воинов и хороши ли.

– На улице я видел около ста нукеров в кольчугах, с железными щитами, в крепких шлемах. Еще не меньше полусотни должны были оставаться на стенах. Нукеры высокие, сильные, биться будут стойко.

– Всего-то? – расстроился нойон. – А много ли в городе мужчин, способных драться?

У Манула был готов ответ и на это.

– Сотни три. Но у них только дубины да топоры.

– А ты говорил, попросить подмоги у Хутуг-нойона, – укорил Гэрэл шамана. – Не даст темник, только высмеет. Эх, жалко! Как прибудут осадные машины, выступаем.

Понятно, зачем царевичу хотелось подкреплений. Чтобы почувствовать себя настоящим полководцем. Чем больше воинов, тем крупнее сражение и тем громче слава.

– Еще там женщины... – продолжил Манул.

Нойон пренебрежительно махнул рукой, но Калга-сэчэн объяснил неопытному:

– Когда со стен льют горячее масло, неважно, кто это делает. Есть страны, где женщины боятся наравне с мужчинами, как это делали тангутки. И есть страны, где женщины прячутся по домам, как было в Хорезмском царстве. Что ты думаешь о женщинах русов, десятник? Ты ведь не зря о них заговорил?

– Будут биться. У них широкие лбы, сильные плечи. И они не прячут глаза.

Царевич немного поразмыслил и довольно облизнул губы.

– Хутуг воевал с тангутами. Значит, поймет про сильных женщин. Крепость, в которой почти тысяча защитников, – это уже не очень маленькая крепость... – Благосклонно посмотрел на Манула. – Ты хорошо исполнил задание, татарский кот. Казенную шубу можешь оставить себе, в

награду. Десятник, а ходишь, как последний богол.

Наградную шубу Манул сразу же выменял у другого десятника на китайскую попону. Она была легкая и тонкая, но очень теплая. У Звездухи с возрастом шерсть на крупе поредела, в крепкий мороз лошадь дрожала от холода.

Легли рядом, укрылись. Было хорошо, уютно.

В молодости Манул засыпал сразу. Теперь подолгу лежал, думал. Приятно, когда мысли начинают перемешиваться с мечтами и предсонными видениями.

Сегодня, из-за мороза и выюги, привиделась жаркая страна Индия, куда Нижнеорхонский тумен ходил шестнадцать зим назад. Поход был тяжелый, пало много лошадей. Звездуха тоже заболела, укушенная ядовитой змеей, но, слава Тengри, поправилась.

У индийцев Манулу понравилась их вера. Будто бы, умирая, человек попадает не в Небесные Пастбища или в черное царство Эрлэга, а вновь оказывается на земле, только переселяется в иное тело. Если прожил жизнь честно, возродишься с повышением – например, нойоном. А если был подл, вроде рябого Нохоя, то запросто можешь превратиться в паука или сколопендру. И очень возможно, что так оно всё после смерти и будет, потому что это справедливо. Вот бы Звездуха родилась женщиной, тогда можно было бы на ней жениться. Или самому родиться конем. Ускакали бы вдвоем от людей в зеленые степи и никто им был бы не нужен.

От смешной мечты Манул улыбнулся, прижался щекой к горячей лошадиной шее и скоро уснул.

* * *

Часа три всего поспали. Потом, задолго до зари, прибыл обоз с китайскими машинами, и тысяча поднялась.

Уже в тусклых рассветных сумерках, вблизи от реки и города, догнала подмога – еще две тысячи всадников.

Гэрэл-нойон сидел в седле под своим белохвостым бунчуком, гордо подбоченившись. Двух тысячников, назначенных во временное подчинение, приветствовал по-дружески, но в то же время дал понять: командует здесь он, и он – царевич. Проехал вдоль длинной колонны чужих воинов, здороваясь. Его молодой, звонкий голос, полный радости и силы, далеко разносился по степи. Нукары оглушительно орали в ответ.

Хороший получится полководец, когда повзрослеет, думал Манул. Если только будет слушать Калга-сэчэна.

Шаман на своем понуром мерине все время ехал за царевичем, не отставал.

К полудню окружили город со всех сторон. Чтоб не делиться славой, Гэрэл поставил чужие тысячи в оцепление, а свою расположил у реки, под обрывом – там, откуда начнется приступ.

Приготовления к штурму Манул видел много раз. Всё было привычное, понятное без объяснений. Сердце в предчувствии опасности стучало быстрее обычного, но не так бешено, как в молодости. Десятник всё больше поглядывал вверх, на низкие облака: выглядывает из-за них хмуряя рожа Эрлэга или нет. Бога смерти было не видно, но это еще ничего не значило. Проклятый убийца любит выскочить неожиданно, без предупреждения. Сегодня уж он своего не упустит. Его день. Коли русы не открыли ворот, увидев черное от воинов поле и осадные орудия, значит, битвы не избежать. Такова воля Тенгри.

Пока что распоряжался инженер-китаец, хорошо знавший свою работу. Четыре стенобитных камнемета уже стояли на кромке берега, собранные и готовые к бою. Булгарские пехотинцы из конвоя подгоняли захваченных в селе русов – те катили снизу, от реки большие камни.

Гэрэл велел пригнать к городу всех жителей села, кроме маленьких детей. Каждый принес на себе по большому мешку шерсти, ее в амбара было очень много. Зачем мешки – ясно: будут кидать в ров.

Все работали сноровисто, но без суety. Торопиться было некуда. Раньше темноты дело не начнется. Зачем подставляться под прицельную стрельбу городских лучников?

С последним отсветом дня машины метнули несколько камней, чтобы рассчитать правильную дистанцию. Раз попав в цель, останавливались. Теперь можно будет стрелять и в темноте.

Лишь свет померк, пошла потеха. Видно не было, но зато как было слышно!

Скрипели и ухали катапульты, свистел рассекаемый воздух, издали доносился хруст, будто там трещали и ломались чьи-то кости.

Так продолжалось час или полтора.

Потом – Манул стоял близко – инженер подошел к группе всадников, над которой чернел бунчук с двумя хвостами, и что-то доложил.

Трижды ударил барабан. Дааа! Дааа! Дааа!

– Огненными, ребята! – крикнул своим Манул, выезжая в поле. –

Смотрите, куда попадет моя, и бейте так же!

Один из двух колчанов у воинов сегодня был наполнен огненными стрелами. Наконечник у таких обмотан просмоленной тряпицей. Она горит долго, погасить ее трудно. На расстоянии выстрела от стены Манул остановился. Щелкнул кресалом, запалил. Поднял лук почти вертикально, натянул тетиву до предела. Алая точка прорисовала в небе неторопливую ровную дугу, попала куда следовало. И сразу черный воздух наполнился сотнями точно таких же красных искр. Некоторые не долетали – падали в снег, гасли. Иные перелетали в город. Но большинство попадали в деревянную стену. Верней, в то, что от нее осталось.

Поленницы дров выгорели еще в прошлую ночь, когда русы ждали нападения, но света хватило и от горящих стрел. Скоро в темноте проступил багровый силуэт города, и стало видно, что осадные орудия поработали на славу. В стене зияла широкая брешь, обломки бревен торчали из нее, словно прутья.

Опять зазвучал барабан. Теперь он был размеренно и нечасто, но уже не умолкая. Да! Да! Да! Да!

Это был сигнал к началу штурма.

Манул перекинул ногу через седло, достал кусок вяленого мяса, стал жевать. Время нукеров еще не наступило.

Булгарская пешая сотня погнала вперед крестьян. Из-за навьюченных мешков с шерстью те казались в темноте головастиками. Булгары покрикивали, раздавали направо и налево удары древками копий. Бабы жалобно вскрикивали. Всё это Манул тоже видел множество раз. Интересно было лишь одно: станут русы стрелять по своим или нет.

Не стали.

Вот темный ком толпы выкатился к самой стене, на освещенное место, а стрелы так и не полетели. Русы мягки волей, это хорошо. В бою имеет значение только урон врагу, а кто жалостлив – тот слабак. Кажется, бой будет недолгим.

Добежав до рва, крестьяне сбрасывали в него шерсть и разбегались кто куда. Булгары их не преследовали. Все равно дальше оцепления не убегут.

Теперь настала очередь самих булгар. Вояки они неважные, но и задача у них нетрудная: отвлечь защитников на те две минуты, которые понадобятся монгольским воинам, чтобы добраться до стен.

Барабан загудел требовательно и быстро. Да-да-да-да-да!

Пора.

Выпрямившись в седле, Манул крикнул:

– Вперед, ребята!

Сейчас нужно вскачать подлететь к самой стене и там спешиться. Умных лошадей можно не стреноживать, они привычные. Побегут за Звездухой, будут ждать хозяев вдали от боя.

Сотни одна за другой уходили во тьму, будто ныряли в воду. Вынырнут на освещенном месте, в двух десятках шагов от рва.

Манул несся не в самом первом ряду, дураков нет, но и не в гуще, где тесно. Держался прямо за спиной у сотника Ухты. Тот всегда лез в бой очертя голову. Есть такие люди, которые любят дразнить Эрлэга. Они или быстро умирают, или становятся героями. Ухте всего двадцать два года, а он уже сотник, и многие называют его «Ухта-багатур».

Вдруг Ухта исчез. Словно сгинул. Манул не успел удивиться, потому что провалился сквозь землю. В самом прямом смысле.

В снегу зияла невесть как образовавшаяся дыра, и они с Звездухой туда рухнули.

Лошадь пронзительно вскрикнула. Манул отлетел в сторону, ударился спиной и боком о твердую мерзлую стенку. Это его и спасло – что отлетел. Сверху в яму посыпались люди и лошади, они раздавили бы Манула.

Это был еще один ров, потайной! Прикрытый досками и дерном, он выдержал пеших, но проломился под конными!

Ни при одной из многочисленных осад Манул с такой хитрой предосторожностью не сталкивался. Проклятые русы!

Всадники в ловушку больше не падали, задние успели придержать коней, однако приступ, по-видимому, захлебнулся. Отовсюду неслись растерянные крики. Кто-то вопил «вперед!», кто-то «куда вперед?», кто-то призывал повернуть обратно, кто-то орал от боли. Воздух наполнился свистом стрел, и многие из них, видимо, достигали цели.

Но Манулу сейчас не было дела ни до приступа, ни до гибнущих нукеров. Он смотрел, как бьется в судорогах Звездуха. Из ее шеи торчало мокре острие деревянного кола. Другое пронзило бедняжке бок. Кобыла хрюпела от невыносимой боли, вытаращенный от муки глаз смотрел на хозяина, и в нем читалась мольба.

Не выполнить ее было нельзя. Манул выдернул из ножен саблю и перерубил страдалице горло, а потом ударил еще раз – отсек всю голову, чтобы смерть наступила сразу.

В земляную стенку ударила струя крови. Непроизвольно Манул подставил ладонь, будто хотел исправить то, что уже не исправишь, и ладонь обожгло горячей влагой.

– Что делать, Манул-мэрэгэн? – спросил кто-то из темноты.

Другой голос сказал:

– Манул-мэргэн, у меня сломана рука, но левая. Я могу держать саблю.

Лишь теперь Манул увидел, что во рву есть живые люди, и немало. Лошади погибли все – кто угодил на колья, кто сломал себе хребет, но всадники по большей части уцелели.

Что делать, Манулу было ясно. Поскорей схватить за бороду Эрлэга. Чтобы догнать дух Звездухи, пока не отлетел слишком далеко.

– Вылезаем! – крикнул десятник и полез из ямы первым.

У него получилось быстрей, чем у остальных. Другие воины были в чешуйчатых куяках или в доспехах из грубой воловьей кожи, в обшищих железом бычьих шлемах, а Манул, когда намечалась пешая рубка, предпочитал обходиться без доспехов. Латы и кольчуги хороши, если идешь под стрелы, а в ночном бою на городских улицах важнее всего подвижность и увертливость.

Вылез, огляделся. Увидел: дела плохи. Среди смешавшихся воинов – конных, пеших – метался Гэрэл-нойон, кричал сорваным голосом. Рядом был Калга-сэчэн и что-то говорил царевичу, но тот не слушал. Сотни не шли вперед, не отступали назад, то есть случилось самое скверное, что только может произойти с войском: замешательство.

С другой стороны рва, у стен, было еще хуже. Булгары, ринувшиеся было в брешь, почти все погибли. Защитники добивали последних. Сам-то ров был закидан мешками до краев, но со стены вниз летели факела, и шерсть уже вовсю горела. Там, в черном дыму, в алом пламени, отчетливо промелькнула глумливая физиономия Эрлэга. К нему Манул и кинулся.

Жилистый, кривоногий, согнутый, как тугое древко лука, десятник бежал прямо в огонь, шепча: «Вот он я, бери!»



Сзади донесся крик Гэрэл-нойона:

– За ним! За татарским котом! Спешиться и в ров! Вперед!

Верхние, пылающие мешки Манул скинул. По тем, что внизу, идти было можно. С хищным шелестом в шерсть, около самой ступни, вонзилась стрела. По плечу, едва задев, чиркнула еще одна.

Но бог смерти не торопился брать к себе Манула. Эрлэг отступил в самую брешь и манил оттуда.

Что ж, в брешь так в брешь.

Перескакивая через бревна, Манул пробежал через пролом. Навстречу кинулись два руса – воин в доспехах и мужик в белой перепоясанной рубахе. Не раздумывая, не рассчитывая движений, а просто повинувшись навыку и чутью, десятник увернулся от топора, отбил удар меча. Скользящим ударом рубанул неловкого горожанина по голове. С воином пришлось немного повозиться. Тот был обучен клиновому бою, и хоть отступал, но под саблю не подставлялся. Тогда Манул применил китайский прием, безотказный. Упал на землю и, изогнувшись по-змеиному, подсек русу щиколотку, а когда тот рухнул, добил прямым ударом.

В пролом сзади уже лезли монгольские нукеры, где-то там мелькал белый лисий малахай Гэрэл-нойона, но Манулу хотелось не драться среди своих, а поскорее погибнуть.

Эрлэг издевался над ним – отбежал на городскую улицу, корчил рожи из-за спин русов.

– Ах, вот ты как?! – рассвирепел Манул. – Думаешь, отступлюсь?

Десятник побежал вперед. Желание умереть не означало, что он собирается отдать русам свою жизнь задарма. Нет уж, всё будет честно.

Манул бросался туда, где островерхие шлемы и белые рубахи были гуще, но, ввязавшись в драку, бился без дураков.

Русы были храбры, но неопытны. Даже по воинам чувствовалось, что в настоящей схватке они никогда не бывали, а уж горожане и вовсе ни на что не годились – только саблю о них тупить. Несколько раз на пути у прорубавшегося вперед десятника возникали и женщины – с топором, с вилами, одна даже с копьем. Манул расправлялся с каждой двумя короткими движениями: первым отбивал неуклюжий удар, вторым рассекал мягкое тело. Задержки от таких столкновений не происходило.

На улице было светло, как на заре. Монгольские стрелы, перелетевшие через стену, запалили крыши домов, там и сям поверху метались языки пламени.

Эрлэгу надоело играть в прятки. Манул вновь увидел его среди

сомкнутых щитов: небольшая группа русских воинов пятилась к площади. Их вел за собой какой-то военачальник. Манул подумал – тот самый воевода. Но воевода был высокий и статный, а этот, в блестящем шлеме и алом плаще, едва доставал дружинникам до плеча.

Старый князь – вот кто это был. А воевода, должно быть, сложил голову в сече у пролома.

Хоть Манул и думал сейчас только о смерти, но привычка войны подсказала: нельзя допустить, чтобы русский нойон с воинами отступили в деревянный дворец и заперли за собой ворота. Осадные орудия в город не затащить, а значит, придется лезть на бревенчатый частокол. Бой затягнется неизвестно насколько, погибнет много монгольских воинов.

– Эй, сюда! – крикнул Манул, подзываая своих. – За мной!

Быстрей!

Русы уже допятались до ворот, заполнили неширокий двор.

Десятник заколебался. Можно было ринуться вперед, на копья, прямо в объятья Эрлэгу, тут уж бог смерти от встречи не отвертится. А можно было поступить, как предписывал долг, – помочь победе.

Уходить из жизни по-жульнически Манул посовестился. Еще неизвестно, попадет ли воин, пренебрегший своим долгом, на Небесные Пастбища.

Поэтому во двор Манул в одиночку не сунулся, а выдернул из-за спины лук, из колчана стрелу и быстро, навскид, пустил ее в старого князя.

Тот был в крепких латах, в шлеме с железной маской, прикрывавшей половину лица, но Манул умел сшибать стремительную ласточку на лету, а русский нойон стоял почти неподвижно. Меткая стрела вошла ему точно в глаз.

Воины закричали, кинулись поднимать упавшего. Произошла заминка, и нукеры успели через площадь добежать до ворот. Тут и обороне настал конец – всегда так бывает, когда падет военачальник. Русы уже не дрались, а пытались спрятаться или убежать. Как будто это было возможно.

Во дворе, на высокой лестнице, в тесных переходах терема – десятник искал Эрлэга повсюду. Однако бог больше не появлялся. То ли в милость, то ли в наказание он решил сегодня оставить Манула в живых. Забирал всех подряд, направо и налево, одна сабля Манула подарила ему не меньше дюжины жизней, а десятника смерть не тронула.

Когда стало ясно, что умереть не удастся и придется жить дальше, с Манула словно хмель сошел.

Бой почти закончен. Город взят. Наступило время добычи.

Вот ведь не мила ему теперь была добыча. Зачем она? Раньше

выменял бы на что-нибудь для Звездухи: ладный чепрак, уздечку хорошей кожи, новый потник под седло. Но Звездухи больше нет, а самому ему ничего не надо.

И всё же закон жизни таков: она продолжается до тех пор, пока не закончится. И требует своего. Прежде всего – соблюдения привычек и обыкновений, которые и есть жизнь.

Где находится парадная комната, в которой шли переговоры, Манул помнил. Туда и побежал.

Добрался до хорошего места первым, раньше других нукеров.

Вот куда, оказывается, унесли убитого князя. Он лежал на скамье, стрелу из глаза уже выдернули. Ни слуг, ни дружинников рядом не было – разбежались. Около покойника на коленях стояли толстая хатун, некрасивая девка в жемчужной сетке на белых волосах и невоспитанный юнец. Шаман в черной шапочке и длинном, тоже черном одеянии, наклонившись над мертвецом, зачем-то совал ему в сложенные на груди руки маленькую свечку.

Все разом обернулись.

Старого шамана Манул зарубил сразу, чтобы не успел наслать каких-нибудь злых чар. Старуху – потому что очень уж пронзительно завопила. Мальчишка вскочил, схватился за пояс (у него там висел тонкий и короткий меч в узорчатых ножнах), да и замер, весь побледнев. Этого десятник убивать не стал, а просто оглушил ударом кулака. Сзади в дверь уже сунулись другие нукеры, и Манул им крикнул:

– Здесь всё мое!

Но воины были из другой сотни, Манула не знали и не послушались. Один бросился сдирать с мертвого князя сафьяновые сапоги, другой схватил со стола самую нарядную книгу и давай вертеть в руках – никогда не видел. Третий сорвал с беспамятевшего княжича его похожий на игрушку меч.

Не драться же с ними?

Осталась Манулу одна девка. Она забилась в угол, закрыла голову руками.

Деловито оглядев княжну, десятник сдернул с ее волос жемчужную сетку. Под сеткой на лбу было точно такое же пятно, как у старого нойона, – видимо, все-таки родимое. Застывшие от ужаса глаза пялились на Манула. Он схватил тонкие запястья, оглядел пальцы – нет ли колец. Она зажмурилась, взвизгнула. Кольцо не было, и десятник девку оттолкнул.

– Не ори, – сказал он по-туркски. – Никто тебя не тронет. Закон запрещает.

Это раньше, до Великой Ясы, после боя женщин насиловали. Теперь нельзя. Все пленные становятся собственностью хана. Строго говоря, вся захваченная добыча тоже. Но если нукер заберет себе пару мелочей, не отягощающих седельные сумки, это ничего.

Манул оглядел комнату – нет ли еще чего. Взял одну книгу, самую маленькую и легкую, с цветными рисунками. Потому что пришла в голову одна хорошая мысль.

* * *

Вдали мерно, сдвоенными ударами (на-зад! на-зад! на-зад!), созывал воинов барабан.

Город взят. В темноте шастать по улицам и домам нечего. Пускай жители и уцелевшие дружинники прячутся. Все равно никуда не денутся.

Утром, как положено, главный юртчи со своими сборщиками всюду пройдут, во всякую щель заглянут и соберут всё ценное, а людей сгонят в одно место, на сортировку.

Манул шел по горящей улице. Вокруг возбужденно орали и гоготали нукеры – радовались победе и тому, что остались живы. Это всегда так после удачного боя, а неудачных боев у монгольской армии не бывает. Плакал один только Манул. И оттого, что все вокруг ликовали, чувствовал себя совсем-совсем одиноким. А каким еще он мог себя чувствовать? Теперь Манул остался на свете один. Ах, Эрлэг, Эрлэг, черная душа. Даже щадя караешь...

Теперь все будут жарить мясо, пить молочную водку и хвастаться своими подвигами. В поле люди главного юртчи, верно, уж развели костры и зарезали баранов.

А Манулу нужно было достойно похоронить Звездуху. Лучше всего – прямо во рву, где она погибла. Приставить к тулowiщу отсеченную голову. Укрыть попоной. Сделать щедрое подношение богу Тенгри, чтобы отвел лошадиной душе хороший луг, где она в довольстве дожидалась бы хозяина. Как бы Эрлэг ни кобенился, человека, который твердо решил умереть, надолго на свете не удержишь.

Вдруг Манул вздрогнул.

Плакал не он один. Впереди, там, где войска через пролом ворвались в город, кто-то тоже горестно выл. И никто в том месте не орал, никто не хохотал.

Что такое?

Плакал и причитал Гэрэл-нойон. Он сидел на корточках, размазывал по лицу слезы. Перед царевичем на земле лежал Калга-сэчэн. Из его груди, прямо из сердца, торчала стрела, но шаман был еще жив. Он слабо улыбался.

– Закрыл собой нойона, – рассказали воины. – Говорят, не выдергивайте стрелу, не то сразу помру. А так, говорит, успею с жизнью попрощаться...

Стало Манулу совсем тоскливо. Он подошел близко, стал смотреть, как умирает хороший человек. Эх, лучше бы стрела попала в царевича!

Гэрэл-нойон говорил смертельно раненому:

– Я сам закрою твои глаза, учитель. Я велю насыпать над твоей могилой высокий-превысокий курган, как делают кипчаки.

– Не надо ждать... – Голос старика был едва слышен. – Я еще день проживу или даже два, пока кровь не застынет. А ты веди воинов к темнику Хутуг-нойону. Не теряй времени, царевич. Пока во всем войске один ты победитель. Скоро таких будет много... Пусть меня отнесут в юрту и поставят шест с черным значком. Хочу перед смертью привести душу в порядок. Один. Прощай, мой мальчик. Помни, чему я тебя учил...

И обессиленно закрыл глаза. Умолк.

С рыданием Гэрэл поднялся, крикнул:

– Поставьте на берегу реки мою юрту! Шкуру сюда, самую мягкую! И носильщиков!

Пока царевич грозил носильщикам, объяснял, что с ними сделает, если они неправильно понесут раненого, Манул улучил момент – попрощался с мудрецом.

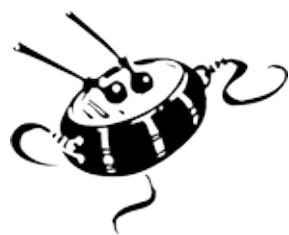
– Вот. – Достал из-за пазухи книгу. – Хотел тебе подарить. Русские заклинания. Но тебе теперь не надо...

– А, Манул. Жив... – прошептал Калга-сэчэн и улыбнулся. Говорить ему было трудно. – Это хорошо. Почему же. Не надо. Надо. Подложи вместо. Подушки. А то голова. Низко.

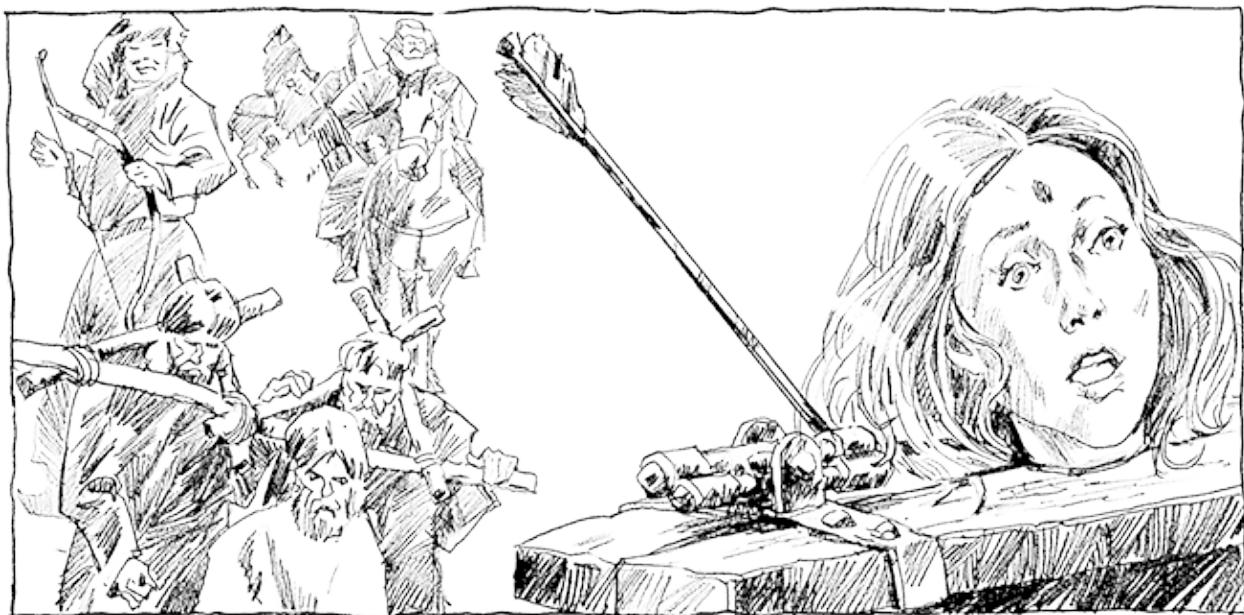
Так Манул и сделал. Наклонившись к самому уху шамана, сказал главное – то, для чего взял подарок. Хоть Калга-сэчэн и помрет, но так еще лучше выйдет.

– Когда переплыешь через черную реку, гуай, посмотри, нет ли там моей лошади. Помнишь ее? Не перепутай. У нее звездочка вот здесь. И звать ее Звездуха, она на имя откликается. Увидишь – скажи, пусть меня подождет. Я скоро.

Но глаза шамана были закрыты. Он, кажется, уже ничего не слышал.



Вернулась?



На грязно-белом, затоптанном поле между рекой и городом двумя черными линиями были выстроены пленные русы. Одна шеренга лицом к реке, другая – к городу.

Напротив стояли готовые к походу поредевшие сотни. Нукеры сидели в седлах хмурые и злые. Ночное веселье обернулось утренним похмельем. Многие товарищи легли в братскую могилу – тот самый проклятый ров, теперь засыпанный землей.

Гэрэл-нойон уже объявил, что все жители злого города, за исключением немногих, нужных казне, будут умерщвлены. Горожане пока не знали, что почти все они сейчас умрут, но чувствовали в зловещем молчании желтолицых всадников страшное и испуганно жались друг к другу. Строй, однако, покидать было нельзя. Кто попытался, лежали на снегу, пронзенные стрелами.

Прислужники главного юртчи, ведавшего сбором добычи, уже

разделили всё, вынесенное из домов и отнятое у жителей, на кучи. Серебро, хорошие ткани, красивую посуду отдельно; оружие отдельно; железные вещи отдельно. Теперь оставалось отобрать русов, которые пойдут в полон. Ждали тысячуника — он скажет, сколько рабов ему угодно забрать себе и пожаловать отличившимся при штурме.

Но царевич всё не выходил из белой юрты, поставленной на дне неглубокой балки, — чтобы меньше донимал ледяной ветер. Над юртой торчал шест с черной тряпкой — знаком того, что внутри находится умирающий, который хочет уединения.

Наконец Гэрэл вышел, утирая рукавом слезы.

Манул стоял неподалеку и слышал, как тысячуник разговаривал с помощниками.

Отвечая на вопрос, сказал:

— Нет, еще жив. Но велел не ждать. Выступаем прямо сейчас. Посчитали потери?

Ему назвали цифру, которой Манул не рассыпал. Цифра наверняка была большая. У него в сотне выбыло две трети воинов, в том числе храбрый Ухта-багатур. Правда, сотня шла в атаку первой и потеряла много людей во рву с кольями.

— Проклятый город! — воскликнул Гэрэл. — Чего вы ждете? Отберите для ставки нужных ремесленников. Сотникам дайте кому что положено по Ясе, а мне из этого змеиного гнезда никого не нужно. Всех остальных убейте! Дайте убежать двоим или троим. Пускай остальные русы узнают, как монголы поступают с непокорными.

Его опять о чем-то спросили.

— Оставлю здесь сотню убитого Ухты, все равно от нее теперь мало проку. Она всё и сделает.

Здесь нойон посмотрел вокруг, словно кого-то выглядывая, и вдруг показал пальцем на Манула.

— Эй ты, ко мне!

Раньше Манул забеспокоился бы — вдруг в чем провинился, но теперь ему было все равно. Когда из жизни уходит радость, вместе с ней уходит страх.

Подъехал, спешился, преклонил колени.

— Ты молодец, — сказал царевич. — Первым бросился в пролом. Назначаю тебя сотником вместо Ухты.

Манул не поверил ушам. Неужто нойон забыл, что татарину путь в сотники заказан?

Нет, не забыл.

— За тебя, татарский кот, просил Калга-сэчэн. Его благодари. И похорони как следует. Если вернусь и увижу, что курган мал, — пеняй на себя.

— Я остаюсь здесь, гуай? — изумленно спросил Манул. Воистину сегодня был удивительный день. — А как же война?

— От твоей сотни все равно мало что осталось, а за здешними краями нужен пригляд. Этих псов, — царевич кивнул на горожан, — всех убей. Город сожги. Мою юрту, как похоронишь учителя, тоже сожги — пусть отправляется с ним на тот свет. К осени, к новому походу, набери и обучи мне полную сотню. Поставишь здесь, на берегу, свой курень. Поднимешь бунчук. Ты теперь не десятник, а сотник. Со всеми правами сотника. Радуйся, татарин. Тебе повезло.

Гэрэл махнул рукой — барабан забил выступление. Через четверть часа на поле остались только пленные, юртчи с помощниками да сотня Манула — одно название, что сотня: тридцать два человека вместе с командиром.

Сотник! Полноправный, не временный!

Вот она какая, жизнь. Вот почему никогда нельзя от нее отрекаться. Только что всё отняла — и тут же щедро одарила.

Сотник — это не десятник. У сотника своя юрта и однохвостый бунчук, видный издалека. Сотнику положено два богола для услужения. И, главное, можно завести жену. Манул думал, что у него никогда не будет ни семьи, ни детей. А теперь — можно!

Второй подарок, что оставляют здесь. До следующей осени далеко, почти целый год. Тенгри всемогущий, как же надоели войны и походы! Просто пожить на одном месте, ни за кем не гоняясь, никого не убивая...

Тут же он вспомнил, что убить все-таки придется. Прямо сейчас и многих. Тысячу человек, если не больше.

Был бы рядом с царевичем Калга-сэчэн, обошлось бы без резни. Это в прежние времена к чужеземным народам относились, будто к диким зверям: окружить, переубивать, шкуры содрать. Теперь же, по новому закону, объявленному всем туменам, велено беречь завоеванные племена, как домашний скот: не забивать, дочиста не обирать, доить и стричь. Так оно и разумней, и выгодней.

Хотя нойона тоже можно понять. Очень уж он огорчился из-за шамана.

* * *

Своих немногочисленных всадников Манул расставил редкой цепью, приказав стрелять всякого руса, кто без позволения отделится от остальных.

Сам пристроился к юртчи, медленно шагавшему вдоль шеренги пленных. Переводчик-половец спрашивал, есть ли хорошие мастера, и какие. Спрашивал мирно, не грозно, чтоб не пугались.

Были плотники, печники, кровельщики – этих юртчи не брал. В степи они не нужны. Иное дело – кузнецы, скорняжники, ткачи. Их отводили в сторону – туда, где лежала добыча. Еще юртчи на свой страх и риск, хоть царевич и не велел, отобрал несколько особенно плечистых парней и самых красивых девок – какие потолще, помястее и чтоб нос-глаза не слишком большие. Девки, дуры, как одна, закатили рев. Не понимали своего счастья.

Смотреть, как Эрлэг сортирует людей на живых и мертвых, было неприятно, но Манул увязался за юртчи не из праздного любопытства.

Ему теперь полагалось два раба, и одного хорошо бы взять нынче же. Конюха, чтоб ходил за лошадьми, – сотнику самому невместно. Да и не хотелось. Это было бы все равно что изменить Звездухе, зарытой в мерзлую землю.

По просьбе Манула переводчик спрашивал и про конюхов.

Один понравился. Пожилой, но крепкий, со смирным взглядом и весь пропахший конским потом, хорошим запахом. Служил при княжьей конюшне.

– Поди-ка туда, – показал Манул рабу туда, где стояли те, кому суждено жить.

Хотел вернуться к воинам, и тут увидел знакомую беловолосую девку, у которой отобрал жемчужную сетку. Помощник юртчи тянул пленницу за руку, хотел отвести к красавицам, хоть княжья дочь была нехороша собой. Один Тенгри знает, чем она приглянулась юртчи. Может, белой кожей. Или редким цветом волос. Княжья дочь упиралась, не хотела разлучаться с братом – этот тоже был здесь. Распухшее от удара Манурова кулака ухо побагровело и торчало, будто лепешка.

Но княжьей дочерью девка была в прошлой жизни, а теперь стала просто рабыней. Помощник юртчи ударил ее нагайкой по спине и оттащил, куда положено.

А Манул уже прикидывал, как половчей исполнить поганую работу. Посчитал. После отсева зарезать придется около девятисот человек. Почти по тридцать голов на нукера, не шутка.

Ничего, не первый раз. Правила известны. Их не дураки придумывали.

Шестерых самых метких лучников Манул оставил в седле – стрелять

тех, кто побежит.



Потом приказал воинам разделить пленных на группы по двадцать пять человек. Групп получилось тридцать шесть, последняя неполная.

Воинов за вычетом стрелков тоже было двадцать пять. Собрав их вокруг себя, Манул объяснил, как делается дело, – здесь были и новички, кто никогда городов не захватывал.

– Главное – быстрота. Каждый берет по одному. Левой рукой обхватываешь голову, ладонью прикрываешь глаза, чтобы ничего не видел. В правой нож. Ррраз, и готово. Ударит струя крови, не замочитесь – вот так. Потом идем, забираем следующих.

Юрчи закончил свою работу. Можно было приступать.

Отогнали первую группу вниз, под обрыв – чтобы толпа не видела, как убивают, и не заметалась.

Нукеры спешились. Неопытным Манул велел брать маленьких детей – с ними совсем просто.

Сказал:

– Давайте!

Сам остался наверху – смотреть, как оно пойдет.

Бывалые воины справились быстро, зеленые – по-разному. У кого-то дрожали руки, кому-то досталась слишком брыкливая жертва, но этим помогли товарищи. В общем и целом для первого раза получилось неплохо.

– Идем за следующими, ребята, – велел Манул. – Работы много, а зимний день короток.

На спуске остались двадцать пять трупов, больших и маленьких, да красные пятна. Падаль пролежит здесь всю зиму, а весной, в половодье, река унесет мертвцев прочь.

Вторую группу отвели в другое место, поодаль. Управились еще быстрей, но Манул уже отметил молодого нукера – низкорослого кипчака по имени Коротышка, который замешкался в прошлый раз и теперь опять не удержал пленика, хотя это был щуплый мальчишка лет семи. На беглеца пришлось потратить стрелу, а Коротышке сотник показал еще раз, как режут горло. Нукер кусал белые губы. С парнем надо было еще работать и работать.

Когда пошли за третьей группой, толпа уже знала, что происходит под берегом. Догадались. Потому что удравший мальчишка громко вопил, да и нукеры все-таки перемазались в крови.

Это всегда так бывает. Довольно скоро те, кого еще не убили, понимают, какая судьба им уготована. Но это мало что меняет. Люди, когда они согнаны в кучу, будто перестают быть людьми, превращаются в овец.

Казалось бы, бросся они сейчас врассыпную и многие бы спаслись. Но нет. Пробуют убежать только самые смелье. Вон они, лежат, у каждого по стреле в спине. Человек десять таких набралось. Остальные прижались друг к другу. Шести всадников с луками вполне достаточно, чтобы удерживать толпу чуть не в тысячу человек.

Главный секрет – резать не на виду у остальных, а отводить подальше. Тогда все будут стоять и ждать. На что надеются? Загадка.

Одни плакали и обнимались, другие молились, а кто-то лег ничком на снег и заткнул уши. Манул подумал, что он, наверное, тоже так лег бы, попрощался с жизнью. Припомнил бы ей все плохое. А потом встал бы и побежал. Умереть от стрелы лучше, чем от ножа. Хотя это, конечно, как кому.

Помощники юртчи надевали отобранным в рабство счастливцам канги – деревянные колодки. Счастливцы уже поняли, что они счастливцы, и послушно подставляли шеи.

– Нагайками их, нагайками, – посоветовал Манул воинам, потому что третья группа шла к берегу медленно, упиралась. – А то до ночи не управимся.

И снова Коротышка оплошал. Ему достался тот самый юнец, княжий сын. Вроде и не сопротивлялся, стоял смирно, стучал зубами, а нукер никак.

– Ты что, у себя в нутуге никогда баранов не резал? – терпеливо сказал Манул. – Человека резать проще. Не нужно бояться, что шкуру больше

нужного попортишь. Смотри и учись.

Он подошел, зажал русу локтем лицо.

– Держишишь вот так. И на себя, чтоб горло подставить. Ножом ведешь без усилия, легко, наискось...

Что-то зашуршало по снежному склону.

Прямо под ноги сотнику скатилась беловолосая девка, обхватила его за гутулы, крикнула по-тюрски:

– Не убивай брата!

Манул сначала ужасно удивился. Как это ей удалось убежать и остаться живой? Но потом увидел, что из шейной колодки сзади торчит стрела, и понял: девке повезло, канга спасла.

– Не убивай его! – просила девка, глядя снизу умоляющими глазами. – Рабой твоей буду! Что хочешь сделаю! Богом клянусь!

Сотник хотел толкнуть ее кулаком в лоб, но рука замерла на полпути.

На лбу у девки была круглая коричневая родинка величиной с горошину. Это пятнышко Манул заметил еще вчера, когда сорвал жемчужную сетку, но не придал значения. А сейчас вдруг пронзило: точь-вточь как звездочка у Звездухи! И вспомнилась мечта перед боем, в котором погибла лошадь. Про индийцев, которые верят в переселение душ. Тамошние женщины рисуют себе на лбу такие же круглые точки!

А что если...

– Ты вернулась? – спросил он по-монгольски.

Звездуха бы поняла.

Но девка повторила по-тюрски:

– Я буду твоя душой и телом. Сколько живу. Только пощади брата.

И зачем-то ткнула себя двумя пальцами в лоб, в живот и потом в оба плеча.

Пусть даже и не Звездуха, размышлял Манул. Девка некрасивая, но крепкая, молодая. И смелая. Не побоялась стрел. Взять что ли ее в жены? Жить здесь долго, до следующей осени. А там наверняка начнется новая война. Монголку в этом дальнем kraю все равно не найти. Эта по крайней мере будет благодарна.

– Ладно, – сказал он на понятном ей языке. – Возьму тебя и его. Забирай своего брата. Веди его к начальнику обоза, скажи, сотник Манул велел снять с тебя кангу. Сидите там, ждите.

Теперь придется отказаться от конюха, отослать его назад, на смерть. Жалко. Но сотнику больше двух рабов не положено.



Часть вторая

Мир

В Преисподней



Поп Микита когда-то учил на уроках Слова Божия, что Преисподня жаркая и огнепламенная, уязвляющая грешников искрами, обжигающая альми угольями.

Неправда. Всё неправда.

В Преисподней нет ни жара, ни тепла. Ибо тепло – жизнь, а Преисподня – смерть. Она ледяная-снежная, и цвет ее – белый.

Эта истина, как многие другие, злые, впервые открылась Солонию, когда он стоял ни жив, ни мертв и трясясь – от холода, от ужаса, от воспоминания об овчинном запахе убийства, который, казалось, впечатался в лицо, смятое рукой татарского сатаны. Кривоногий, криворожий, с глазами-трещинками и еще одной длинной трещиной, рассекавшей харю сверху донизу, Сатана только что собирался убить Солония, перерезать ему беззащитное, выпяченное вперед горло кровавым ножом. Потом что-то произошло – Солоний не видел и не слышал, он был не в себе – но только хваткие лапы его выпустили, и стало снова можно дышать, а потом Фила, сестра, невесть откуда взявшаяся, потащила его куда-то вверх и что-то шептала, приговаривала, обнимала.

И вот он стоял на ветру, по-над обрывом, трясясь, думал про белую Преисподнюю. Фила подобрала с земли тулуп и шапку, одежды вокруг валялось много – некоторые люди, перед тем как их убивали, почему-то начинали все с себя срывать, – и надела на брата. Теплее ему не стало, и дрожать он не перестал, но будто бы вернулось зрение, или, вернее сказать, раздвинулось. Только что видел на полсажени вперед да на столько же в стороны, а дальше тьма, теперь же узрел все окружное: горящий Свиристель, воющую толпу, всадников в острых малахаях, снежное поле, реку.

Они с Филой стояли сами по себе, вдвоем. Пообочь, возле телег, кучкой теснились люди с деревянными ступами на шее. Он узнал Ладонью-кузнеца и девку из матушкиной вышивальни, только имени не вспомнил. На поле поглядел – поскорей отвернулся. Там, вертясь в седле, распоряжался Сатана, махал рукой, и его присные били плетками, гнали на убой новых агнцев.

– Я понял, Фила, – сказал Солоний чужим скрипучим голосом. – Мы все ночью убиты. Меня черт татарский еще тогда кончил, заодно с батюшкой, матушкой и отцом Микитой. И тебя тоже убили. Просто они в рай пошли, а у нас тут – ад, для грешных. Это мытарства, нам назначенные.

Сестра тряхнула его за плечи, прижалась губами к уху, зашептала:

– Очнись, Солоша. Не время! Пока не глядит никто, прыгай вниз, вывалийся в снегу и по бережку, по бережку. Спасайся, Солоша. Не то угонят со мною в полон, сгинешь. Беги!

Дыхание у нее было теплое, губы горячие, и от этого он будто оттаял. Если в ледяном аду есть что-то теплое и даже горячее, то есть и надежда. Так ему в тот миг помнилось.

Встрепенувшись, княжич обернулся, поглядел вниз. Скатиться по белому крутыму склону легко. Побежать вдоль Крайны-реки, до излучины. Там Заячий овраг. Он длинный, по нему можно уйти чуть не до самой Кольшиной рощи. И всё, не сыщут.

«Бежим вместе!» – хотел он сказать Филе. Но посмотрел на нее – и не сказал. Фила тонкая, хрупкая, нет в ней никакой силы. Увязнет в снегу, ослабнет. Сама пропадет, и его задержит. И, главное, даже если доберется с ним до березовой рощи – что потом? Куда с девкой по холоду? До Радомира тридцать верст. Не дойдет.

А всё же сказал:

– Бежим со мной. Как-нибудь Бог выручит.

Но она качнула головой:

– Нельзя. Я Ему поклялась: спасет тебя – останусь рабой татарской.

Солоний не очень понял, о чем она, но настаивать не стал.

– Я тоже клянусь, перед Господом. Вернусь. Сыщу тебя хоть на краю земли. И вызволю. А татарина, сатану косорылого, найду и за батюшку с матушкой отомщу! Убью!

– Беги, мститель, – сказала Фила. Коротко оглянулась и вдруг с нежданной силой толкнула брата в грудь.

Он покатился по спуску. Вскочил, весь облепленный снегом, хотел махнуть ей на прощанье рукой, но сестру было уже не видно.

Тогда пригнулся, побежал, бормоча «убью, убью, убью!».

Два раза, уже в овраге, останавливался перевести дыхание, однако ненадолго. А упал, вконец обессиленный, уже в роще, среди голых деревьев. Это всё были березы, покрытые коркой льда и такие же белые, как пустое безжизненное поле. Очень скоро княжич замерз, и мир снова начал казаться ему Преисподней.

Благомысленные византийские мудрецы из батюшкиных книг писали, что Божий Мир – многоцветный сад, исполненный чудес и красот, но они не знали правды. Мир – ледяная пустыня, и в ней только три цвета: белый – мертвенно-холода, красный – пролитой крови и черный – пепелища. А правит в сем аду щелеглазый Сатана с рассеченной наискось рожей. Она и сейчас нависала над закоченевшим беглецом.

Увидев татарина в самый первый раз, еще не зная, что это сам Всепогубитель, Солоний испытал странное омерзение, словно по голому хребту проползла скользкая змея. А ведь бес тогда был почти один, толмач не в счет. Раздавить бы его, и ничего бы не было. Эх, батюшка-батюшка. Мудр был, а Солоний глуп, но если б мудрец послушался глупца, глядишь, и спасся бы...

Второй раз Сатана явился княжичу во всей своей силе, окруженный багровыми сплохами. Солоний стоял у теремного окошка, смотрел на сечу у ворот княжьего подворья, сжимал кулаки.

Отец не дозволил идти в бой. Уж как Солоний упрашивал. Ведь не мальчик, семнадцать лет. Из самострела бьет метко и с мечом ловок, сам Матьяш-воевода говорит, что лучше ученика у него не бывало. Но батюшка сказал: «В доспехах биться не то, что налегке махать. Не сдюжишь».

А кто сам запрещал доспехи носить? «Кость у тебя еще тонкая. Коли рано начнешь железо на плечах таскать, не вырастешь. Останешься, как я – недомерком» – это кто повторял?

Отец был добрый, мягкий, но когда заговорит таким голосом, спорить с ним было нельзя. Остался Солоний в тереме. Батюшка на прощанье

обнял, наказал: «Мать, сестру на тебя оставляю. Защити». И ушел.

Через час или два, когда город стал весь светлый от множества пожаров, отец вернулся с малой ватагой дружинников. Тут-то княжич и увидел Сатану – узнал издали по волчьей повадке, по длинным рукам, по кривым ногам.

Татарин вскинул лук – и батюшка повалился. Солоний так страшно закричал, что мать с сестрой, без умолку плачавшие, враз умолкли.

А в третий раз Сатана явился, когда Микита над отцом читал заупокой. Страшней того, что тогда случилось, ничего нет и быть не может. Даже когда Сатана на берегу хотел горло резать, не так содрогательно было, из-за тупого оцепенения.

Однако именно воспоминание о бараньем запахе и грязном рукаве, сдавившем лицо, заставило княжича подняться и побрести дальше, через рощу. Не для того он спасся от татарского ножа, чтобы замерзнуть под голой береской. И клятвы перед Господом просто так не даются. Нужно поскорей добраться до Радомира, вернуться с дружиной и всё исполнить: Филу спасти, Сатану истребить.

О том, что поганые могли уже добраться и до Радомира, княжич думать не захотел.

Пройти надо было без малого тридцать верст, да не по дороге, а полем. Хорошо, наст здесь, на гладком просторе, был крепкий, обветренный, прогибался под шагами, но держал.

Солоний шел и плакал, всё не мог остановиться. Очень было себя жалко. Отца с матерью, сестру, всех погибших и плененных тоже, но больше всего себя. За то, что верил добрым и умным книгам, а они оказались ложью.

Слезы текли без остановки и были соленые. Под стать имени.

Батюшка, книжник, назвал своих детей по-ученому, не как в других княжеских семьях. Старшего сына – Тимоном, что означает «честь», ибо для наследника княжеского стола нет ничего важнее чести. Дочь нарек Филоменой, это «Сильная Любовью». Для женщины, говорил отец, самое главное – любовь. Младшему сыну выбрал для крещения имя Солоний, «Мудрый». Было, конечно, как положено, и родовое имя, Олег, в честь великого пращура Олега Святославича, от кого все они, Ольговичи, произошли, но так младшего княжича никто не звал, только Солонием.

«Как сам себя зовешь, таким и станешь, – говорил отец. – И если проживешь честно под стать имени, то в старости получишь самую лучшую награду – мудрость. В молодые годы ей взяться рано, но на то есть

мудрые книги. Не умствуй, а исполняй, что там написано. В зрелости поймешь». И заставлял учить наизусть слово князя Владимира Всеволодовича Мономаха, оставленное сыновьям: «Есть и пить без шума великого, при старых молчать, премудрых слушать, старшим покоряться, с равными и младшими любовь иметь, без лукавства беседуя, а побольше разуметь; не свиреповать словом, не хулиг в беседе, не смеяться много, стыдиться старших, с нелепыми женщинами не беседовать, глаза держать книзу, а душу ввысь, избегать суety; не уклоняться учить увлекающихся властью, ни во что ставить всеобщий почет. Если кто из вас может другим принести пользу, от Бога на воздаяние пусть надеется и вечных благ насладится».

Батюшка и сам учил своих сыновей не хуже Мономаха. Объяснял, что родиться князем – не удача, а великая тягота и суровое испытание. Обычный человек только за себя ответчик, так жить и спастись легко. А князь Богом поставлен своих людей оберегать, и этот его долг даже превыше заботы о спасении собственной души.

В последнее время Солонию хотелось жить своим умом, обо всем иметь незаемное суждение, и он с отцом часто спорил – это поощрялось.

Осенью поймали шайку лютых разбойников, грабивших поречные деревни. Стали злодеям головы рубить. Солоний возьми и пристань к отцу с ехидством и укоризной. Как же, дескать, ты учил: «Будь с людьми милостив, награждай за дело щедро, а за вины взыскивай снисходительно», сам же вот головы рубишь? Ведь и в Новом Завете речено «не убий»? Отец ему со вздохом: «Государю по Новому Завету жить нельзя. Хотел я когда-то, но скоро понял – пустое мечтание. Править можно только по Завету Ветхому, где око за око и зуб за зуб. Враг нагрянет – не щеку подставляй, а своих защищай. Злодеев казни, чтобы иным неповадно было. Мы не святые монахи, мы князья. Вся надежда, что Бог на Страшном Суде простит нам вины, потому что грешили не за себя, а за люди своя. Если же ты боишься Его кары – уходи со стола. Иди в монастырь, спасай свою душу».

Ах, батюшка, батюшка. Про небесные светила рассказывал, про чужие страны, про разные чудеса. Языкам учил – тюркскому и греческому. У матери для детей был свой язык, францкий – говорить о домашнем, о ласковом.

Ничего этого больше никогда не будет.

До Радомира бы добрести, думал Солоний, еле волоча ноги и сгибаясь под серой во тьме выногой. Старший брат отделился два года назад, правил собственным уделом. Там, у Тимона, спасение.

* * *

По дороге, в десяти верстах от Радомира, была одна деревня, Конобеево. Туда-то татары скорее всего уже нагрянули, однако Солоний все же решил попытать счастья. Очень уж хотелось обогреться и поесть.

Долго таился у околицы, высматривал. Вроде тихо, а что огни не горят, так крестьяне зимой рано ложатся. Главное, дома чернели во мгле целые, не пожженные.

Ободренный, он вышел на дорогу и увидел, что она вся истоптана копытами.

Побывали...

Избы стояли пустые, с распахнутыми дверями. На улице – несколько мертвых тел, зарубленные собаки, обкромсанная до скелета корова.

Ни одной живой души. Сбежали? Угнаны в полон? Бог весть.

Попробовал поискать в ближнем доме еду. Зажег лучину.

Нашел только горшок с недоеденной кашей. Она была заиндевевшая, к грязной ложке прилип седой волос. Побрезговал. До Радомира не столь далеко, можно дотерпеть.

Обогреться бы только.

В избе была печь, было огниво и кресало, были дрова, но растопить огонь Солоний не сумел, сколько ни бился. Искры высекались, трут зажигался, и даже хворост вспыхивал, но скоро гас. Чертова печь не слушалась. В прежней жизни никто не учил княжеского сына, как их топят.

Разжег во дворе костер, попросту. Оттаял, сморило.

Но среди ночи пробудился от лютого холода. Лязгая зубами, вскочил, попрыгал, поколотил себя руками, пошел дальше.

Эти последние десять верст, в кромешной темноте, под выногой, дались еще тяжелее, чем давешние двадцать.

Хуже всего, что заблудился. Казалось бы, путь знакомый, сто раз езженный – и по дороге, и напрямую через поля, а Радомир словно играл в прятки. Не чернел башнями, не светил огнями.

Лишь когда засизел поздний зимний рассвет, Солоний понял, что все время бродил неподалеку.

Город был прямо перед ним, всего в полуверсте. Башни не чернели, потому что их больше не было – обрушились. Не было и домов, дымились одни развалины. Огня не было. Должно быть, угли присыпала, загасила ночная метель.

Отупевший от холода и усталости, Солоний долго бродил по пепелищу, среди трупов. Снова обливался слезами. Не мертвых оплакивал, к их виду он уже привык, а прощался с жизнью. Деваться теперь было совсем некуда.

Бой в Радомире, кажется, был недолгим. Наверное, татары застали город врасплох. Пронеслись по главной улице – там лежали мертвецы, все ничком, с разрубленными затылками; возле терема произошла схватка: здесь разметались несколько братниных дружиинников, все знакомые. Ни кольчуг, ни шлемов, ни оружия. Один, безголовый, раздет почти догола.



Вдруг Солоний увидел у нагого мертвца круглую родинку на груди и зарыдал пуще прежнего. У Филы была такая же, но на лбу – как у батюшки, у Солония на плече, а у Тимона на груди.

Имя – оно как судьба. Тимон значит «честь», вот брат с честью и погиб. Похоронить его тоже нужно было честно. Чтоб вороны не клевали бедное обезображенное тело.

Долбить мерзлую землю сил не было. Солоний взял мертвого брата за ноги, дотащил до развалин конюшни. Сама она сгорела, но подклет, где хранили овес, никуда не делся, хоть мешков с зерном там уже не было. Скинув покойника вниз, княжич завалил ход обломками. Лежи, Тимон, в темной пустоте. Хоть без гроба, зато в просторе и покое. А больше ничего сделать было нельзя, только что прочесть молитву да поплакать.

Смерть смертью, а жизнь жизнью. Невыносимо хотелось есть. О давешней несъеденной каше вспоминалось как о сладчайшем из яств. Не то что с волосом – с земли бы ее съел, по-собачьи.

А искать еду было негде. Радомир превратился в черное ничто – как только татаре сумели дотла спалить немалый город, три сотни домов, да амбары, да улицы с лавками всего за день? Не иначе сам Диавол изрыгнул из пасти всесожигающее пламя.

Подобрал голубя, видно задохнувшегося в дыму, упавшего на угли и полузапекшегося. Ощипал, жадно съел, заел снегом – едва нашел чистый, без сажи и пятен крови.

Еще отыскал в сугробе целый меч – грубый, тяжелый. Должно быть, принадлежал кому-то из младшей дружины. Но повесив на бок оружие, Солоний будто стал выше ростом, шире в плечах. Уже не хвост овечий – воин.

Мертвых голубей было много. Взял еще несколько, сложил в рогожную котомку, немножко обгоревшую, но целую. А больше на пожарище в дорогу взять было нечего.

В дорогу-то в дорогу, но куда податься?

Думал, пока шел до перекрестка, что чуть западнее Радомира. Благодаря тому перекрестку когда-то и город построился. Отсюда можно было пойти на юг, в Чернигов, или на север, в Рязань, или на закат, к дальнему Смоленску.

Следы множества копыт и повозок вели направо, к Рязани. Татары повернули туда. «Иди в другую сторону, на Чернигов», – шепнуло скавшееся сердце. Но Солоний положил пальцы на деревянную рукоять,

сдвинул брови и пошел на север.

Клятва есть клятва. За родителей, за брата надо было мстить. Рязань поганые так просто не возьмут. Это им не Свиристель. Стены высокие, саженой ширины, а дружины у князя Гюргия Игоревича могучая: три тысячи пеших, до семисот конных. Сам князь рязанский Солонию троюродный дядя. Коня, щит, шлем даст, а больше ничего и не нужно. Меч вон свой есть.

* * *

Шел Солоний с умом, стерегся. Не по дороге, а вдоль. Если поле – уходил далеко. Если лес – держался рядом.

Иначе было нельзя. То вперед, то назад, всегда быстрым наметом, по двое, по трое, а то и в одиночку часто проносились всадники на маленьких косматых лошадях. Верно, гонцы. Жалко, не было самострела, а то какого-нибудь одинокого вынул бы из седла. На радомирском пепелище Солоний видел несколько целых луков, а стрел вокруг торчало сколько угодно, но брать не стал. По юным годам стрелять его учили только из княжеского оружия, немецкого арбалета. Натянуть руками тетиву русского лука – это немалая сила нужна.

Два раза заночевал в пустых деревнях. Жителей нигде не было. Вся Русь словно вымерла, на холодной земле остались одни татары да неприкаянный Солоний. Как есть – ад, Преисподняя...

Научился отыскивать в домах еду. Оказывается, в клетушах висели вязки осенних грибов, стояли малые короба с сушеною ягодой. Справился и с печью, так что спал в тепле. Правда, на вторую ночь, перед рассветом, пришлось прыгнуть в окно. Слава Христу, дремал некрепко, услышал конское ржание, горянную речь. Двое татар спешились, шли к крыльцу с саблями наголо. Наверно, заметили дым.

Ничего, отсиделся в снегу, за плетнем. Потом вернулся за тулупом и шапкой. То ли не заметили поганые, то ли им лень было гоняться в потемках. Пронес Господь.

А на третий день Солоний наконец встретил в придорожном лесу живого русского человека. Тот шел навстречу по тропинке, вел в поводу коня. Сам в островерхом шлеме, кольчуге, на боку меч – не иначе, князь или боярский друдинник.

Солоний к нему так и кинулся.

– Ты откуда, чей?

– Из Рязани, – ответил рослый, светлобородый молодец, настороженно глядя на незнакомца. – Князя Гюргия Игоревича дружиинник.

– То мой дядя!

– Ага, – оскалился воин, видя, что Солоний один, и оттого успокоившись. Не поверил. Оно и понятно – хорош княжий племянник в нагольном тулуле, с рогожным мешком и безножным мечом за поясом.

– Я княжич свир истельский, Богом клянусь! – Вспомнив, что ни отца, ни старшего брата уж нет в живых, Солоний печально поправился: – То есть теперь уже князь...

– Ну да. – Дружиинник хмыкнул. – Куда твоя княжья милость путь держит?

– Туда же, куда и ты, я думаю. В Рязань. Татар бить. – Вдруг Солоний сообразил, что воин идет не на север, а наоборот на юг. – Ты ведь в Рязань?

– Неее, – протянул бородач, глядя не на княжича, а на его шапку. – В Рязани дураки остались. А я умный.

– Как так?

– Нету боле Рязани, парень. Я в дозоре был. Как поглядел на татарскую рать, увидал, что всё поле черно, сразу в седло, и давай Бог ноги. А все, кто в городе остался, ныне воронов кормят.

– И князь?! – ахнул Солоний.

– Все, с мала до велика. Была Рязань, да вся вышла.

Княжич закрыл лицо руками. Господи, что же это? Не может быть... Ведь то сама Рязань! РЯЗАНЬ!

Вдруг голове сделалось холодно. Это рязанец сдернул с Солония шапку.

– Ты что?!

– И тулул сымай. Зябко мне в кольчуге. Сымай, сымай, князь свир истельский. Недосуг мне с тобой свиристеть. Не то вот. – Крепкая рука угрожающе коснулась меча.

– Ах ты собака! – вскричал Солоний, пятясь. – От князя своего сбежал, так еще и грабить?!

Он выдернул из-за пояса меч, продолжая отступать, потому что дружиинник не испугался, а только ухмыльнулся и продолжал напирать. Меч он не вынул.

– Не лезь. Я венгерской рубке обучен! – предупредил Солоний.

Рука дрожала, тяжелый клинок ходил ходуном.

– Ишь какой. И вправду князь. Ну, руби меня по-венгерски, коли ты такой страшный.

Рязанец покаянно опустил голову.

Княжич попросил:

– Иди своей дорогой. Шапку только отдай...

Внезапно детина, не распрымляясь, по-быччи, ринулся вперед и острой верхушкой шлема ударил в грудь. Солоний опрокинулся навзничь, вскрикнув от боли.

Но главная мука была впереди. Дружины долго бил его ногами – по ребрам, бедрам, по голове. Меч отобрал, осмотрел – швырнул в сторону. Тулуп содрал.

– Сапоги добрые, – пробормотал. – И впрямь будто княжеские...

– Я и есть князь! Не смей!

– Был князь, а стал грязь.

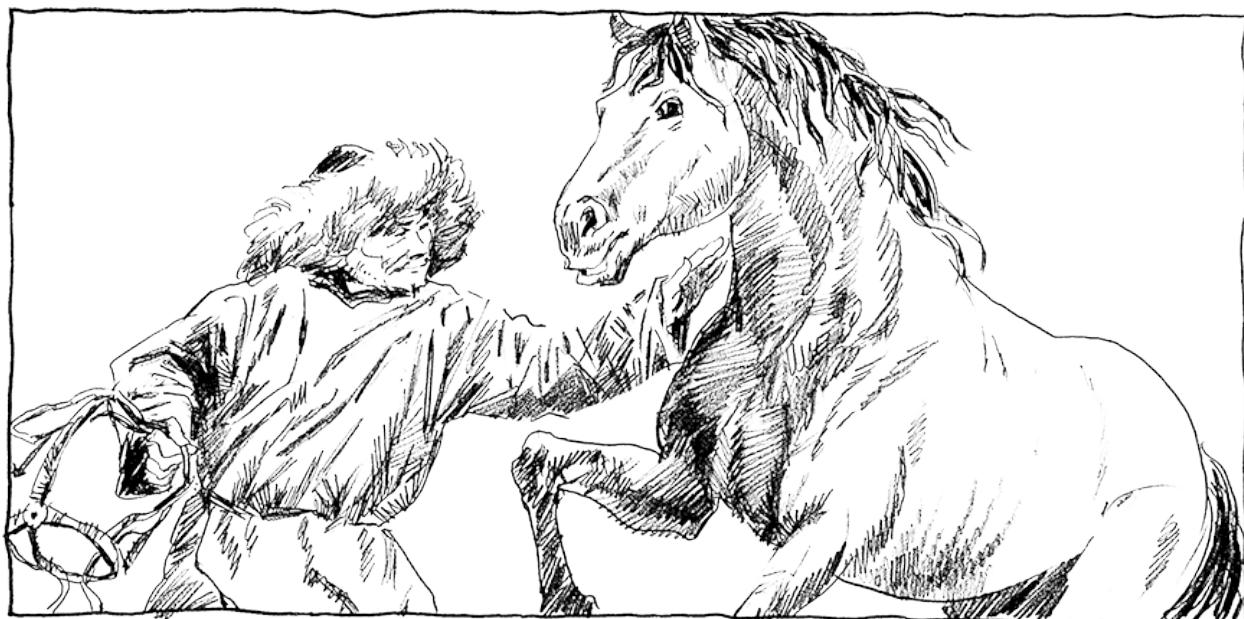
Чтоб Солоний не брыкался, гад пнул его носком в пах, уперся и стянул с ослепшего от боли юноши сафьяновые, на меху сапоги.

Напоследок, уже повернувшись уходить, да будто вспомнив, двинул с размаху каблуком в висок.

И Солония не стало.



Как седлают молодых кобылиц



Последних жителей уставшие, вымазанные в крови воины убивали уже в сумерках. А работа еще не закончилась. Приказ есть приказ. Нойон велел сегодня же спалить проклятый город с непроизносимым названием.

Крепостные стены и постройки, не сгоревшие во время пожара, опрыскали китайской горючей водой «Слюна Дракона». Одной капли довольно, чтобы сжечь целый дом – если никто не тушит. А тушить деревянный город было некому. Люди, населявшие его, либо погибли во время штурма, либо были зарезаны в поле. Малая часть, полсотни счастливцев, поплелись, связанные одной веревкой, с колодками на шее, вслед за обозом с добычей.

В полночь Манул стоял один подле юрты, в которой под черным значком умирал, а может быть, уже умер старый шаман, и глядел на костер шириной в полет стрелы и высотой до самых туч. Казалось бы, всякое повидал на своем веку, а такого зрелища еще не видывал. Эх, был бы Калга-сэчэн индусом, получилось бы огненное погребение, достойное такого человека. Но нойон велел насыпать над покойником курган. Какой, хотелось бы знать, высоты? Лучше перестараться, чем недостараться. Гэрэл очень любил своего учителя и на недостаточно высокий холм может обидеться.

А где взять столько землекопов? Своих людей мало, пленные угнаны, местные крестьяне поразбежались.

Можно, конечно, словчить. Навалить недогоревших бревен, всякого мусора, а землей присыпать только поверху. Не станет же царевич разрывать и проверять? Но может обидеться дух Калги-сэчэна, а это еще хуже, чем гнев нойона.

Пойти что ли посмотреть? Если еще жив, спросить, ладно ли будет с бревнами. Старик мудр и некичлив.

Сначала Манул подошел к караульному, тихонько спросил:

– Что он?

– Долго стонал. Потом перестал.

Манул трижды поклонился южной стороне неба, где находится заоблачное царство Тенгри. Душа мудреца несомненно уже отправилась туда.

Когда сотник последний раз видел шамана, тот лежал на спине, с закрытыми глазами. Русская стрела торчала из груди и покачивалась в такт тяжелым вздохам. За что подлый бог смерти так долго мучил хорошего человека? Вот ведь и столик с подношениями Эрлэгу рядом поставили – кумыс, сочный хурут, молочное вино архи, жареный бараний зоб. Забирай

душу, не терзай.

– Не звал перед смертью? – еще спросил Манул, робея войти. Мертвец все-таки особенный, не чета остальным. В больших шаманах живет большая сила. Бывает, не вся она уходит с покойником. Может и навредить, если кто неосторожно приблизится.

На всякий случай Манул прочитал заклинание против невидимого зла и скинул у порога гутулы. Потом все-таки вошел.

В юрте было совсем темно, ничего не видать.

– Ты жаловал меня при жизни, не обижай и теперь, – сказал сотник мертвому шаману. – Похороню тебя по-царски.

– А, Манул, – раздалось из мрака. У сотника от ужаса встопоршились волоски на затылке. – Зажги-ка светильник, а то я в темноте весь кумысом облился.

С привидением спорить нельзя. Весь трясясь, Манул запалил лампу-жировик. Под конусом потолка разлилось дрожащее красноватое сияние.

Калга-сэчэн не лежал, а сидел. В одной руке держал чашу, в другой кусок мяса. Глаза весело блестели. Стрелы в груди не было.



– Ишь, глаза какие круглые сделались. Будто у руса, – засмеялся старик. – Живой я, живой. Раненый немножко, но не сильно. На мне три халата, из толстого китайского шелка. Он не хуже железной кольчуги защищает. Стрела между ребер кольнула, да неглубоко вошла.

– А....а....а зачем же ты нойону сказал, что умираешь? – пролепетал Манул, еще не отойдя от испуга.

– Устал я в походы ходить. Никогда я войну не любил, а теперь еще и старый стал. Силы не те. И много ль царевичу проку от моих советов на войне? Я не вояка, я человек мирный. Про жизнь я много знаю, а про смерть не больше юного Гэрэла. Никогда я ею не интересовался. Вот вернется царевич с победой к мирному житью, я ему пригожусь. Он меня пуще прежнего слушать станет, я ведь его от стрелы защитил.

Шаман подмигнул, и Манулу вдруг тоже стало весело.

– Как я рад, что ты жив, гуай. Не придется насыпать высокий курган.
Оба засмеялись.

– Мой курган – молодой Гэрэл, – сказал Калга-сэчэн. – Сяду на него, вознесусь высоко. Мальчик смелый, смышленый. На язык только невоздержан. Любит спьяну похвастать, что приходится хану Бату старшим родственником – дядей. Налей-ка мне еще архи. И себе тоже. Поживу тут у тебя, пока рана не заживет. Ты не против?

– Я твой вечный должник, гуай, – низко поклонился Манул. – И рад я не только из-за кургана. Нечасто увидишь человека, который сумел провести самого Эрлэга.

* * *

Как обустраивает свою жизнь обычный человек? Сначала позабочится о себе, потом о семье и родичах, потом о родном курене и только после этого станет глядеть, что творится окрест. Не то человек, облеченный властью. Если он чего-то стоит, то делает наоборот: сначала приводит в порядок жизнь подвластных ему людей и лишь затем – свою собственную. Так велит мудрый закон Великой Ясы.

Манул теперь жил под бунчуком с конским хвостом и был сотник. И не просто армейский сотник, кто должен петься о сотне нукеров и двух сотнях лошадей, а начальник над целым нутугом. Раньше здесь располагались два русских города, Свэрэстэ и Рэдэмэр, четыре десятка больших и малых дэрэвэн, как русы называют свои деревянные поселки, а правили всем этим краем старый нойон с пятном на лбу и его старший сын, чьи головы Гэрэл-нойон отправил темнику вместе с победным донесением.

Нутуг у Манула был обширный: день быстрой рысью в длину, полдня в ширину, а населения не имелось вовсе, свои нукеры не в счет.

Оба города сгорели, горожан, кто не погиб, угнали. Потому что победители в городах жить не умели, а побежденному народу города ни к чему. Когда в одном месте слишком много людей, они чувствуют свою силу и смелеют. Но и совсем без людей тоже нельзя. Кто будет давать десятину?

Крестьяне-русы разбежались от наступающего войска во все стороны, но деться им было некуда. И к северу, и к югу, и к западу теперь правили такие же монгольские сотники, а к востоку была Степь.

Манул разослав половецких толмачей по всем направлениям, чтобы говорили беглецам: не бойтесь, возвращайтесь, ваши дома стоят целые. Не

то перемрете с голода, поморозитесь. Русы не монголы, они зимой без теплого дома жить не умеют, поэтому через некоторое время крестьяне потянулись назад.

Сначала, конечно, послали стариков, которым все равно помирать. Потом потихоньку вернулись остальные.

В каждую ожившую деревню Манул наведался сам. Без нукеров, только с толмачом. Пусть русы видят: монголы их не боятся. Говорил, что война кончилась, теперь мир и убивать больше никого не будут, только преступников. И объяснил, как надо жить, чтобы не стать преступниками.

Десятую часть всего, что выращивается и изготавляется, нужно честно отдавать хану. Это совсем немного, ваш князь забирал четверть, а другие князья и того больше. Еще каждый год нужно отдавать на ханскую службу десятую часть молодых мужчин и девушек. Бояться этого не надо. Из мужчин воспитают сильных и храбрых воинов, завидная судьба. Девушки станут матерями воинов, а это самая почетная женская доля.

Русы слушали молча, и по их странным носатым, круглоглазым лицам было не понять, что они думают, поэтому Манул вздохнул с облегчением только весной, когда увидел, что крестьяне вышли на пахоту. Это значило, что жизнь в нутруе налаживается.

Лишь теперь он занялся обустройством своего куреня – всю зиму сам был в постоянных разъездах и нукерам передышки не давал.

Поставил бунчук на высоком берегу реки, неподалеку от сожженного города. Вокруг – десять маленьких кибиток для десятников и десять больших юрт для воинов, которым полагалось жить вместе, по девять человек. Десятников-то назначил быстро, из опытных нукеров, а десятки пока были одно название – где четыре человека, где пять.

Набрать и обучить новую сотню – это было самое важное. Вернется из похода тысячник – спросит.

После приступа остались раненые. Легкие ушли с войском, о тяжелых должен был позаботиться Манул.

Раненые монголы долго не разлеживаются. Кого не отпускает Эрлэг – умирают, кто сумел с ним договориться – выздоравливают. Таких набралось двадцать три человека, хорошее пополнение. Остальных пришлось взять у русов. Манул сам отобрал каждого рекрута: чтоб был проворный, неробкий и хоть немного умел сидеть в седле.

Обучать военному делу русов оказалось так же трудно, как булгар. Давно замечено: если в стране есть города, значит, нет хороших всадников. Саблей русы махали мощно – плечи у них были крепкие и руки сильные, но лошадей понимали плохо, а из луков стреляли криво. Манул сказал

десятникам, что рекрутов и не надо обучать меткости, только быстроте. В бою важно, чтобы на врага стрелы сыпались дождем, без остановки, поэтому целятся только мэргэны, кто бьет без промаха, а остальные просто как можно чаще спускают тетиву.

Главное, чтобы новички захотели стать монголами, – об этом Манул заботился пуще всего. Кто полюбил скачку, свист ветра, воинское товарищество и вечный торг с Эрлэгом, тот уже монгол. К осени должна была вырасти настоящая монгольская сотня полного состава и приличного качества.

* * *

Наладив жизнь куреня, Манул наконец занялся собственным хозяйством.

Прежде всего, конечно, подобрал себе старшего коня, а то два запасных были не особенно хороши. Выменял у начальника соседней сотни Элбэнха очень приличного гнедого жеребца, на котором сотнику ездить не зазорно. Взамен отдал жемчужную сетку.

Отношения с новым конем сложились вежливые, но без любви. Манул даже имени ему не дал, чтобы Звездуха там, наверху, не ревновала. Звал просто «эй, конь».

Затем поставил хорошую большую юрту. Пусть люди смотрят и видят: здесь обретается Власть, вон и конский хвост полощется на ветру. Первые три месяца, пока не начал таять снег, рядом стоял нойонов шатер белого войлока, поднимая Манулов авторитет еще выше. Там выздоравливал, а потом просто жил, ждал весны Калга-сэчэн. Он выходил редко, только если выглядело солнышко, а так всё полеживал или посиживал. Несколько раз сотник заставал у него старого русского шамана, который назывался *поп*. Попа привозили из большого села, жители которого разводили овец. Однажды Манул заглянул в юрту и увидел, что оба старика стоят на коленях, что-то протяжно напевают и делают рукой движения от лба к животу, от плеча к плечу.

– Учусь русским молитвам, – объяснил потом Калга-сэчэн. – А еще Фома-сэчэн обучил меня читать русские письмена по книге, которую ты мне подарил.

– Там, в книге, изложена русская Яса? – почтительно спросил Манул. Он уже знал, что книги – это произнесенные кем-то слова, которые можно воскресить при помощи колдовства, именуемого «чтение».

– Нет, это сказка про багатура, который полюбил хатун, и они убежали в лес и стали жить вдвоем, вдали от всех.

– Каждый багатур должен любить жену своего хана. Зачем же убегать? – удивился Манул. – И зачем жить в лесу? Там темно, ничего не видно, нельзя пустить коня вскачь.

Калга-сэчэн рассказал удивительное. Оказывается, у людей Запада бывает, что мужчина и женщина не просто хотят вместе лечь, но вроде как заболевают духом и совсем не могут обходиться друг без друга. Это не такая любовь, когда тебе просто кто-то очень нравится, а совсем другая: любишь кого-то так сильно, что на всех остальных любви уже не остается.

Шаман очень хорошо умел объяснять непонятное. Он сказал: «Разве ты любишь других лошадей, как любил свою Звездуху?» – и Манул понял.

Они часто разговаривали с Калгой-сэчэном по вечерам о всяком-разном, это было самое лучшее время суток.

– А ты кого-нибудь так в своей жизни любил, гуай? – спросил сотник.

– Я больше всего любил узнавать новое. Меня гнало с места на место ненасытное любопытство. – Шаман вздохнул. – Поэтому ни с одной женщиной я надолго не оставался. Даже если какая-то очень нравилась, скоро она переставала быть новой, и я шел дальше. Теперь я часто вспоминаю одну тангутку, с которой прожил когда-то, много зим назад, два месяца, и думаю: если б я остался с ней, может быть, узнал бы про жизнь больше, чем за годы всех моих странствий. Но я был молод и глуп. Я ушел...

– Ты не мог не уйти. Ты служил великому Чингисхану.

Калга-сэчэн пренебрежительно покривился.

– Это Чингисхан думал, что я таскаюсь из конца в конец земли, следуя его воле. А я просто любил смотреть, как устроен мир, как где живут люди и какие где боги. Я был у керaitов и молился Иисусу. Был дервишем и молился Аллаху. Был в китайском монастыре – молился Будде. А сейчас я снова монгол и молюсь богу Тенгри. К старости я понял, что Бог – один, и ему все равно, как мы его называем. Лишь бы исполняли Его закон, который тоже один.

– В чем же состоит этот закон?

– А то ты не знаешь? Поступишь правильно – будешь награжден. Поступишь неправильно – будешь наказан.

Поразмыслив, Манул спросил:

– А как понять, что правильно и что неправильно? Ведь у нас обычаи одни, у хорезмцев другие, у половцев третьи. Все живут по-разному. У русов вон почему-то считается, что брать больше одной жены нельзя.

– Богу все равно, что ты считаешь правильным. Но если уже решил, что это – правильное, живи по своей правде. Изменишь самому себе – изменишь и Богу.

– А если сомневаешься, что правильно и что неправильно?

– На самом деле в глубине души ты все равно знаешь, как правильно. Просто пытаешься себя обмануть. И еще помни вот что. Бог не мелочен и не придирчив. За малый грех и наказание пустяковое. Выпил много вина – получи похмелье, только и всего. Главное – не совершай предательства, этого Бог не прощает.

* * *

Самый ценный совет мудрец дал расставаясь.

Весна выдалась очень ранняя. Солнце сияло каждый день, дул свежий ветер. Степь стала твердая, гладкая и блестящая, словно хорезмское блюдо.

– Лучшее время, чтобы ехать на санях, – сказал Калга-сэчэн. – Старые кости не любят тряски. Вели сложить юрту, подковать коней шипастыми подковами. Поеду на реку Итиль, куда вернутся тумены, а вместе с ними и мой Гэрэл. Война скоро кончится.

Манул не спросил, откуда старик это знает. Шаман он и есть шаман. А спросить нужно было про другое.

– Теперь, когда я поставил себе хорошую юрту, пришло время поселить туда женщину. Но у меня никогда не было жены. Женщин было много, но это другое. Взял силой, что тебе нужно, сел в седло, ускакал. Но с ними я не собирался жить, а с этой придется. Если будет угодно Тенгри, она родит мне сына. Научи меня, гуай, как нужно поступить с женщиной, если собираешься с ней жить долго.

Некрасивую русскую девку Манул всё это время держал в служанках и не трогал, приглядывался: Звездуха или не Звездуха? Иногда казалось – она. Когда, отдоив коров, устало сбрасывала прядь белых волос со лба, так что открывалось пятно на лбу. Или – было несколько раз – когда Манул заставал ее неподвижно глядящей на заходящее солнце. Звездуха тоже вот так смотрела на закат, чем-то он ее завораживал. А в остальное время баба как баба. В бабах Манул разбирался хуже, чем в лошадях. Можно сказать, совсем не разбирался.

– Я видел, как за тобой ходила твоя Звездуха, – ответил шаман. – Слушалась без плетки. Значит, сумел приручить. Так же приручают и женщин, разницы нет. Только говори с ней больше, чем говорил с кобылой,

вот и вся хитрость.

Сотник усомнился:

– Моя Звездуха меня не боялась, даже когда была жеребенком. А эта цепнеет, едва я на нее взгляну. Не так, как вначале, но все-таки сильно меня боится. Ведь я ее не бью, не обижаю, ни разу не прикрикнул. Кроме того с кобылой не надо было делить постель, а с женой надо. Я недавно чуть дотронулся до ее плеча – она дернулась. Как быть? Не насилиничать же?

Калга-сэчэн задумался, но ненадолго.

– Насиловать жену, конечно, нельзя. От насилия рождаются злые и несчастные дети. Но из-за постели ты не тревожься, это пустяки. Она – девка. Как же ей не бояться? Все девки этого боятся, пока не поймут, что ничего страшного нет. Есть у меня семена, из которых в Китае варят свадебное зелье. Его дают молоденьkim невестам перед первой брачной ночью. Подмешай в вино, дай выпить. От такого напитка у женщины жизненная сила уходит из головы в утробу. Женщина становится мягкая и потная, пьяная, глупая, все время хихикает и ничего не боится.

Вечером Манул посадил девку перед собой. Поставил угощение – и татарское, и русское.

Она сидела ни жива, ни мертва. Не знала, что будет. К еде не притрагивалась.

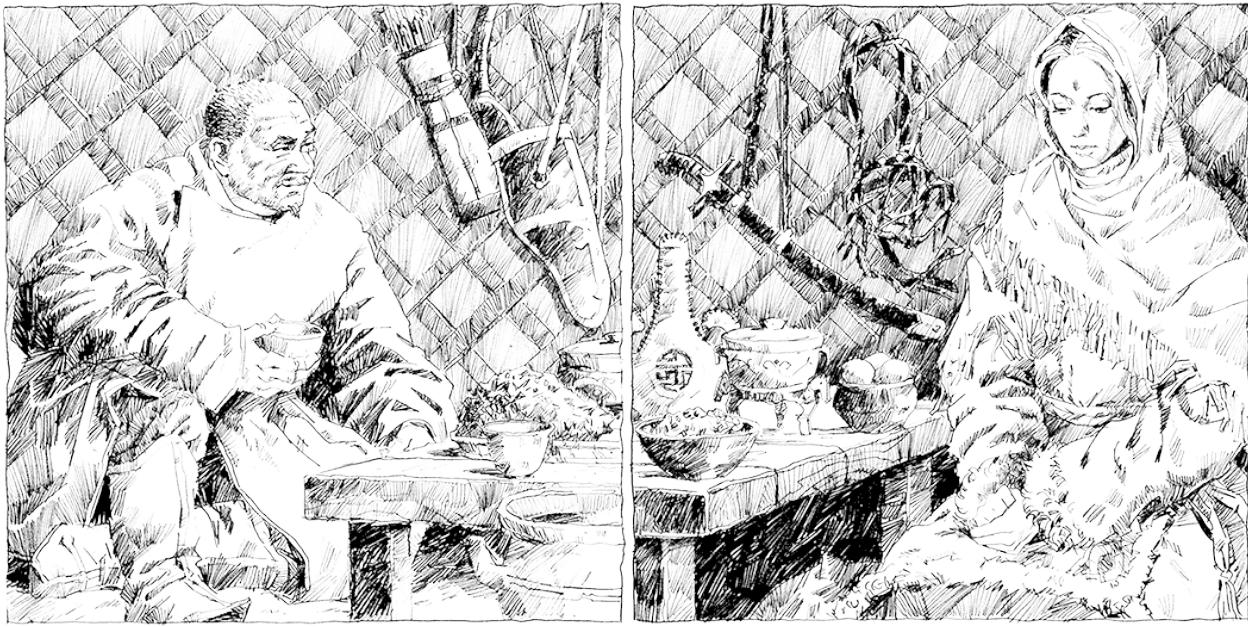
– Давно хочу тебя спросить, – ласково произнес он. – Ты тогда могла убежать, как твой брат, – и не убежала. Не от страха, ты смелая. Помню, как ты бросилась спасать брата, не испугалась стрел. Почему ты с ним не убежала?

– Я дала клятву Христу. Если Он пощадит брата, я стану твоей рабыней. Клятву нарушать нельзя, – тихо ответила она, опустив лицо, но перед тем быстро взглянула на Манула особенным образом.

Он помолчал. Вести дело быстро было нельзя.

Продолжил после паузы:

– Иногда ты странно на меня смотришь. Будто тоже хочешь что-то спросить. Спрашивай.



Девка долго собиралась с духом. Наконец, так и не подняв глаз, побледнела, прошептала:

– Почему ты меня... не тронул? Ведь я твоя рабыня. Ты мог сделать со мной что пожелаешь.

Манул вспомнил, как шаман говорил: женщина, которую ты мог взять и не взял, сначала радуется, а потом задумывается. Почему не взял? Может, она нехороша, нежеланна? Калга-сэчэн человек мудрый, но, кажется, тоже не очень хорошо понимает женщин. Эта спросила не от обиды – Манул почувствовал бы.

– Против воли, насилию можно брать только чужих женщин. Я это делал много раз. Но ты перестала быть чужая и стала своя.

– Своя? – не поняла она и наконец посмотрела на него – кажется, уже не очень пугливо.

Он стал объяснять. Что люди делятся на своих и чужих. Свои – те, кто с тобой и за тебя. Они-то и есть настоящие люди. Чужие – или враги, или никто. Они не имеют никакой важности. Своя собака дороже чужого хана. Со своими, как с чужими, обходиться нельзя. И наоборот: поступать с чужими, как со своими, тоже неправильно.

– Наш бог Христос учит не так, – сказала она.

– По-божьи, может, и не так, – не стал спорить Манул. – А по-человечьи так. Скажи, вот если ты увидишь, как в реке тонут твой брат и кто-то незнакомый, а ты в маленькой лодке, куда можно посадить только одного. Кого ты спасешь?

– Брата, конечно.

– Еще бы. А если бы нет, ты была бы самым худшим человеком на свете. И во всем так. Кто сделает плохое своему – тот предатель, хуже этого нет ничего. А сделать плохое чужому можно. То есть, если просто так или для забавы – плохо, грех. Но если ради своих или для дела – тогда хорошо и правильно. Вот главное, что нужно понять про жизнь: есть два закона, для своих и для чужих. Запомни это. Ты молодая, ты будешь долго жить после меня. Твой Христос, может, и хороший бог, но его учение толковали неумные люди.

Она задумалась. Манул решил, что пора перейти к самому трудному.

– Ты знаешь, что я убил твоих отца и мать, – строго и печально сказал он. Девушка вздрогнула. – Я сделал так, потому что они были мне чужие, никто. Сейчас я бился бы насмерть, чтобы их защитить. Потому что они – твои отец и мать. Потому что теперь мы с тобой стали свои. Мы – одно.

Выражение ее лица изменилось. Он не очень понял, что блеснуло в ее больших глазах, уже не казавшихся ему уродливыми: испуг, удивление или что-то еще.

– Если ты чувствуешь, что из-за родителей... или из-за чего-то другого никогда не сможешь быть для меня своей, – скажи. Отпустить я тебя не могу. Некуда. Теперь здесь всё монгольское, тебя так или иначе кто-то захватит. Но я продам тебя кому-нибудь хорошему человеку, который не будет тебя обижать. Может быть, он станет для тебя своим.

– Я дала клятву принадлежать тебе, – негромко, но твердо молвила она. – Бога обманывать нельзя.

Не хочет покидать родные места, подумал Манул. Но бояться перестала. И ненависти нет. Уже хорошо.

– Ладно. Я научу тебя, как быть монгольской женой.

И будто случайно, наливая себе кумыса, коснулся ее запястья. Она быстро отдернула руку.

Так же шарахается необъезженная лошадь из табуна, когда ее первый раз ведут седлать.

А не надо торопиться. Тут своя наука: всё делать без спешки, в строгой последовательности. Одно переходит в другое.

Сначала нужно погладить по холке, потрепать или расчесать гриву. Потом положить на спину мягкий, приятный потник. Потом – красивый чепрак. Потом – седло. Тихонько, но крепко затянуть подпругу. Надеть уздечку – ласково, не прищемив губ. И только после всего этого садиться и ехать.

С мягкого потника Манул и начал.

– Сначала мы поужинаем, как муж и жена. Угощайся.

Она была голодная, по глазам видно, но есть не начала – испугалась слова «сначала».

– Потом ты пойдешь спать. А завтра я буду учить тебя всему, что должна уметь монгольская женщина: правильно одеваться, готовить правильную еду, ухаживать за лошадьми. Ешь, мы теперь всегда будем ужинать вместе.

Успокоившись, она приступила к трапезе. Брала только русское: невкусный серый хлеб, сырое молоко, моченый корень под названием *рэпа* – ужасная гадость.

Вина с шаманским зельем Манул ей не налил. Рано.

На следующий день тоже было рано. И на третий. Но в четвертый ужин она рассказывала, как днем пыталась подоить кобылицу и та хвостом хлестнула ее по лицу, и она с перепугу шлепнулась в лужу. Рассказала – и весело засмеялась. Манул тоже засмеялся. Они смеялись вместе. Может быть, уже пора, подумал Манул и немножко заволновался. Оказывается, это очень хорошо, когда молодая женщина тебя не боится, рассказывает что-то и смеется. Не хотелось бы всё испортить.

А она еще сказала:

– Сегодня буду учиться пить кумыс.

Взяла чашку, отпила – поперхнулась. Не понравилось.

– Ешь что тебе нравится, – сказал он. – Бери свое, русское.

– Нет. – Она вытерла белые от кумыса губы. – Я буду привыкать. Это теперь и моя еда.

– Тогда и имя у тебя будет монгольское. Я стану звать тебя Звездухой.

Она повторила трудное для нее слово Одоншийр два раза. Взяла кусок хурута, понюхала – заколебалась.

– Ешь мед, – засмеялся Манул. – Его любят и русы, и монголы.

Звездуха тоже улыбнулась, благодарно. Откусила от сот белыми ровными зубами. С уголка рта повисла тонкая золотистая нитка. Манул снял ее пальцем, и девушка не отстранилась.

Пожалуй, пора под седло, решил он и подумал: она уже не такая некрасивая, как раньше. Потолстела. Кожа обветрилась, больше не напоминает рыбье брюхо. И к водянистому цвету ее глаз он тоже привык. А что они круглые – так и у Звездухи были такие же.

– Сегодня я научу тебя пить хмельной архи, – сказал Манул, наливая волшебного напитка.

Она выпила, и потом всё получилось, как обещал Калга-сэчэн. Сначала Вторая Звездуха раскраснелась, на кончике длинного носа выступили

капельки пота. Потом стала хихикать, взгляд затуманился.

У Манула давно не было женщины, в нем накопилось много голода и много сока, но он постарался быть медленным, ласковым и взял ее только один раз, после чего она сразу уснула.

Утром открыла глаза, посмотрела на него непонимающе. Заплакала, отвернулась.

Он молча гладил ее по голому круглому плечу, и она перестала плакать. Взяла его руку, прижала к губам, издала чмокивающий звук. Ночью она делала то же самое с его щеками. Будто кусала губами. Непонятно зачем, но было приятно.

Так женщина по имени Звездуха стала для Манула своей, а он стал своим для нее.



Тихолепие



Муторнее всего был обман и страх обмана. Всё, что представляло пред

взором, оказывалось не тем, чем прикидывалось поначалу. В мире, куда провалился Солоний, никому и ничему нельзя было верить.

Увидел он, скажем, отца и невыразимо обрадовался: жив, жив, а страшное было сном! Батюшка стоял в тереме, у решетчатого цветностекольного оконца, которое раскрашивало родное лицо синими, красными, желтыми квадратиками – на дворе сияло яркое солнце. Отец был повернут в профиль и о чем-то по своему обыкновению любомудрствовал. Слов не разобрать, но голос утешительный, раздумчивый, от одного звука на сердце у Солония сделалось ласково.

– Батюшка! – с плачем воззвал к нему Солоний. – Мне виденье было, дьяволом навороженное! Будто тебя убили!

А отец повернулся, и вместо второго глаза у него оказалась красная яма – как в тот миг, когда только-только выдернули татарскую стрелу.

Солоний закричал, проснулся.

– Чего ты напугался, дитятко? – нагнулась над ним мать. – Это сон дурной. Тьфу – и нету его. Обними-ка меня, успокойся.

Всхлипнув, он прижался к ее мягкой груди, обхватил за шею, а рука попала в мокрое. Что за нелепица? Поглядел – ладонь и пальцы в крови. У матушки затылок и шея разрублены сабельным ударом.

Закричал, заплакал. Вскочил с лавки – и прочь из горницы, по лестнице, да во двор. А там ливень страшенный, из всех небесных хлябей, и земля раскисла. Нога провалилась по щиколотку – не вытянуть. А сзади шаги шлепают. Оглянулся – рязанский дружиинник, что ногами бил, от конюшни идет. Медленно, грозно. Сапогами чавк, чавк. Сам улыбается, глаза щурит, и превращаются они в две узкие прорези, а борода вытягивается в жидкую мочалку, и видит Солоний: не рязанец это, а татарский Сатана, вон и шрам поперек рожи.

Идет Сатана прямо на Солония, приговаривает по-половецки: «Барана резать, барана резать».

Опять закричал, заплакал. Задрал лицо к небу. Господи, спаси!

Холодные струи дождя потекли по горячим щекам. Стало прохладно, приятно.

И наклонился лик – седобородый, блаженно-утешительный.

– Будет метаться-то, будет, – молвил тихий голос. – Жар у тебя. Вот я тебя тряпицей холодной...

Но Солоний глядел насторожено: а во что обратится это наваждение? Во что угодно, только б не в Сатану татарского.

– Очнулся, сынок? – сказал старик. – Я тебе не мерещусь, я на самом деле. Отвару травяного попей.

Лишил отхлебнув из чашки горькое, пахучее, княжич понял, что проснулся.

– Ты кто? – спросил хрипло. – Где я?

Низкий дощатый потолок, бревенчатая стена с малым окошком, на столе ровным светом горят четыре лучины и что-то лежит – белое, многослойное, ворохом.

– Звать меня Агапием. Я инок, живу в лесу. Вчера подобрал тебя на тропинке побитого. Положил на шубейку, с Божьей помощью притащил волоком к себе в келью. Простыл ты сильно. Верно, долго там пролежал, снегом всего присыпало.

Тут Солоний всё вспомнил, хотел приподняться – вскрикнул.

– Лежи. У тебя бок смятый. Как бы ребро не треснуло. И голова багрово-синяя. Кто это тебя так? Татары?

– Есть свои хуже татар, – всхлипнул княжич. – Спасибо тебе, отче. Спас ты меня. А только лучше бы замерз я там, на снегу. Некуда мне идти и незачем.

Так себя, злосчастного, жалко сделалось – не заплакал, а завыл.

– Это я тебя, отрок, благодарить должен. Кому повезло живую душу спасти, тот целый мир спас. Ибо душа человека целый мир есть. То-то мне и радость, то-то и спасение. Ты плачь, плачь. Слезы – дар от Бога, его благословение. Ими горе смыывается. Тебя как зовут, чадо?

– Солоний. А еще Олег, – зачем-то добавил княжич.

– Два имени? – удивился монах. – Как у князя. – И объяснил то, что Солоний знал без него: – Князей двумя именами зовут – в память святого, дабы жили по-христиански, и по-воински, в память о прежних воителях, дабы по их славе мерялись. И каждому выбирать приходится, крестом жить или мечом. Все властители, кои в летописях оставили по себе память, выбрали меч. И кто ныне помнит, что Ярослав Мудрый был крещен Георгием, Владимир Мономах – Василием, а Всеволод Большое Гнездо – Дмитрием? Придется и тебе выбирать, кем жить – Солонием иль Олегом.

Говорливый какой, подумал княжич. У него всё сильней болела и кружилась голова, шевелить языком было трудно. Только и сказал:

– Я Солоний.

А про Свиристель рассказывать не стал, памятуя, как не поверил ему рязанский ирод.

Старик устроил больного удобней, соорудил высокое изголовье. Теперь Солоний мог оглядеть келью получше.

– Что это? – спросил он про белую непонятную кипу на столе.

– Бересты березовые. Я, сыне, летописец.

– Кто же летопись на бересте пишет?

– Ты пока молчи, тебе говорить трудно. Слушай. Так оно и тебе лучше, и мне веселей. А то я тут в лесу всё сам с собой бормочу, одичал совсем. Я, сынек, жил раньше в Рязани-городе, на архиерейском подворье. Писал греческими чернилами на пергаментах. А потом надоело, ушел. Суёта там, все нос суют – правильно ли пишешь. То от епископа, то от князя. А я не хочу правильно писать, я хочу писать правду. Как оно всё на самом деле. Вот и ушел от них в дальний лес. Царапаю по бересте, железным стилусом. Раньше ко мне братия из Рязани наведывалась, отдохнуть душой. Кто склянку чернил принесет, кто стопу пергамента. Тогда я свои записи начисто перебелял. Ныне такие времена, что боле не носят и Бог весть, принесут ли вновь. Рязани-то, града преславного, уж нет. – Агапий перекрестился. – Ничего, буду на бересте. Она не переведется. Берез в лесу много... Ох, великие времена наступили. Страшные. Великие времена всегда страшные.

– Откуда про Рязань знаешь, если в лесу живешь?

– Я тебе сказывал, что раньше ко мне монахи приходили, и не только из Рязани. Я их выспрашивал, что в миру делается, записывал. А когда перестали ходить, стал я сам на перекресток дорог наведываться. Сейчас все с места поднялись. Такое рассказывают... Как мыши все – завидят вдали конных, и врассыпную. Вчера на дороге ни души не было. Тебя вот только подобрал, спасибо Господу.

– А не боишься? Татары наедут – не убежишь. Ты старый.

– Я и не бегаю. На мне, виши, крест, скуфейка, ряса. Татары попов не трогают. Такой у них закон, мне половец один объяснил. Тоже и татары люди, пожалей их Боже.

– Не люди они, – процедил Солоний. – Они слуги дьявола, нам в истребление посланы.

– В испытание, – поправил Агапий и вздохнул. – Вижу, натерпелся ты от них. Поспи, потом расскажешь, если захочешь.

Наутро Солоний проснулся голодным. Поел горячей каши, запил молоком, непонятно откуда в лесу взявшимся. Стал рассказывать – понял уже, что старик ему поверит.

Недолгое время Агапий просто слушал. Потом пересел к столу и с удивительной сноровкой заскрипел толстой железной иглой по бересте.

– Это я пока пометы для памяти, после подробно запишу. Тогда всё случившееся навеки останется, – убежденно сказал он. – Меня не будет, тебя не будет, а память сохранится. О погибшем Свиристельском

княжестве, о твоем отце и брате, обо всех убиенных.

Хорошо рассказывать, когда тебя так слушают. Солоний говорил и плакал, говорил и плакал до тех пор, пока вконец не обессилел.

Тогда монах отложил стилус и завел речь о себе.

— Я хоть не княжий сын, но тоже вырос в высоком тереме. Отец мой был черниговский боярин, и я, согласно рождению, учился быть воином. Отроком всё мечтал о ратной славе, о подвигах. Мы тогда с суздальскими воевали, нескончаемо. Помню, я боялся, что, пока вырасту, наступит замирение, так и не повоюю. — Агапий с улыбкой покачал головой, будто удивляясь себе юному. — Ничего, повоевал. Когда мне сравнялось восемнадцать, случилась большая сеча. Вот оно, думаю, мое счастье: или голову сложу, или на весь Чернигов прославлюсь. Пока рубились, я под княжым стягом был, в седле ерзal. Берег князь свою ближнюю дружины. Только когда суздальцы побежали, нас, будто псов, с поводка спустили. Воевода меня научил: наметь одного какого-нибудь и гонись за ним, не отставай. Зарубишь — выбери второго. Потом третьего. Главное за двумя зайцами не гоняйся. Так я и сделал. Высмотрел суздальца, который к лесу бежал, припустил за ним. Он, бедный, несется со всех ног, да разве от конного уйдешь? Как услышал он прямо за спиной топот, повалился на траву ничком, затылок руками прикрыл. Мне с седла рубить далеко. Спешился. Занес меч — чувствую: не могу. Пожалел меня Господь, не то сгубил бы я две души: чужую и свою. А тут десница словно одеревенела. Опустилась, меч выпал. Этот, суздальец, не дождавшись удара, обернулся. Видит, я безоружный стою. Вскочил, нож выхватил. Я ему смотрю в глаза, не могу пошевелиться. Всё, смерть моя пришла. А только и его Господь пожалел. Опустил суздальец нож, усмехнулся и говорит: «Плохие из нас с тобой, черниговец, вояки». И обнялись мы с ним, и больше никогда не расставались. Вместе приняли постриг, вместе жили в обители, пока его Господь не наградил.

— Чем? — спросил Солоний, завороженный рассказом.

— Тихой смертью. Это самая лучшая из наград. Жизнь-то человеческая, обычная — одно мучение. Все друг другу мучаются и сами мучаются. Одно избавление — в лесу от мира спасаться. Особенно в великие времена. Когда мир обращается дикой чащей, только в дикой чаще и мир. Хорошо здесь. Тихолепие. Сам увидишь.

* * *

Истинно так и оказалось: тихолепие.

Отболев и вылечившись, Солоний остался у доброго инока. Старик тому радовался. Для отшельника он был слишком словоохотлив, нуждался в собеседнике, да и дряхловат уже становился жить в чаще один, без помощника. Наколоть дрова, растопить печь, принести от незамерзающего ключа воду – все эти необходимые обыкновения давались ему с трудом, а Солонию были не в докуку. Чем-то надо заполнять день, не всё же плакать о невозвратном.

Скоро сложилось так, что каждый занимался своим делом. Агапий постариковски поднимался чуть свет и садился за свою летопись. Днем брел через лес на перекресток, разговаривал с редкими путниками, приносил вести. Все они были плохие. Татары расползлись по всей русской земле, будто саранча, и нигде на них нет управы. Надежда на одного великого князя Гюргия Всеволодовича, но он далеко сидит, в городе Владимире.

Иногда – в неделю раз или два – приходили из окрестных деревень крестьяне, звали отпевать мертвцев или крестить младенцев. В уплату оставляли еду: муку, молоко, вяленую рыбу, грибы-ягоды. Хватало и еще оставалось.

А самое лучшее время было, когда сидели вдвоем под треск печки, Агапий зачитывал новое из летописи и говорил о мудропечальном – горьком, но в то же время утешительном. Что нет ничего небывалого под солнцем, всё уже случалось раньше, и ничего, живы люди, их род не пресекается. Многие страны и народы бывали велики, да сгинули, не Русь первая, не Русь последняя. Говорил про Божий промысел, которого умом не постичь и перед которым можно лишь смиренно склониться. Испытания и беды надобны для блага самих людей. Через сто, или двести, или тысячу лет Господь воспитает людей чистой, красивой души, и тогда наступит на земле чистая, красивая жизнь. Дороги станут безопасны, двери незаперты, всякий встречный будет тебе рад и никто никого даже не подумает терзать и насилиничать. А случится всё это оттого, что соберутся правдивые летописи о прошлых ошибках, грехах и заблуждениях. О них всех надобно знать и помнить, только этим человечество и умудрится, только этим и спасется. «Важней летописной работы ничего на свете нет, – часто повторял отшельник. – Внуки, правнуки будут читать, на ус мотать. И про нас, бедных, помнить. Что мы тоже обитали на свете, управлялись как умели и не дали искре жизненной угаснуть».



Слушать Агапия было так же хорошо, как раньше батюшку. Век бы сидеть, внимать мягкому голосу, глядеть на мерцание лучины и мечтать о том, что будет через тысячу лет. Думалось, что старик прав: в такие времена, когда противиться Злу нет никакой мочи, нужно смотреть вокруг, слушать в оба и всё записывать. Высунул нос из леса, понюхал, чем пахнет, – и назад, в нору, где покойно, безопасно и, главное, есть великое дело: трудиться ради будущих колен.

Срезать с берез белую и гладкую кору, пригодную для письма, тоже входило в обязанности Солония. Он полюбил это легкое, веселое дело.

Однажды, дожидаясь, когда вернется с дороги Агапий, попробовал сам выводить стилусом буквы. Оказалось весьма отрадно: острым по податливому.

А монах в тот день вернулся мрачнее тучи.

Сказал:

– Беда, Солоша. Толковал с двумя владимирцами. Была у них там на севере, на реке именем Сить, битва страшная, где сгинула последняя русская сила. Все войско наше пропало, до последнего человека. И сам князь великий Гюргий Всеволодович. Отрезали язычники ему голову, доставили ихнему царю. А имя того царя Батый. Сяду я, запишу всё, пока не забыл...

Услышав, что убит великий князь владимирский, последняя русская надежда, Солоний горько зарыдал – он полюбил плакать, раз по десять на дню обливался слезами, а тут как не заскорбеть? Агапий же унывать не умел.

– Всё как есть опишу, они много чего порассказали, – уютно приговаривал он, устраиваясь на скамье.

Вдруг увидел бересту, исцарапанную письменами Солония. Просветлел:

– Ах, красиво буквы выводишь! А я и не знал! – И тоже прослезился, но от радости. – Спасибо Тебе, Господи! Вдвоем у нас дело быстрее пойдет. А помру я – ты продолжишь. Я тебе объясню, как у меня что разложено. – Он показал на берестяные кипы. – После, Бог даст, перепишешь на пергament. Вот счастье-то, вот счастье! Не уходи никуда, Солоний. Оставайся навсегда. Имя человека – его судьба, я тебе говорил. Ты – Солоний, твоя стезя – мудрость.

Обнялись, поплакали вместе.

* * *

Но когда началась весна, а она в этом году была ранней, в душе стало твориться странное, прошла по ней какая-то трещинка. Первый раз Солоний почувствовал эту трещинку, когда увидел, как по льду лесной речки пролегла сетка разломов и в них чернеет, блестит вода, хочет высвободиться. Точно так же распирало изнутри душу. Еще она была похожа на яйцо, изнутри которого долбит клювом настырный птенец. Тюкает, тюкает, и вот уже пробил дырочку.

Княжич даже знал, как зовут настырного птенца: Олег.

Когда слишком долго засиживался над берестой и тело начинало требовать движения, он выходил поколоть дрова. Агапий тогда, на тропе, подобрал валявшийся меч, на который не польстился подлый рязанец. Взял с собой, чтоб добро не пропадало.

Мечом было удобно отсекать от полена щепу.

Солоний ставил на пень, торцом, куски дерева и рубил их то сверху, то сбоку, то наискось. С левого разворота, с правого полуоборота, в прыжке, пав на колено — по всей венгерской премудрости, которой обучал его в прежней жизни воевода Матьяш. Мог упражняться так и два, и три часа — не надоедало. Сначала приходилось держать меч двумя руками, потом хватало и одной. Не таким уж тяжелым оказался меч. Если он затуплялся, Солоний брал бруск и любовно точил лезвие, проверял остроту пальцем — подушечка вся покрылась тонкими, мелкими порезами.

Свежеотточеным оружием было приятно перерубить полено надвое, чтоб верхушка отлетела в сторону, будто отсеченная голова. Княжич воображал, что это летит с плеч башка татарского Сатаны, и в этот миг был не робким Солонием, а бесстрашным Олегом.

Однажды, глубоко и привольно дыша после долгой рубки, он вдруг сообразил, что очень давно не плакал. Раньше-то, зимой, всё ревел и ревел, из глаз беспрестанно сочились слезы. А тут попробовал себя разжалобить — стал вспоминать отца, мать, сестру, но ресницы остались сухими, и сердце вместо того, чтоб сиротливо сжаться, заколотилось яростно, зло.

Апрельское солнце стояло над верхушками сосен. Ему, высоко вознесенному, было видно и Солония, и окрестный лес, и полоненную сестру, и всю Русь.

Филомена, если еще жива, ждала спасения. Помнила, как брат о том клятву давал. Надеялась, ибо больше ей надеяться не на что. Ждала и Русь. Агапий говорит, она умерла, а вдруг нет? Вчера вернулся с перекрестка, сказывал, что на севере Черниговского княжества какой-то город Козельск будто бы второй месяц не поддается татарам, держится, и взять его поганые не могут. Если это правда, значит, жива еще Русь. Истекает кровью, но жива. А он тут, в тихолепии, по бересте царапает...

Жмуряясь, Солоний долго смотрел на солнце, и начало казаться, что это не светило небесное, а некий лучезарный лик, и проступали на нем переливчатые черты, до того знакомые, родные, что зашипало глаза, но слез так и не пролилось — видно, были они вылиты до самого донышка. На Солония с неба смотрела то ли сестра, то ли Русь, то ли попеременно обе. И звали: «Приди! Спаси!»

Раздумывать он не стал. Быстро, пока не вернулся старик, собрал в мешок самое нужное. Оставил на столе записку, короткую: «Спаси Бог». И подписал: «Олег».

Агапий поймет.



Рождение цветка



Выехав на пологий холм, откуда было видно большое черное пятно – пепелище, оставшееся от прежнего города, и кибитки куреня, Манул не утерпел: крикнул нукерам, чтобы управлялись без него, и пустил лошадь галопом.

Все десять дней, пока длилась треклятая поездка, Манула распирало нетерпение. Из-за этого он управился много быстрее, чем предписывалось приказом.

Приказ был произвести полюдный набор в соседнем нутуге, сотник которого, Элбэнх, тяжко хворал и не мог исполнить положенное сам. Элбэнх доживал последние дни, это было ясно, но милосердная Яса запрещает назначать нового управителя, пока прежний не удалился в

Небесные Угодья, поэтому хочешь, не хочешь, а пришлось Манулу делать за Элбэнха его работу.

Правда, Манул сумел извлечь из некстати свалившегося поручения какую-никакую пользу: забрал не десятую часть людей, а больше, и самых крепких русов собирался взять себе – выдать за своих. Тогда можно будет дать от собственного нутуга меньше парней и девок. В деревнях будут рады.

За год, прошедший с тех пор, как Манул поставил над обрывистым берегом свой однохвостый туг, жители худо-бедно приоровились к новому закону. Всякий народ можно приучить к порядку, если он разумен и дает людям жить.

Еще весной Манул пересчитал всех своих русов. Поделил на «десятки» – по десять домов. Назначил десятских. Десятские сами выбрали себе сотских. Этих Манул собрал, сказал им: я в ваши дела и обычай мешаться не буду, живите как хотите, но за сбор подати и полюдья вы отвечаете передо мной, как и я отвечаю перед моим нойоном. Если всё у вас честно и гладко, можете считать, что меня нет. Кто чужой станет вас обижать – разбойники или посторонние монголы, – сразу сообщайте. В обиду не дам. Но если у кого заведется непорядок, спрошу по всей строгости.

Всего один раз пришлось проявить суровость. Сотский из самой дальней, лесной части нутуга попробовал словчить – прислал слабых, недокормленных рекрутов. Должно быть, из самой бедноты, за кого заступиться некому. Манул приехал, отлутил хитреца плеткой, прогнал с должности и забрал всех его сыновей; столько же хилых рекрутов распустил по домам. Их матери были благодарны. Прочная власть стоит на двух ногах: строгости и справедливости. Если одна нога короче другой, власть хромает, может не удержаться.

И с новой сотней Манул управился в назначенный срок. Новобранцы-русы, конечно, еще не стали настоящими нукерами, но захотели ими стать, а это главное. Выучились командам, твердо усвоили, как воевать десятком. В седлах пока держались неуклюже, но очень старались превзойти друг друга в ловкости и храбрости, а такое порождает боевой задор. После первого же похода они превратятся в неплохих нукеров. И снаряжение у каждого справное, положенное по уставу: две лошади, два лука, хорошая сабля.

В срединный день осени Манул отправил донесение в Итильскую степь, где Гэрэл-нойон поставил свой туг, уже треххвостый, – за отличие в минувшей войне Бату-хан произвел царевича в темники. Победоносное

войско вернулось из похода еще весной, пройдя через русские земли и приведя их к покорности. Осенью ждали нового похода, на юго-запад, но гонец вернулся с ответом, что войны пока не будет. Может, зимой. Завоевание страны русов обошлось недешево, и хан приказал пополнить недостачу в людях и лошадях, иначе их может не хватить. Согласно последним донесениям лазутчиков, Западный Океан находится дальше, чем предполагалось раньше. Придется завоевать не меньше десяти царств, для чего понадобится десять туменов полного состава.

В последние месяцы судьба, всегда немилостивая к Манулу, вдруг сделалась непривычно щедра, однако о таком подарке он и не мечтал. На радостях пожертвовал богу Тенгри самого жирного вола, целиком.

Очень уж не хотелось идти на войну, не посмотрев, кого родит Звездуха. Брюхо у жены стало большое и тяжелое, но бабы говорили, раньше первого снега не опростается, и Манул даже не надеялся, что успеет подержать на руках сына.

И вот – несказанная удача!

Год выдался теплый, богатый солнцем. После ранней весны было жаркое лето и мягкая осень, а зимой снег всё не выпадал и не выпадал. По утрам, пощупав живот Звездухи, Манул выходил из юрты, смотрел на низкое небо и гадал: что случится прежде – роды или первый снегопад? Молился, чтобы ребенок поспел раньше. Сам себе придумал и сам поверил: если дитя родится до того, как выпадет снег, всё будет хорошо.

И тут пришло распоряжение – отправляйся в соседний нутуг работать за тамошнего сотника. Десять дней назад это было.

* * *

Лошадь была новая и очень глупая, всё норовила сойти с галопа. Пришлось пару раз ожечь нагайкой по толстым бокам.

Всего один раз Манул на скаку оглянулся на длинную вереницу собранного полона. Беспокоиться было не из-за чего. Все закованы в колодки и привязаны к одной прочной веревке, никуда не денутся. И оба нукера опытные, свое дело знают.

Скорей вперед, к жене!

Родила или нет? И кого – вдруг не сына, а девочку? Пускай, только бы с самой всё было в порядке.

На подъезде к куреню пришлось перейти на шаг. Солидному человеку не пристало приближаться к дому впопыхах.

Встречные – монголы, кипчаки, русы – низко кланялись, как того требовал закон почитания. Манул, согласно тому же закону, на приветствия не отвечал, сидел в седле подбоченясь, а сам с замиранием сердца пытался понять по лицам, не случилось ли беды. Ведь никто напрямую не скажет, не захочет быть дурным вестником, а спросить, ладно ли с женой, не позволял авторитет власти.

Чуть не задохнулся от облечения, когда увидел семенящую навстречу Звездуху. Жива, здорова! Еще не родила, но и это хорошо. Можно быть с ней рядом, когда начнутся схватки, и проследить, чтобы повитуха старалась.

Живот выпирал из широкого шелкового номрога, который Манул купил у проезжих булгарских купцов. Белые волосы Звездухи были спрятаны под высоким бохтагом, украшенным серебряной спицей и пером белой цапли. Супруга заслуженного сотника, начальника целого уезда, должна выглядеть представительно, но Манулу нравилось дарить Звездухе красивые наряды – она так им радовалась, так старалась быть хорошей монгольской женой.



Лицо Звездухи очень похорошело от беременности, стало почти монгольским. Оно лоснилось и сияло – видно, жена тоже ждала возвращения Манула, боялась, что он не успеет. Но этикет Звездуха усвоила хорошо. Не кинулась к стремени, не заговорила первой. Чинно

наклонила голову (туловище не могла), застыла.

Чувствуя, что со всех сторон смотрят, Манул важно проехал мимо, к коновязи. Спешился, ослабил подпругу, потому что для мужчины лошадь важнее жены. И только потом обернулся.

– А, – сказал, будто только что заметил Звездуху. – Не родила еще?

– Виновата, не поспела, – ответила жена на своем смешном монгольском, от которого у Манула губы расплзались сами собой.

Первый вопрос Звездуха тоже задала правильный, совсем монгольский:

– Где твой Эйконь?

– Поменял у Элбэнха.

Она подошла к новой кобыле, осмотрела ее. Манул потратил немало времени на то, чтобы научить жену разбираться в лошадях.

– Эта хуже, чем Эйконь. Голень короткая. И пясти тонкие.

Умница, подумал Манул, но вслух, конечно, ничего такого не сказал, а изобразил, будто расстроен:

– Твоя правда. Надул меня Элбэнх. В следующий раз затею меняться, поедешь со мной. А пока в табуне возьму другого коня. Какого посоветуешь?

– Конечно, Баатура.

– Хороший совет, – кивнул Манул. – Так и сделаю.

Ее лицо порозовело от удовольствия. Но в следующий миг словно потемнело и сжалось. Звездуха смотрела куда-то через плечо мужа.

Сотник быстро обернулся.

Ничего плохого сзади не было. Просто подошел полон. Нукерам не терпелось домой, и они заставили русов бежать, пустили в ход плетки.

Скованным бегать трудно, поэтому некоторые падали, но сразу поднимались. Кому охота получить удар?

– Господи Иисусе, Тенгри милосердный! – воскликнула Звездуха, путая русские, кипчакские и монгольские слова. – Они и так еле идут! За что их? А бледные какие...

– С чего им быть румяными, если их не кормили, – пожал плечами Манул. – И с чего мне их кормить, если завтра я отdam их ханскому сборщику? Скажи лучше, толкается ли дитя?

Но Звездуха не услышала. Она всё смотрела на полонянников, ее глаза были полны слез.

– Зачем ты мучаешь людей? Ты же добрый, я знаю! – сказала она. – И крестьяне говорят: наш татарин не то что другие.

Терпеливо, не в десятый, а наверное в сотый раз, Манул объяснил:

– Одно дело наши крестьяне, другое – не наши. Элбэнх болен, не выходит из юрты, поэтому я забрал вместо положенных ста двадцати человек сто сорок. Это значит, что двадцать своих можно будет отпустить. Я еще и дань у них там вперед собрал, больше нужного. С наших возьму меньше. Потому что они – наши, а те не наши. Как ты не поймешь? Ведь ты умная.

Мимо как раз вели отару овец, и один ягненок, поскользнувшись на голой, мерзлой земле, упал. Сам встать не мог, слабые ножки расползались. Манул бережно поднял малыша, поставил, толкнул в мягкий задок.

– Этот ягненок – наш, и он мне дороже всего соседнего нутуга. А эти люди – чужие. Их завтра угонят, и ты их никогда больше не увидишь.

– Они не чужие! Они люди! – сдавленно крикнула Звездуха, да схватилась за живот. Разинула рот, закатила глаза, стала быстро и мелко дышать.

Повивальная бабка, которую Манул еще три недели назад заманил подарками из ханской ставки, была неподалеку – выглядывала из юрты.

– Началось, гуай! – деловито проговорила она, подхватывая Звездуху и уводя ее прочь. – Молись богам.

Манул со страху укусил себя за кулак, обругал самыми плохими словами. Зачем спорил с беременной, зачем расстраивал?

О, великий Тенгри! Ты не милосерден, Звездуха ошибается, но ты справедлив. Помоги этой хорошей женщине, она ни в чем перед тобой не виновата! Уж я отблагодарю, не поскуплюсь. А ты, злобный Эрлэг, попробуй только сунься к моей жене и к моему ребенку!

Забыв о приличии, об авторитете власти, о глазеющих людях, сотник рухнул наземь и закрутился на коленках – клал быстрые поклоны на север, на восток, на юг, на запад, чтобы не забыть никого из ревнивых и недобрых монгольских богов.

* * *

К вечеру кулак был весь изгрызен – это Манул всё кусал и кусал костяшки, чтобы не застонать от муки, в ответ на полные страдания крики, что доносились из юрты.

Роды шли тяжело. В очередной раз выйдя за водой, повитуха сказала, что плод никак не хочет выходить, но в первый раз у молодых это часто бывает, бояться нечего. И все равно Манул боялся, очень боялся. Больше всего терзался из-за того, что ничем не может помочь.

Мужу и вообще мужчинам в юрту заходить было нельзя, но Манул не выдержал, приоткрыл полог.

Рожала Звездуха по-степному, стоя на четвереньках.

– Ох, ох, ох, ох, – жалобно повторяла она, двигая белыми бедрами. Поним стекала темная кровь.

Сотник отшатнулся. Он повидал на своем веку много крови, чужой и собственной, но сейчас его замутило.

«Звездуха, – взмолился он той, первой Звездухе, что сейчас паслась на Небесных Лугах, – если что, встреть ее, побереги. И не ревнуй, в моем сердце хватит места для двоих...»

– Аа-а-а! Больно! – донеслось из юрты, и Манул сорвался с места. Он придумал, чем может помочь.

На бегу вырвал из ножен свою чудо-саблю, вбежал в загон, где держали дойных коров. Схватил за рог самую молочную и одним ударом отсек ей голову.

Обезглавленная корова стояла и качалась, из шеи толстой струей била кровь.

– Это тебе, Тенгри, тебе! – кричал сотник, подняв лицо к темному небу. Туша повалилась, и он схватил следующую телку.

– А это, Эрлэг, тебе! Пей кровь, не жалко, только отпусти Звездуху.

– Гуай, тебя зовут! – дернули Манула за рукав.

Русская девка, рабыня повивальной бабки, с ужасом смотрела на его забрызганное кровью платье.

Побоявшись спросить, зачем зовут, весь обмякнув, Манул безвольно пошел.

В юрте было тихо.

Звездуха сидела на войлоке, голая по пояс. Ее голова, наполовину обритая, как положено замужней женщине, была наклонена. К белой груди она прижимала маленькое красное тельце. Ребенок показался Манулу похожим на алый мак, какие растут в мае над быстрым Орхоном.

Жена встрепенулась – увидела, что он здесь.

– Прости меня, – сказала. – Это дочка. Ты хотел сына.

– Дочка еще лучше. – Он опустился на колени и убедился: да, будто только что распустившийся маковый бутон.

– Ее имя будет Цветок.

– Цэцэг? – повторила Звездуха. Она пока знала не так много монгольских слов.

– Цветок, – перевел он на тюркский. – Это наш с тобой цветок. Я посадил семя, ты дала ему жизнь. А растить будем вместе.

На лбу у малютки было коричневое пятнышко – как у матери. От досады Манул хлопнул себя по щеке. Как можно было забыть?

– Я привез тебе подарок.

Он сунул руку за пазуху и достал жемчужную сетку, которой Звездуха прикрывала лоб, когда он увидел ее в первый раз.

– Откуда?! – ахнула она. – Господи...

Слезы так и хлынули.

Жемчужную сетку Манул выменял у больного сотника – обратно на коня, полученного год назад. Элбэнху скоро помирать, а положить с собой в могилу хорошего коня всякому приятно. Бедняга так обрадовался, что дал впридачу кобылу – паршивую, но и на том спасибо.

– Возьми ребенка, не бойся, – велела Звездуха.

Очень осторожно, вытянутыми руками, Манул поднял дочку. Та сердито хмурилась, но не плакала.

Манул вспотел от напряжения, боясь, что сожмет чересчур сильно, но еще больше – что ослабит хватку и ребенок выпадет.

– Наверно скоро придет приказ выступать в поход. Вот выпадет снег, замерзнут реки с болотами, и мы пойдем к Западному океану, – сказал он по-монгольски, чтоб девочка услышала голос отца. – Не знаю, сколько у нас с тобой дней. Но каждый день, пока не приедет гонец, я буду любоваться тобой, как цветком. Я подарю Тенгри еще три коровы, чтобы снег выпал нескоро.

Кажется, он все-таки сжал пальцы сильнее нужного – дочка разинула ротик и запищала.



Первый снег



Первого снега ждали очень долго, и все же он застал врасплох, навалился, как ночной тать, зарезал без ножа.

С вечера сторожили у дороги, не проедет ли хороший обоз. Обозов-то шло много, татарам отовсюду везли дань, но хороших не было уже три ночи. Хороший обоз – тот, что без охраны. Если же повозки сопровождал хотя бы один всадник в малахе, на уродливой мохнатой лошаденке, трогать нельзя. Все знают: за своего убитого татары отомстят, из-под земли достанут.

И вот на четвертую ночь, наконец, повезло – так показалось вначале. Ехали три доверху груженых воза, рядом ни одного конного.

Ватага вышла на дорогу с двух сторон. Олег спросил: откуда едете, куда и что везете?

Перепуганные возницы ответили: из села Кучкова, в Сузdalь, доставляем татарскую десятину.

Тут Кузьма Коломна вмазал старшому в ухо – слетела шапка.

– С князем говоришь. Кланяйся, паскуда.

Выкинули наземь ненужное: мешки с зерном, кусковое железо, холсты. Сложили в самый крепкий воз годное: муку, связанных за лапки живых кур, сущеную рыбу. Обыскав мужиков, нашли у старшего за пазухой три гривны. Это была большая удача. Знать, богатое село Кучково, коли может серебром платить.

Старший заплакал:

– Татары спросят – что скажем? Порубят всех.

– А вы сами их порубите, – бросил Олег. И махнул ватаге: – Уходим!

Свернули в лесок радостные, возбужденные. И тут, будто нарочно подгадав, с черного неба посыпался снег – частыми густыми клоками. Четверти часа не прошло, и земля накрылась белым войлоком.

За леском начиналось поле. Оно почти сливалось с небом: внизу бело, наверху бело. И вдруг – это было подлеи всего – небо опять почернело, и белой осталась только земля. Бурный, но краткий снегопад закончился.

Олег оглянулся назад – обмер. По белому пространству, будто стилусом по березовой бересте, тянулась полоса – след от колес, копыт, шагов.

– Беда, ребята! – крикнул Олег. – Живей, живей! Может, снова повалит. Иначе – худо.

Шли быстро, не останавливались. А вскоре после мглистого рассвета Минька Свист, самый глазастый, обернулся и плачущим голосом крикнул:

– Матерь-заступница…

Далеко позади двигались две конные фигуры. Всадники свесились с седел почти до земли – взглядывались в колею. Потому и не заметили пока, что не отрывались от следа.

Кузьма Коломна посмотрел на Олега выпученными от ужаса глазами:

– Что делать, князь? Пропали!

Весной, в апреле, накопив в лесной обители силу и злость, выплакав все слезы, Олег (уже никакой не Солоний) пошел на запад – туда, где татарская коса нашла на камень и где стойко бился с погаными какой-то Козельск, о котором княжич никогда не слышал. Верно, городок не больше Свиристеля.

Шел вдоль дороги, по которой раньше купцы ездили в Смоленск, а теперь не ездил никто кроме стремительных татарских гонцов. Двигался с умом, не как в декабре, когда глупый был. Знал теперь, что свои бывают хуже татар, и глядел зорко. На дороге-то русских людей не было, а пообочь, в зарослях, – немало. Многие сейчас стронулись с места, но тоже таились. Если Олег видел встречного, чтобы один и без оружия, тогда подходил и расспрашивал, откуда идет и что там. Про Козельск подтвердили несколько человек. Город, которым владел какой-то отрок князь Василий, бился один против всей Орды. Оттого что тамошний князь отрок, Олегу сделалось завидно. Представил, как он оборонял бы родной город от поганых и о нем, свиристельском князе, пошла бы молва по всей Руси. Ничего, еще не поздно. Поспеть бы только.

Но однажды перед закатом Олег-Солоний оплошал. Увидел из-за куста парня, сидящего на пеньке. Парень видом был негрозный. Подошел к нему,

спросил: кто, откуда, слышал ли про козельское сидение.

Щуплый, остроглазый недомерок молча оглядел Олега да вдруг как свистнет в два пальца – оглушительно, аж уши заложило. И выбежали откуда-то еще двое. Один здоровенный, с черной бородищей, другой – длинный и худой, кривоносый. Что это, говорят, у тебя в мешке, а ну покажь. И шубейку сымай.

Сила и злость за время дороги из Олега не вышли, а только накопились. Снял он с себя мешок, в котором ничего кроме остатка вяленой рыбы не было; сбросил заячий полушибок, подарок старца Агапия.

Встал в боевую позицию, как учил Матьяш: левая нога чуть вперед, едва касается земли, вся опора – на правую.

– Подходите, сами возьмите, – сказал Олег с улыбкой и вытянул из лубяных ножен меч.

Страшно не было никакого, даже весело. Совсем ничего в Олеге от Солония не осталось. Видно, тот весь со слезами вытек.

Разбойники не испугались, тоже оскалились. Выдернули оружие – у одного половецкая сабля, у другого секира, но по повадке ясно: не воины, а мужичье.

Сначала Олег применил «змею» – двойным ударом, с вывертом, выбил у худого из руки саблю, заодно вывихнув дураку запястье. С чернобородым торопиться не стал, напотешился. От неуклюжих взмахов легко уворачивался, сам не нападал – то слегка кольнет, то плашмя по лбу стукнет. Первый-то, который свистел, в драку не совался – только рот разевал.

Наконец чернобородый детина бросил оружие, повалился на колени: «Не убивай! Не с жиру разбойничаем. Жрать нечего. Куда податься, не знаем. Всюду татарове».

– Я знаю, куда вам податься. Я князь, – сказал им Олег. – Пойдете со мной?

Обрадовались. Большинство людей – они такие: лепятся к тому, кто знает, куда идти и что делать. Еще батюшка про это говоривал, но Олег-Солоний зелен был, мимо ушей пропускал. Теперь вот пригодилось. Какие бы сомнения тебя ни одолевали, ватаге этого не показывай. Ты тверд и уверен – они за тебя горой. Чуть дрогнул – засомневаются. А то и накинутся, растерзают.

В тот предзакатный час ватага и сложилась. Поначалу было в ней три человека: чернобородый кузнец из Коломны – Кузьма, крестьянский сын Минька с Ростовщины, да кривоносый бондарь Кривонос – по имени его никто не звал, а был он, как все бондари, отовсюду и ниоткуда, шлялся с

места на место, где работа есть.

Потом еще несколько человек пристали, но больше десятка людей Олег не держал – оравой прокормиться непросто, а тайно передвигаться и того трудней.

В Козельск они не успели. Взяли татары упрямый город и всех в нем до последнего человека вырезали. Отрока князя Василия, говорят, утопили в бочке с кровью. Сунули головой вниз: на, мол, волчонок, напейся досыта.

И на том война закончилась. Орда ушла восвояси, но не вся. В малые деревни зайти еще было можно, а по селам и городам всюду остались татарские надсмотрщики. Вроде и немного, а держали Русь в цепенящем ужасе.

Никто поганых не трогал, даже если татарин один и повернулся спиной. Потому что татарин – он стрелой птицу на лету бьет, саблей наискось тулову перерубает, а если кто против их закона пошел – убивают весь род, до младенцев.

Не нападала на татар и Олегова ватага. Сколько он ни уговаривал, не хотели и слушать. Боялись. Безохранные обозы грабили – но и только.

Полгода с лишком так просуществовали. Кто-то новый приставал, кто-то, наоборот, уходил. К зиме, когда кормиться стало тяжко, Олег оставил при себе только троих первых, да еще прибавился Пикша-плотник, полезный человек. Остальным сказал: идите с Богом, выживайте сами.

Промышляли впятером неплохо. Люди были довольны: сыты, ни в чем не ведают нужды. Олег радовался, что хоть малой мерой, да вредит поганым.

Но выпал первый снег – и погубил.

* * *

– Воз бросить, – приказал Олег.

Хлестнули лошадей, чтобы припустили и уволокли тяжело груженную телегу дальше в поле. Сами, пригнувшись, побежали в сторону. Авось татары пеших не заметят, погонятся за повозкой.

Сначала так и вышло. Всадники увидели впереди темное движущееся пятно, помчали вскачь.

Но света становилось всё больше, а до лесной опушки бежать было далеко.

– Сюда повернул! – задыхаясь, крикнул Минька. – Не уйти вместе. Давай врассыпную. А там – как Бог.

Татары разделились. Один по-прежнему гнался за возом, другой повернулся за пешими. Расстояние быстро сокращалось.

– Стойте! – Олег схватил Кузьму за плечо. – Нас пятеро. Справимся. Но ватага его больше не слушала.

Коломна вырвался:

– Ополоумел, князь? Со всей округи набегут. Кожу живьем сдерут! А, ну тебя!

И побежал влево. Кривонос и Пикша помялись было, но тоже кинулись наутек, всяк своим путем. Минька Свист – тот уже успел далеко уйти, он был сметливей остальных и легок на ногу.

«По снегу не набегаешься», – сказал себе Олег, подавив желание бежать куда глаза глядят, только бы подальше от маленького, неотвратимо надвигающегося всадника.



Тот на скаку выдернул из-за седла лук, из-за спины стрелу. Не замедлив рыси, выстрелил в того, кто отбежал дальше всех. Минька всплеснул руками, кувыркнулся в снег и не встал.

«Не торопиться, другой раз зарядить не успею», – опять вслух обратился сам к себе Олег. Он натягивал крюком тетиву самострела. Добыл себе привычное оружие еще летом, но пока стрелял из него только по тетеревам и уткам.

Вложил короткую толстую стрелу – пыр. Опустился на колено – как в прежние времена, когда учился бить в центр мишени.

Татарин пустил вторую стрелу в длинноногого Кривоноса и, судя по крику, опять попал, но Олег не повернул головы. Он вел крестовиной, ловил ею точку немного впереди конника, как целил бы в летящую птицу.

Зазвенела тетива. Всадник вылетел из седла, остался лежать черной кучкой на белом. Олег в первый миг даже не поверил: и это всё? Был грозный смертесразящий центавр – и нету?

Второй татарин увидел и бросил повозку. Помчался к упавшему товарищу.

Теперь Олег уже себя не уговаривал, а был спокоен. Близко подпускать поганого не стал, очень уж они быстры со своими короткими луками. Зато самострел бьет дальше, а меткости в нем не меньше.

Потратил два пыра. Сначала свалил коня. Потом, когда татарин, шатаясь, встал, уложил и его.

Поднялся с колена. Протер глаза – не наваждение ли? То, о чем мечталось целый год, что казалось несбыточным, произошло. И как просто! Никакие они не бесы и не злые духи. Убиваешь – умирают.

С груди будто сняли тугую удавку, не дававшую свободно дышать много месяцев. В носу защекотало, и Олег подумал, что расплачется, но не заплакал. Видно, слезы действительно все закончились.

Сзади заскрипел снег. Это возвращались Кузьма Коломна с Пикшей.

Олег пошел им навстречу. Кузьме с размаху двинул прикладом самострела в морду – чтоб знал, смерд, как с князем разговаривать. Кузнец только крякнул, сплюнув красное.

– Кривоноса и Миньку зароешь, – велел ему Олег. – Ты, Пикша, беги, воз догони. Я поймаю лошадь и соберу оружие. Всё, ребята. По-вороны жить, падалью питаться боле не станем. Будем татар убивать.



Монголки не плачут



Мануйла (так Филомена называла про себя мужа) часто говорил, что всякий бог любит щедрые дары – не от корысти, ибо какая у бога корысть, коли он бог, а потому что уважает щедрость. Когда родилась Цветочка, муж подарил богу Тенгри вещь, которой дорожил больше всего: старую шубу, последнюю память о родине. Богам ведь дорого не то, что дорого стоит, а то, что дорого тебе – это тоже известно. Когда шуба горела на костре, Мануйла молился. Потом рассказал – о чем. Чтобы новая война не начиналась еще хотя бы месяц.

А Фила помолилась деве Марии, чтобы войны вообще больше никогда не было.

Вышло посередине: гонец из ставки князь-Гэрэла велел мужу поднимать сотню не через месяц, а через год. Совсем без войны, видно, уж никак нельзя, но целый Божий год – зиму, весну, лето и осень – Мануйла провел дома и каждый день когда час, когда и два проводил с Цветочкой. Мужчине с младенцем, да еще девочкой, возиться не положено, поэтому брать малютку на руки он мог только дома, в юрте. Смотреть, как он щекочет ее своим мозолистым от тетивы пальцем или обтирает мокрой овчинной рукавицей, укутывает в бельчье одеяльце, было сладостно. Филомена про себя думала, что дева Мария сильнее бога Тенгри и так теперь будет всегда. Но год прошел, выпал новый снег, дороги встали, и прискакал всадник с красной табличкой на груди.

У Филомены сжалось сердце – сразу догадалась. Прикусила губу, чтобы не брызнули слезы. Монголки не плачут, это стыдно.

У них с Мануйлой всё давно было обговорено – он ждал приказа со

дня на день, поэтому она только спросила:

– Когда?

– Сейчас, – хмуро ответил муж, глядя в сторону и покашливая. Уж тем более не полагалось плакать мужчинам. Главное – Цветочка только сегодня сделала по мягкому ширдэгу, войлочному ковру, несколько первых шагов, держась за руку отца. Как они все трое радовались...

– Пойду прикажу бить сбор. Как без меня управляться, ты знаешь. Вот... – Он взял походные мешки, которые только перекинуть через седло. Там всё что положено: вторая шуба, сухой творог, кожаный бурдюк, игла с жильными нитями и прочее. И у всех нукеров так. Если надо, сотня будет в седлах через четверть часа.

– Можно я провожу тебя? – спросила Филомена, и голос дрогнул.

– Монголки мужей не провожают, ты знаешь. Просто выйдешь, помашешь рукой.

– Я русская, мне можно.

Она никогда с ним не спорила, поэтому он очень удивился. Проворчал:

– Так не делают... – Вытер рукавом нос, решительно махнул рукой. – А, пускай говорят что хотят. Только возьми с собой Цэцэг. Уж нарушать, так нарушать.

Все-таки не только она с ним омонголилась. Он с ней тоже стал немножко русским.

– Спешки большой нет. Поэтому выходите через час – когда солнце будет вон там, – показал Мануйла на небо и вышел.

Час – это много. Чтобы не заплакать, Фила занялась обычными домашними заботами.

Повзбивала кумыс, пошла с двумя кожаными ведрами к ручью, но на обратном пути спохватилась – что ж она, дура? А свежего мяса ему в дорогу, когда еще поест? Бросила ведра, подхватила полы номрога, побежала в юрту. Вынула из шулюна, бараньей похлебки, лучшие куски, завернула каждый в промасленную кожу. Сунула в мешок к походной снеди. Туда же, на самое дно, спрятала образок Божьей Матери. Чтобы лучше слышала Филоменины молитвы.

Солнце еще не поднялось до назначенного места. В курене ржали кони, перекрикивались веселые нукеры, которым надоело сидеть без дела – они-то ждали похода с нетерпением.

Филомена успела еще подоить кобылицу, чтобы дать мужу напоследок теплого молока. Сжимая и оттягивая книзу упругие сосцы, вдруг подумала, что монгольской работе она за два года научилась хорошо, а как ведут хозяйство русские бабы, и знать не знает. В прежней жизни ничего

полезного делать она не умела, княжне ни к чему. Вышивание золотой нитью не в счет – это занятие от скуки. Сядут, бывало, вдвоем с матушкой у окна, та давай на франкском языке книги про рыцарей и королевен пересказывать, красивые былины, именуемые балладами, напевать, и обе вышивают одно и то же: птицу свирестель с венцом и розой. Это матушка сама изобрела родовой герб, она была великая придумщица. Мечтала, чтобы у всех слуг и друдинников на парадных рубах золотой знак сиял – гостям в удивление. Нить была греческая, дорогущая, комнатным девкам матушка ее не доверяла, испортят, поэтому работали вдвоем, хотя разве то была работа? Одно приятствие. И ничегошеньки тогдашняя Фила своими белыми руками исполнить не могла – только вышить золотом затейную птичку.

Зато теперь руки стали крепкими, пальцы ловкими. Белизна, правда, исчезла, но не жалко. Монголы белую кожу почитают некрасивой. Филомена, чтобы муж больше любил, нарочно лицо травяным соком смуглела.

Работая, она вперемешку бормотала русские молитвы и монгольские заклинания. Пускай все боги помогают – какие есть и каких нет. Чтобы Мануйла вернулся живой. И чтоб не мучился в походе подагрой. Кто ему там обмотает ногу капустным листом? И где ее, капусту, зимой возьмешь. Ах, забыла!

Побежала уложить в мешок склянку с капустным соком, который помогает не хуже листа – добрый дед Калга научил, когда приезжал погостить прошлой осенью. Привез дорогой подарок, матушкину любимую книжку про Тристана и Изольду. Как уцелела в свирестельском пожаре – чудо.

И пришла в голову очень хорошая мысль. У Мануйлы не было вещи дороже старой шубейки, памяти о родине, а ради важного моления не пожалел, сжег. У Филомены же от прежней жизни осталась только старая книжка, память о матушке. Вот что надобно Богу Тенгри поднести, он засчитает, а Христос не обидится – на что Ему суэтная сказка про грешную любовь?

А вот теперь пора было выходить. Голоса и ржание ныне доносились не с разных сторон, а из одного места. Значит, дружина собрана и сейчас выступит. У монголов это быстро.

Фила поправила высокий головной убор, спустила рукава, осторожно вынула из берестяной колыбели спящую Цветочку.

Раздвинула углы рта в радостной улыбке, потому что хорошая жена в час разлуки не должна огорчать мужа печальным лицом.

Вышла.

Сотня достраивалась в длинную колонну: десятками, по два нукера в ряду, и у каждого сбоку заводной конь – у левого слева, у правого справа. Сто людей, двести лошадей – как положено.

Мануйла пронзительно выкрикнул, и отряд тронулся. Сотник пропустил колонну мимо, зорко оглядывая каждого. Филомена стояла в стороне, ждала. При воинах подойти было нельзя – только осрамишь.

Вот сотня растянулась по заснеженному полю. Тогда поехал и Мануйла – но медленно, тихим шагом.

Когда хвост отряда скрылся за косогором, Фила двинулась вслед. Свои, кто остается, конечно, видели, но пускай себе судачат. Мануйла ведь не виноват, что его жена плохая монголка.

Идя по протоптанному, Фила глядела в сутулую спину мужа и думала, какая странная получилась жизнь. Сколько было с матушкой говорено за золотым вышиванием о будущем, сколько было гадано. Матушка говорила: выдадим тебя не за богатого и сильного, а за доброго и умного. И чтоб красивый был, требовала княжна. Кого полюбишь, тот и красивый, непонятно отвечала матушка. А вышло вот что. Живет со старым, криволицым, иноязыким. И ближе никого нет.



За косогором – Филомена заранее рассчитала – можно было перейти на бег. Из куреня уже не видно, да и сотня как раз огибала березовую рощу. Самое время по-людски попрощаться.

Муж тоже это сообразил и остановился. Обернулся.

Фила подбежала, припала к колену. Он погладил ее по щеке своей шершавой ладонью.

– Родненький, – сказала Фила по-русски.

Мануйла ласковых слов говорить не умел, даже по-монгольски. У монголов ласка – это забота, поэтому он в десятый раз стал учить, как жене без него управляться. Все-де должны ее слушаться, потому что она – жена сотника, а кто вздумает дерзить, сразу говорить десятнику Тогрулу, он с особо набранным одиннадцатым десятком для того и оставлен.

– Если же я не вернусь, – втолковывал Мануйла, – о тебе позаботится Калга-сэчэн, он мне обещал. Вдове сотника положен почет и полное довольствие от ханской казны. Но я вернусь, – быстро добавил он, потому что щека у Филы задрожала. – Я был в ста походах, переживу и сто первый. На войне убивают неопытных и тех, кому слава дороже жизни. Я опытный, и слава мне не нужна. А когда я вернусь, попрошу на покой. Послужил, хватит. И мы заживем втроем – ты, я и Цэцэг. Может быть, Тенгри даст нам еще одну дочку. Или даже двух. Дочки лучше сыновей. – Он посмотрел на малютку, и было видно, что очень хочет дотронуться, но не стал, чтобы не будить. – Всё. Возвращайся.

– Я провожу тебя до березняка, – твердо сказала Фила. – И через рощу. А на открытое место не выйду. Нукеры не увидят.

– Хорошо, – легко согласился Мануйла. – Я догоню сотню вскачь. Куда она денется?

Пошли рядом, свободную руку она держала на его бедре.

– Меня отпустят со службы, потому что это самая последняя война, – говорил муж. – Мы уедем далеко, на другой конец державы. По лугам, по полям, по степям. Ехать будем медленно, не утомляя скотину. Куда нам торопиться? Дорога – тоже жизнь, хорошая. Особенно если знаешь, куда держишь путь, и хочешь туда попасть...

Он редко говорил так много. Фила слушала и кивала.

Немного не доехав рощи, он остановился, потому что проснулась Цветочка.

– Аава! – пролепетала она, глядя на отца снизу вверх. Этому слову она научилась совсем недавно.

– Да, я твой аава, – просиял Мануйла. Воровато огляделся по сторонам. – Дай мне ее подержать.

Она протянула малышку, он наклонился.

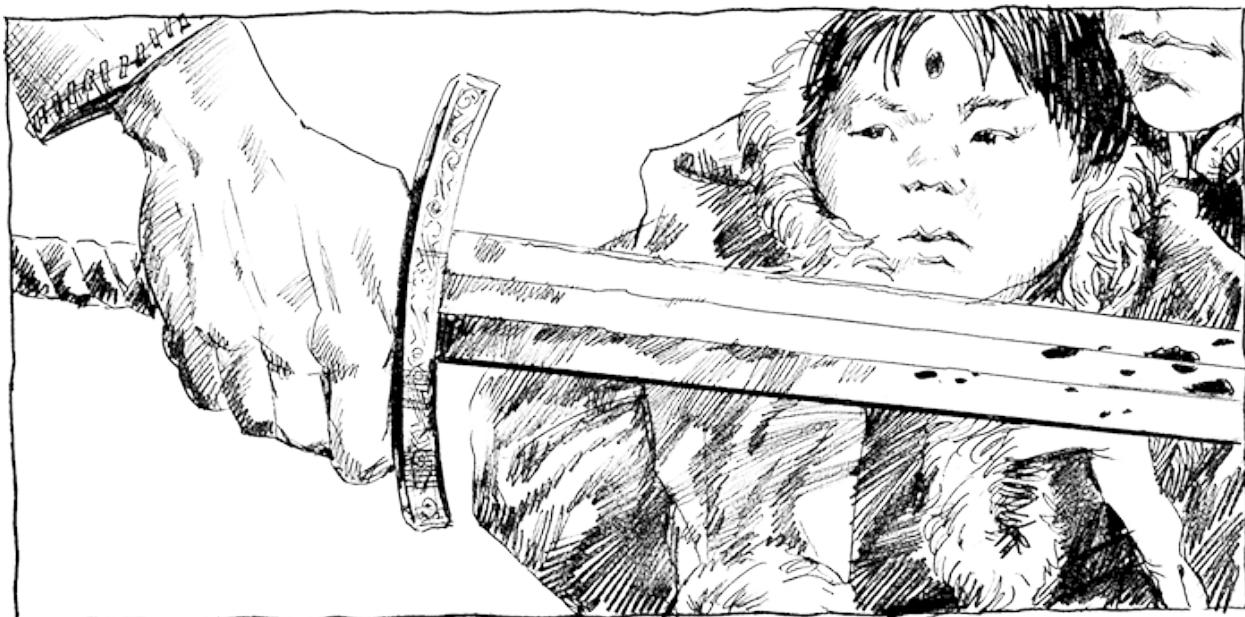
Раздался странный свистящий звук, и Мануйла вдруг покачнулся.

Не веря своим глазам, не понимая, Фила увидела, что из середины его туловища, из подвздошья, высунулось что-то острое, блестящее, мокрое.

Глаза Мануйлы расширились, он всхрипнул и головой вниз выпал из седла.
Цветочка засмеялась – подумала, аава с ней играет.



Бог милостив



Побродили по лесам, убивая татар, когда кто ехал один или вдвоем. Если больше – не связывались. Трупы прятали, чтобы поганые не мстили ближним деревням.

Ватажники забирали татарскую дань охотно, а татар убивали только из страха перед Олегом. И скоро он понял: пустое всё. Видно, прав Агапий. Кончилась Русь. Ушел из нее прежний славянско-варяжский дух, вытек вместе с пролившейся кровью.

Нужно было где-то устраиваться.

Походили, поискали и нашли службу в городе Торжке, который был одно название – самого города не осталось. Прошлой зимой татары шли на Новгород, и там уж все с жизнью прощались. Кто в саваны заворачивался, схиму принимал, бояре и купцы грузили добро в ладьи – за море плыть, но Господь постановил, что нельзя русскую землю совсем уж до последней

травинки искоренять, и попустил раннюю, дружную весну. Вскрылись реки, задышали топи, и увязла Орда в непролазной распутице, поверотила назад, не дойдя до Господина Великого Новгорода всего ста верст.

Последний русский город, доставшийся татарам на этом пути, был Торжок, и в остротку новгородцам поганые не оставили здесь бревнышка на бревнышке.

Но как трава прорастает даже после самой лютой зимы, так же возродилась на бойком торговом месте новая жизнь. Вместо убитого посадника приехал новый, стал созывать попрятавшихся мужиков, брать в дружину уцелевших воинов. Принял посадник и Олега с людьми, сделал над гарнизоном главным, поставил на довольствие и жалование.

Служба была хоть и бедная, для природного князя мелкая, зато честная. Да и знал Олег, что князем ему больше не быть. Негде княжить, некуда возвращаться.

А только однажды, уже в следующую осень, было вот что. Сидел он в гриднице мрачный, пил хмельной мед, тужил о своей молодой жизни: двадцати лет еще не сравнялось, а уже будто старик, и ждать нечего. Вдруг входит Кузьма, говорит: «Олег Ингваревич, из твоих краев человек. Послушаешь?»

В самом деле, прибрел христарадничать нищий, каких ныне развелось видимо-невидимо, и никто ведь с голоду не помирал, всем подавали, потому что от больших бед в злых людях становится больше злобы, а в хороших становится больше милосердия, и милосердных всегда достаточно, чтобы сирых пожалеть.

Бродяга летом побывал в пристепном краю, где раньше стоял город Свиристель, и порассказал такое, что с Олега разом слетели и хмель, и туга.

В свиристельской земле теперь правил татарский посадник именем Мануйла, и все его власть признавали, потому что татарин тот справедливый и женат на княжеской дочери.

Олег рассказчика схватил за ворот: не врет ли?

Нет, не похоже, чтобы врал. Жену посадника Мануйлы он видел своими глазами и описал точно: светлые волосы, родинка посередь лба. Филомена! Жива!

Тогда Олег стал расспрашивать про татарина – и помутился взор.

– Татарин как татарин, – сказал нищий. – Кривоногий, рожа медная, поперек вот так вот рубец.

Худшее, стыднейшее воспоминание Олеговой жизни было, как он, жалкий кутенок, замер, сдавленный жилистой рукой, вдохнул отвратительный запах грязной овчины, прогорклого сала и чего-то

тошнотворно-чужого. Его резали, а он даже не брыкался.

Сатана, татарский дьявол, убивший отца и мать, был жив-здоров, поганил Филомену и жирел на его, Олеговой земле, а крестьяне, иуды, черта этого еще и нахваливали!

Всё выспросив, Олег вышел во двор и долго стоял с зажмуренными глазами, подставив лицо дождю. Холодные капли стекали за ворот, а он не чувствовал.

Бог силен, но милостив. Попускает грех, но дает и искупление. Выходило складно, по клятве, которую, оказывается, забывать было нельзя. И со смертным врагом поквитаться, и сестру вызволить. Вот она – жизни цель. И какая!

Вечером велел Кузьме собрать дружину. Поговорил. Уйти на восток согласились двадцать два человека – кто потерял от татар родню или просто скучал на городской службе.

Посадник не удерживал, он опасался бешеного Олегова нрава. Лишь пугливо спросил:

– Татар бить будешь? Об одном молю. Не говори нигде, что ты торжковский воевода. Опять сожгут!

– Я не торжковский воевода, я – свиристельский князь, – ответил Олег. – Прощай, торговая душа.

* * *

Свой маленький отряд Олег вел тем же путем, каким полтора года назад возвращались татары. Ждал увидеть разореные и безлюдье, но был удивлен. Деревни и села успели отстроиться, крестьяне вернулись из лесов, на полях повсюду шла работа – заканчивали собирать урожай.

Следовали гордо, не прячась по кустам. Олег развернул стяг, на который не пожалел собственного плаща: красное полотнище, на нем нашитые крест и птица. Крест получился еще туда-сюда, птица – совсем никакая, приходилось объяснять, что это свиристель, и не все про такую птаху слышали.

Мечталось, как под знамя будут вставать люди, измученные татарской неволей. До родных краев путь неблизкий, и Олегу грезилось, как он приведет на берега реки Крайны две или даже три тысячи мстителей за поруганное отчество. Но за первую неделю к дружине не пристал ни один человек, хотя Олег повсюду собирал местных и объявлял, кто они и за что идут сражаться. Крестьяне прятали глаза, откупались мукой и мясом, благо

осень, сытое время, а воевать не шли.

Татар так ни разу и не встретилось. Они сидели по городам, а города Олег по малолюдству отряда обходил стороной.

Самые задорные из дружинников попртихли. Сначала шли – пели песни, гоготали, а теперь приуныли.

На вторую неделю отряд начал таять, и первым сбежал Кузьма, подлая душа.

Полдороги прошли – остался Олег сам-двенадцатый. Дни были стылые, мокрые, по ночам примораживало, так что в открытом поле и с кострами не больно поспишь.

Как-то раз остановились в деревне, уже на Рязанщине. Вдруг заполночь стук в окно. Местный паренек:

– Старики приговорили татар на вас навести, из Пронска. Бегите, пока не нагрянули!

Олег не успел своим и слова сказать – всё его войско кто в чем был кинулись на крыльцо, и врассыпную. Никого не осталось.

И дальше Олег шел уже один, угрюмый, но не утративший решимости.

Всё это было сатанинское наваждение. Это он, враг рода людского, обратил народ в червей, по земле пресмыкающихся. Но Олег Свиристельский колдовству не подвластен.

Хотите жить под татарапом, православные? Ну и черт с вами. Пропадите вы все пропадом. На что спасать Русь, коли ей спасения не нужно? О своей душе надо заботиться, перед самим собой долг исполнять. А долг и душа требовали держаться клятвы – двух клятв: отомстить за отца-мать и спасти сестру. Если судьба погибнуть на этом пути, не жалко. Бог верного клятве витязя без Небесного Царства не оставит. А получится исполнить обет – прочь из этих рабских мест. В Новгород, где еще жива Русь. Ну а коли поганые и туда доберутся, тогда уплыть за море. Забыть мертвую страну, которая не сумела себя защитить и не пожелала воскреснуть.

Оставшись в одиночестве, Олег ехал уже не дорогой, а опасливо, повдоль. Ближе к степи начали встречаться татары. На рожон княжич не лез. Если несколько – прятался. Но если поганый был один, бил насмерть из самострела. Труп нарочно подвозил поближе к деревне и бросал там. Мстите, татары. Режьте овец. Может, перестанут блеять, озлятся и возьмутся за топоры. А нет – не жалко, туда им и дорога.

Было у Олега еще одно дело, невеликое, но отрадное. Он вез из

Торжка в седельной суме стопу пергаментов, купил у новгородского купца-гостя на скопившееся жалованье. Пускай Русь погибла, но есть человек, кто записал историю ее кончины в назидание будущим коленам. Как ему не помочь? А еще хотелось дать душе хоть малое отдохновение перед великим и страшным свершением, которое скорей всего закончится могилой. Думал Олег у святого отшельника напоследок исповедаться и причаститься – больше случая могло и не представиться. Да просто поговорить с кем-то, в ком еще жив дух!

Но не дал Господь последнего утешения. Лесную избушку Олег отыскал без труда, но она стояла пустая, с выбитой дверью и провалившейся крышей. Внутри лежал изгнивший труп с седой бородой.

Убийство совершилось давно. Наверное, вскоре после того, как Олег отсюда ушел. Из пола, прямо сквозь голые ребра, проросла жесткая трава. Не пожалели тихого старика какие-то душегубы, и навряд ли татары – те ночуют под открытым небом, а эти развели прямо в избе костер, грелись рядом с убитым. От непотушенного костра и крыша прогорела.

В кострище черными лохмотьями лежала сожженная береста. Разбойникам было лень наружу за хворостом выйти, спалили что было под рукой.

Олег поднял уцелевший кусок, прочел: «...но не должно отчаиваться, ибо зло тленно, а добро вечно, и потому в своевремении первое истлеет, а второе пребудет живо...»

Вот еще одно бремя на совести, тяжкое. Не ушел бы тогда, весной, – глядишь, защитил бы агнца, не дал в обиду.

Всё, теперь Руси совсем конец. Сгинула, и памяти не сохранится.

В груди так заломило, что подумалось – вернулись слезы. Но плач получился сухой, одно сипение.

Похоронил старца с молитвой, но молился не за упокой безгрешной души, потому что зачем безгрешной душе заступники, а о своем, всё о том же. Чтобы дозволил Господь поквитаться с поганым сатаною татарином Мануйлой. И, если на том не иссякнет Его Божественная милость, чтоб вышло спасти Филу. В такой последовательности.

Надежды, что выйдет и то, и другое, не было. Если Мануйла начальствует над целой округой, поди до него доберись. То есть добраться-то доберешься, но живым не уйдешь. Спасать сестру будет некому.

И с того часа Олег молился уже беспрестанно. И в пути, и на стоянке, и даже во сне. Руси больше не было, но Господь-то есть.

Пошли знакомые края. Потом начались и вовсе родные – где когда-то

охотился с соколом или просто скакал по зеленым полям.

Но как будет действовать, Олег не знал. Лишь уповал на Божью помощь.

Затаился в бересовой роще, где знал с детства каждое дерево. Отсюда до сгоревшего Свиристеля всего верста, только через невысокий косогор перейти. Это было последнее укромное место. По зимнему голому времени даже в балке не укроешься.

Собирался до вечера просидеть здесь, молясь о чуде, а как стемнеет, сходить в пещу разведку.

И явил Бог своему молельщику чудное чудо. Был Он, Господь, суров, но справедлив, как в ветхозаветные времена. Карал строго, но и давал карать.

Сначала испытал Олег смертный страх. Вдруг, скоро после полудня, из-за холма выехал большой отряд татар. И прямо по полю, к роще. Хотел он вскочить в седло, но лошадь от долгого пути и недокорма ослабела, не уйдешь.

Что ж, значит, не судьба исполнить обет. Оставалось лишь продать жизнь задорого.

Он наладил самострел, приложился. Одного, думал, уложу точно. Пока будут метаться, пока сообразят, можно достать и второго. А там мечом.

Уж и выбрал, кого ссадить: здоровенного, с нетатарской, а совершенно русской мордой. За нее и приговорил. Бродяга, которого расспрашивал в Торжке, рассказал, что у Мануйлы многие русские служат, забыли веру и отчизну. Эти хуже поганых, предатели.

Но мало не доехав до рощи, отряд повернул в объезд. Вытирая холодный пот, Олег пересчитал: сто всадников и сто заводных лошадей. Он, глупец, вообразил, что это и есть чудо, но это было еще не чудо, а только предзнаменование. Истинное чудо было впереди.

Олег всё оглядывался, прислушивался, не повернут ли татары назад, и потому поздно заметил, что по широкому протоптанному следу к роще приближаются еще двое: конный и рядом с ним баба в высокой шапке с пером. Подошли ближе – стало видно, что у бабы на руках ребенок. А когда они остановились всего в тридцати шагах, Олегу в сердце вошел священный трепет.

Жив Господь!

Само, безо всякой с Олеговой стороны тщания, явилось исполнение обеих невозможных молитв.

Целя в сутулую спину Сатаны, княжич боялся выдохнуть. Не исчезло бы блаженное видение! Руки дрожали, но с такого расстояния по

неподвижной мишени промахнуться было трудно.

И вот он встал над хрипящим врагом, торжественный и безмолвный. На Филу даже не взглянул, чтобы не отвлекаться от главного. Она застыла неподвижно, судорожно дышала. Ребенок гугукал, смеялся, и младенческое веселье казалось Олегу благословением ангелов.

Он перевернул татарина ногой на спину. Тот был еще жив, но двигаться не мог. Толстый пыр перебил Сатане хребет. Только хлопали щелки-глаза да беззвучно шевелились губы, будто раненый пытался что-то сказать.

Когда Олег с шелестом вытянул из ножен меч, Фила вдруг вышла из неподвижности.

Крикнула:

– Уйди, тать! Не надо!

Попыталаась схватить за руку. Бедняжка была не в себе. Родного брата не узнала, обозвала татем.

Он мягко оттолкнул ее и коротким, мощным ударом вонзил Сатане клинок в самое сердце. С хрустом выдернул.

В глазах татарина погасли огоньки, веки закрылись.

Всё. Спасибо Тебе, Господи.

Фила отчаянно закричала.

Тогда Олег повернулся к ней, снял шлем.

– Я это, милая. За тобой пришел. Как обещано.

А она не удивилась, даже не взглянула на брата. Пала на колени, склонилась над убитым.

– Ты что, не слышишь? – тронул ее Олег.

Не поднимая головы, она сказала:

– Что ты наделал, Солоша? Что ты наделал...

– За отца, за мать поквитался, за Свиристель. За твои муки.

Дитя глядело на Олега поверх Филинового плеча. Уже не смеялось, а кривило ротик. Волосенки черные, глазки узкие, но посередине лба большая родинка, точь-в-точь, как у батюшки и сестры.

– Татарчонка прижила, – вздохнул Олег. – Эх ты, бедная...

– Это дочка моя! Наша с Мануйлой! – выкрикнула Фила рыдающе, и девочка испугалась, сморщила лицико, заплакала. – Ты мужа моего убил, окаянный!

Ярости в Олеговом сердце накопилось так много, что с одним ударом меча вся она не вышла, еще много оставалось.

– А про отца-мать ты забыла? Уже не помнишь?

– Это ты ничего не помнишь! Я на них твою жизнь выменяла! Мануйла тебя пощадил, а я за то Богу поклялась при нем быть!

– А меня ты спросила, Фила... согласен я память выменять... хоть бы и на собственную жизнь?

Слова давались ему трудно, в груди будто разрастался горячий ком, мешал говорить.

Сестра оглянулась на него, ее глаза горели ненавистью.

– Я не Фила! Меня зовут Одоншийр! Это значит... – Но голос сорвался, не договорила. Видно, и у нее слова застревали в горле.

Закончила она сипло.

– Будь ты проклят, убийца!

Татарка! Чужая, враждебная. И вся Русь, обрюхченная Ордой, скоро станет такой же. Уже стала!

Не помня себя, мечом, красным от сатанинской крови, Олег нанес удар наотмашь. И потом еще плонул на упавшее тело.

– Тыфу на тебя, тварь татарская! Христопродащица!

Вытер клинок о снег, спрятал в ножны. Перед взором расплывались багровые круги, в ушах будто бил барабан.

Что я наделал, Господи... Господи!

Он поднял лицо к хмуруму небу, и оттуда сошел милосердный холод. Остудил пылающий лоб, приглушил мучительный стук крови, и Олег услышал детский плач.

Девочка пищала, придавленная телом матери.

Вот и ответ от Господа.

Осторожно сдвинув мертвую, Олег взял племянницу на руки, прижал к груди.

Ты-то ни в чем не виновата. Филу спасти было уже нельзя, она душу Сатане продала, а тебя я спасу. Не позволю стать татаркой. Увезу, окрещу.

Он содрал с покойницы шерстяной наплечный плат, укутал девочку. Покачал – перестала плакать, уснула.

И потом, когда Олег ехал верхом, только почмокивала, убаюкиваемая неспешным ходом коня.

Помрет, печально думал Олег. Где малому дитяте вынести зимнюю дорогу.

И в сердце сложилась новая молитва.

Боже сировый, справедливый, яви мне, многогрешному, еще одну милость. Дай младенцу безвинному дожить до первой церкви, не забирай некрещенную душу. Окрестит поп – тогда и прибери. А впредь никогда ни о чем не попрошу, вот Тебе крест.

Молился и сам не чувствовал, что всё лицо мокрое. Слезный дар вернулся. А больше ничего не осталось: только слезы и обреченный младенец.



Бох и Шельма

Повесть

Житие несвятого Иакова



Еще раньше, чем Яшка увидел его самого, по толпе будто прошла рябь, как бывает, если по пруду плывет толстый гусь или величавый лебедь.

Людей всяк делит по-разному. Кто глупый – на красивых-некрасивых иль на хороших-плохих. Кто поумнее – на сильных-слабых иль богатых-бедных.

Яшка по прозвищу Шельма различал человеков по стати и прыти – с первого взгляда. И ошибался редко.

Кто-то тяжелый и бредет через жизнь, будто хромой по каменистой дороге, всё кряхтит да спотыкается. Другой никакой – веса не имеет, земли почти не касается, лишь ножонками болтает, будто есть человек, а будто и нету. Третий бык быком: валит напролом через буряны, не посторонишься – затопчет. Бывают тихие, но опасные; змеей извивается, шипит негромко, зато язвит насмерть.

Сам Яшка про себя говорил: я – мотылек, с резеды на василек. Нынче здесь, завтра там, и всегда на солнышке. А вернее сказать, комарик. Потому что мотылек – букаха неплотная, некусачая, цветочным духом живет, а Яшке для пропитания требовался красный сок-кровушка. Много не надо, брюшко маловато, но положенное отдай. И за что комаров обижают, норовят прихлопнуть? Жалят они легонько, крови отпивают малую капельку – только от самых тучных. Им, пузанам, даже и для здоровья полезно.

Недавно, наблюдая, как юркий воробышко утаскивает у дурака-голубя кусок втрое больше себя, Яшка задумался. А ведь и он мог бы не крохоборничать, взять зараз три или четыре веса да зажить по-другому. Или не сдюжил бы, надорвался? Но мысли у Шельмы, как и он сам, были легкие, нецепкие. Не додумал думу до конца, перескочил на другое.

«Шельмой» его прозвал ганзейский немец Бох, о котором и вспоминать неохота, потому что зачем вспоминать плохое? Но, с другой стороны, и не забудешь, если все глядят на лоб, спрашивают и приходится врать.

«Шельма» – немецкое бранное слово, пишется ихними латинскими буквами Schelm. Яшка всякую грамоту разбирал: и свою русскую, и латинскую, и татарскую. Любое наречие к нему приставало легко, потому что мотыльку-комарику полезная наука – одно порхание. И языков знал много, шесть или семь. На каждом изъяснялся так, что принимали за своего, имелся у него от природы на то особый дар. Оказавшись в чужом месте, среди чужих людей, он очень скоро принаравливался к тамошней жизни и становился своим. Всё в себе менял и даже звался всюду по-разному – как нарекут.

В отрочестве откликался на имя Ничейка, короткое от Ничейсын, потому что он и был ничей сын, отца-матери не помнил, родни не имел. Да мало ли, как когда Яшку звали. Вот третьего дня шел он через Торг по спешному делу (у Яшки все дела были спешные), вдруг сзади хвать за рукав: «Татарчик! А ну постой!»

Человек какой-то. Лицо не то чтобы знакомое, но по «Татарчику» сообразилось: кто-то из Твери, где три года тому Яшка неплохо поторговал на базаре целительными зельями. Татарчиком его тверичи прозвали, потому что он объявился татарским знахарем, благо был скуласт, черняв и малость раскос.

Тверичанин этот, который схватил, говорит: «Ну, гад, у меня от твоей зелень-травы рожу на сторону перекосило. Душу из тебя выну, паскуда желтоглазая!»

И правда, рожа у него с одной стороны выпирала больше, чем с другой. А лапы сильные: ухватили – не вырвешься.

Шельма всплеснул руками, затараторил, ломая язык на татарский лад:

– Мила-человека, а ты как мазался? С одной щеки иль с двух?

– С двух!

– А с заговором? Сказывал я тебя колдовское слово али нет?

– С заговором. «Зеленоху-траву на мою голову, а траву-зелёнушку на чужу головушку».

— С ума ты сошла! Перепутала! — закричал Яшка. — Надо было: «Зеленюху-траву — на чужу голову, а траву зелёную — на мою головушку». Ты думай сам! Как это ласковое — да другому отдавать? Вот тебя, бачка, и разнесло. Ай, беда! Теперь вдвое лечить надо. Но это и вдвое стоить будет.

Отболтался, дело привычное — язык Яшку никогда не подводил. Еще и денег взял с тверского лопуха за горшочек грязи, которую, сбегав, на заднем дворе из лужи зачерпнул.

Один только раз не выручил язык, с немцем Бохом, про которого начало сказываться, да сбилось. Очень уж башковитый оказался немец, других таких Яшка в жизни не встречал.

Позапрошлый год поплыл он на корабле за море — из любопытства, мир поглядеть. К тому же надо было из Нова-города на время отлучиться, перешалил он здесь немного.

И принесло комарика морским ветром в хороший город Любек, ганзейскую столицу. Покрутился Яшка, принюхался — устроился на хорошее место, к богатеющему купцу-гостю, который с Русью и иными странами вел торговлю красным товаром. Тому гостю как раз нужен был приказчик по русским делам.

Доверять новому приказчику хер Бох не доверял, потому что умные никому не доверяют, а ценить ценил. И пока Яшка приглядывался, что бы тут взять, жили они с хозяином ладно. Бох советовался про Русь и про торговое, посмеивался Яшкиным прибауткам, щедро платил. Его, Боха, и самого послушать было занятно — дядька тертый, бывалый, белый свет повидал даже больше Яшки. По стати и повадке определил его Яшка в особую породу, какой еще не встречал: был Бох похож на пузатый купеческий корабль, который плывет далеко-далеко, одному ему ведомым курсом, за великим хабаром.

Хозяин называл своего русского слугу «Йашка». Но это имя у Яшки тоже было не природное, не крестильное. По правде сказать, он и сам не знал, крещеный он или нет. Где появился на свет, тоже неизвестно. С тех пор как начал себя помнить, обитал в Новгороде — стало быть новгородец, хоть ни к одному из новгородских сословий не надлежал. Ни к «черному», ибо черной работой рук не грязнил, не имел такой привычки; ни к «житъему» — по необладанию собственным житъем и общей воздушности обитания; ни к купецкому — это надо большие обороты иметь, а взяться им неоткуда. Да и скучное это дело, коли честно торговать. А коли нечестно — надолго в сем почтенном сословии не задержишься.

Опять с одного на другое соскочило.

Про имя «Яшка». Оно образовалось вот как.

Когда-то давно, в детстве, ночевал отрок Ничейка в поле, в стогу, и приснился ему чудесный сон. Будто стоит в том поле многоцветная радуга. Подходит к ней Ничейка, и оказывается, что она не радуга, но лестница. И начинает он по ней подниматься, легко так, радостно. Наверху же нечто сияет, манит. Будто бы солнце, но золотее, чем солнце. Приблизился – золото и есть. Как грош золотой, но в тысячу раз больше. Протянул Ничейка руку – потрогать, а получится, так и себе забрать, но от волнения вскрикнул и проснулся. Жалко. Однако сон этот волшебный на всю жизнь крепко запомнил, потому что ничего красивее не видывал.

А лет десять назад, в городе Муроме, зимой, зашел в церковь, погреться. Поп читал проповедь, но Яшка (тогда еще не Яшка) сначала не слушал. На кой они нужны, проповеди? И вдруг краем уха поймал такое, что обмер. Старик священник рассказывал про лестницу, приснившуюся библейскому человеку Иакову. Поднималась та лестница до самого неба, и сияли на ней разные чудесные чудеса. Тогда-то решилось про имя: будет оно Яков.

Ах да, про Боха-то.

Когда Яшка прижился на купеческом подворье, освоился, сделал он потихоньку слепки от всех ключей и начал из железного сундука, где у хозяина хранились оборотные деньги, именуемые « капитал », по дукатику золотому вытаскивать, а на их место клал медные кругляшки – поглубже, на самое дно. Рассчитывал месяцок-другой так подхарчиться, а потом дальше по ветру улететь.

Но попался уже на третий день. У немца, гада, сундук оказался хитрый, стоял на особых весах. А поскольку медь легче золота, Бох почти сразу приметил неладное – и, конечно, догадался, кто тут такой умный. Другие-то приказчики все были дураки немецкие, им бы и в голову не пришло, а пришло бы – всё равно не попользовались бы, потому что немцы вообще дураки. Один только среди них умный – Бох, и надо же было Яшке именно на него угодить.

Попался с поличным – с рукой, запущенной в сундук. Будто кот, который сунул морду в крынку со сметаной да застрял.



Яшка, конечно, стал врать. Верткий ум и острый язык его из всяких переделок вытаскивали. Он-де заметил, что сундук ненадежен, и решил испытать, хорош ли за капиталом догляд, а коли не верите – всё золото, ране изъятое, лежит в надежном месте и на нем бумажка, и в бумажке той писано: «Сии дукаты надлежат честному херу Боху, коему прошу их и передать, если со мной, верным слугою Йашкой, случится какая беда». Бумажку такую он в тайник и правда положил, на всякий случай.

Но Бох на эту хитрость только посмеялся. Сказал: «По нашему закону за воровство положена тебе виселица. Но жизни лишать я тебя, черта желтоглазого, не стану, потому что жалко такую хитрую башку отдавать на

поклев воронам. Однако и урок тебе дам на всю жизнь. Помечу как шельму. Чтобы каждый раз, глядя на себя в зеркало, ты знал, кто ты есть и как тебя на самом деле зовут. И чтобы Боха не забывал».

У Яшки от рождения посередине лба было круглое пятно медового цвета, которым он гордился, почитал знаком своей особенности. Волею хозяина прямо на родинке выжгли Яшке клеймо: букву S, первую в слове Schelm.

Потом поволокли, от боли орущего, кинули в трюм ганзейского корабля, уходящего в Новгород: плыви, плут, восвояси, откуда приплыл.

Зеркал на Руси, слава богу, мало, так что глядеться на себя Яшке было некуда, но люди, конечно, про кружок с загогулинкой все время спрашивали – что-де за обозначение.

Отвечал он по-разному, глядя по надобности. Свою мету со временем Яшка даже полюбил, она была красивая, на Руси ни у кого такой не имелось. И полезная. Умному человеку всё на пользу. Довелось клейму побить и персидским царским знаком, и колдовской печатью, и древним юдейским пророчеством, и многое чем. Звучное слово «Шельма», русским людям непонятное, Яшке тоже понравилось. Взял себе в добавление к имени. Если ты объявляешь себя просто Яшкой – ясно, что человечишко ты мелкий. Иное дело «Яков Шельма» – хоть боярину впору.

Но польза пользой, а Боха, ирода немецкого, Шельма по все дни помнил. Радовался, что больше не встретятся.

И вдруг – naï тебе.

* * *

Придется вернуться в самое изголовье и начать заново, а то нескладно получается.

Стало быть, шел Яшка Шельма погожим майским днем по Ярославову дворищу, где всегда не протолкнешься, и заметил в толпе некое шевеление, будто волны по воде. Яшка на цыпки привстал (росту он был скромного): кто это такой важный, не посадник ли, не тысяцкий? Нет, вроде бы чужеземное посольство.

Ехали верхами какие-то люди, не по-русски одетые. Пригляделся Яшка к переднему всаднику – ох! В груди стало холодно, а посередке лба, наоборот, горячо.

На толстом, сонном мерине ехал хер Бох, тоже толстый, с сонно прикрытыми глазами, седобородый, с круглыми румяными щеками, со

сложенными на брюхе пухлыми маленькими руками. Яшка сначала не поверил зрению, потом испуганно присел. Он знал, что купчина только выглядит квельмом, а на самом деле глядит зорко, не упускает никакую мелочь.

Что это его в Новгород принесло? Ради какой такой надобности?

Дальше – хуже.

За Бохом ехал его верный слуга конопатый Габриэль, самый страшный человек на свете. А может, и не человек, но исчадие подземное, чудище адское. Никого и ничего на свете Яшка не боялся, однако при виде Габриэля обратился в дрожащий лист. Вспомнил, как его, извивающегося, жуткое идолище держало одной клешней за шею, в другой же алело раскаленное тавро...

Оба – и Бох, и его цепной пес – были точь-в-точь такие же, как в Неметчине: хозяин в широком плаще, именуемом «мантель», и головном блине-барете; слуга во всем красном, кровавом, даже сапоги цвета сырого мяса.

Оно, конечно, купеческий дом «Бох Кауфхоф» торгует и с Новгородом, и с Псковом, а всё же за какой необходимостью сам хозяин в Руслянд пожаловал?

Всадники – их было десятка два – и крытые возы с чем-то тяжелым повернули к мосту через Волхов, в сторону Детинца. И хоть было Шельме любопытно, чего ради Бох оставил свой Любек, но все же не до такой меры, чтоб соваться к волку в пасть.



Учесывать надо было из Новгорода, подобру-поцелу. Нисколько не хотелось обретаться в одном месте с Бохом и его ужасным подручником. Земля большая, а комару улететь – сбор недолгий.

Надо было только в дорогу животишки сложить да с Пышатой без обид рас прощаться. Потому что бабу обижать нельзя, особенно если видал от нее только хорошее.

А надо сказать, что от баб Яшка в жизни ничего, кроме хорошего, и не ведывал.

Вот сладко и весело жилось бы, если б на свете обитали одни женки. Попы говорят: жена – сосуд греховный, все беды от нее, но любой, у кого имеется голова с глазами и ушами, знает: всё прямо наоборот. Это мужики опасные, злодурные, чуть зазеваешься – обманут, хомут наденут, а то и убьют. Баба же – существо заботливое, жалостливое, щедрое. Опять же на вид, на ощупь, на запах – с мужами и не сравнивай. На вкус, языком лизнуть, тоже сладкая, если молодая. Но и немолодые тоже хороши, им от тебя мало что надо – дай только полюбить, поухаживать. В детстве Ничейка ужасно завидовал ребятам, у кого мамка есть или, еще лучше, бабушка, – и погладит, и кусок даст, и нос подотрет.

Плохие женки тоже встречаются, но это такая же редкость, как хороший мужик. Некрасивых же баб не бывает совсем. В каждой, если умеючи глядеть, что-нибудь отрадное сыщется. В постельном деле красота ни при чем, оно темноту любит, а в темноте что Василиса Распрекрасная, что девка-чернавка – все одинаки. Ну, то есть не одинаки, конечно, но красота-то здесь точно невзасчет.

Шельма женскую суть проницал в доскональности, но понимание свое не выпячивал, и бабы его очень любили – за то, что чувствовали себя с ним красивыми и желанными. Не было павы, какую Яшка не смог бы улестить, если очень захочет.

Секрет простой: не уговаривай бабу на то, чего ей не надо, а только на то, чего она сама хочет, даже если о том не догадывается. А им всем от мужчины чего-то надо. Сердца или плоти, ласки или таски, чтоб защитил или чтоб, наоборот, дозволил себя защитить. Угадал, в чем потребность женки, – считай, твоя.

Взять нынешнюю приятельницу Яшкиного сердца, кормилицу вдову Пышату Мелентьевну. Женщина дородная, в большой телесной силе, настоящего новгородского нрава – никакой обиды не терпит, умеет за себя постоять. В позапрошлый год поругалась с другой вдовой, которая держала

такую же торговлю пухом-периной. Слово за слово, вцепились в волосья, пошло на кулачки – еле растащили. Но за оскорбление и поношение чести Пышата Мелентьевна пошла к судье, и тот, замучась разбираться, которая права, приговорил истицу с ответчицей к «полю» – биться на ристалище, пускай Бог рассудит. Бабы вышли в кольчугах и шеломах, махались палицами, и сбила Пышата врагиню с ног крепким ударом. Получила в удовлетворение полтину денег и славу на весь Славенский конец.

Шельма на том поединке был, воительницей восхитился и решил, что такая-то ему и нужна. В ту пору он только вернулся из треклятого Любека. Драный, голый, с волдырем на лбу, с незажившими еще синяками от Габриэлевых кулаков. Как раз подыскивал бабу, чтоб подселиться.

Вызнал, что за Пышата такая, ладно ли живет. Оказалось, свой дом у ней, двор, лавка на Торге.

Походил денек-другой за богатыршей, присмотрелся. Как по площади утицей плывет, как в церкви бьет земные поклоны – и сразу же понял горячую ее душу, голодную на щедрость.

Дальше было легко. Подошел будто бы подушку купить. Завел неторопливую беседу – о своих странствиях, о тяжких страданиях, и больше о последних, чем о первых, потому что женщины вроде Пышаты Мелентьевны не сильно любопытны, но очень жалостливы. Через полчаса слушательница ревела в три ручья, еще через малое время заперла лавку и повела мученика к себе домой, где он с тех пор и обретался, в сытости, чистоте и холе.

Как же с такой по-доброму не попрощаться? Может, еще вернуться судьба. Не навечно же Бог со своим поганым Габриэлем в Новгороде останутся.

– Собери-ка меня в малую дорогу, – сказал Яшка, входя в горницу, где Пышата как раз вынимала из печи противень с румяными, как она сама, пирогами. – Видение мне было, Гаврилы-архангела. Езжай, говорит, раб Божий, на богомолье в Печерскую обитель, не то беда случится с особой, какую любишь больше собственного живота.

– Что за беда, Шельмушка? – охнула Пышата. В ее ушах закачались эмалевые колтки, а пироги посыпались с противня на половик. К Яшкиным видениям она привыкла и верила в них бессомненно. Считала его ясновидящим, а что на самом деле значит «шельм», не ведала.

Сразу и заплакала:

– Помру? Захвораю?

– Захвораешь навряд ли, здоровье у тебя крепкое. А помереть можешь,

архангел врать не будет. Но я тебя своей молитвой спасу. Поспешить только надо. Лошадку мою запряги, рубаху сунь запаснью. И пирогов положить не забудь. Горько мне от тебя уезжать, Пышата Мелентьевна. Лучше тебя бабы нету. Потому и еду. Чернецом, схимником сделаюсь, но тебя вымолю. А коли будет мне новое видение, что ты в неопасении, – вернусь. Это как Бог даст. Ты надейся.

Вот как надо с женщиной расставаться. И обцеловала, и слезами умыла, а удерживать не стала. Вернешься к ней – вдвое любить будет. А если не судьба вернуться – останется у бабы дорогое воспоминание, которое она по гроб лелеять будет.

В недолгом времени вывел Яшка со двора лошадь с двумя дорожными сумами, махнул Пышате, чтоб не стояла у окошка, – дурная это примета, да и увидит, что он не налево, к Печерским воротам, а направо, к Московским поворачивает.

В сумах кроме пирогов лежали две штуки фланандского батиста, который на Москве идет в три цены против новгородской.

Повернул за угол – и встал, как заледеневши.

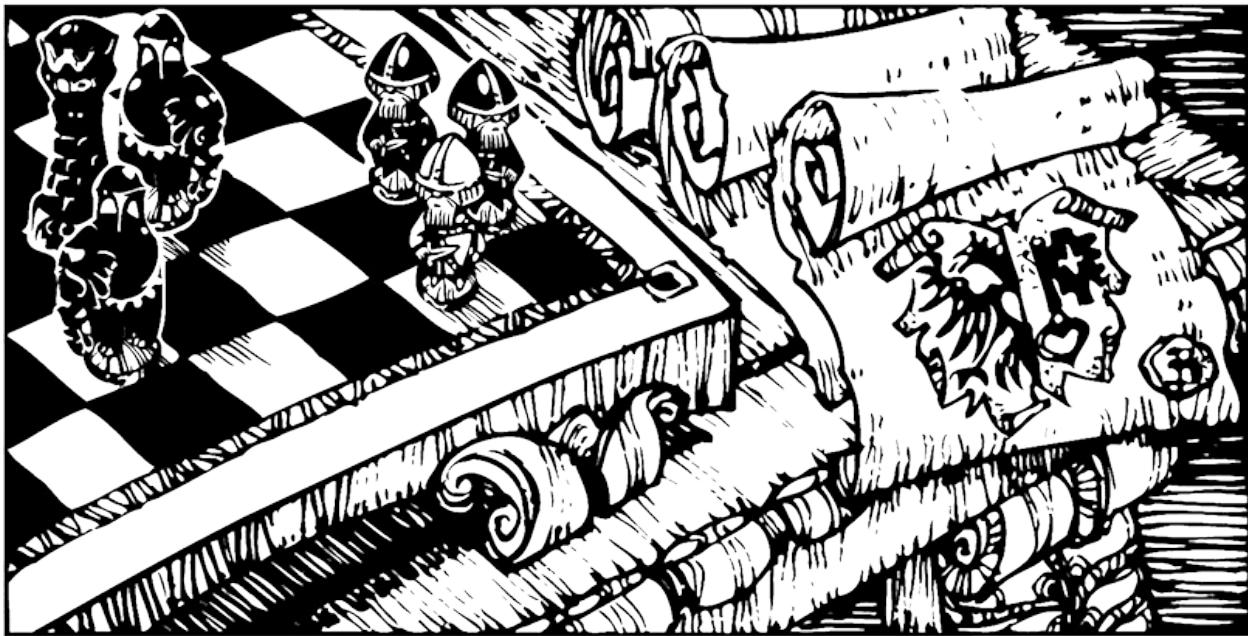
Там, прислонившись к забору, ждал страшный человек Габриэль, ростом с сажень. Свой красный колпак, прозванием «капушон», откинул на спину – тепло было, конец мая. На голом черепе, на неподвижной роже, на шее, на видной через распахнутый ворот груди рыжели мелкие веснушки.

– Комм, Шельм, – сказал Габриэль на своем корявом немецком. Он был родом не немец, а кто его знает кто. – Идем. Господин ждет.

Под свинцовым взглядом преужасного змея из Яшки разом вся сила – вон.



Поучение мудрого хитрому



Про взгляд Габриэля нужно особо сказать. Глаза у жути-нежити были круглые, белесые, немигающие, словно не человеческие, а рыбьи. Или нет, наоборот: когда они смотрели в упор, казалось, что это ты рыба, а он рыбник – приглядывается, как вырезать из тебя требуху и жабры. На поясе, тоже красном, у Бохова помощника всегда висел большой железный гребень с редкими зубьями, острыми и длинными. Что он им причесывал, непонятно, ибо никакой растительности на голове у него не было. Еще болтался широкий нож в красных же ножнах, и мясистая, чуть не с окорок рука, лежала на рукоятке, но не в угрозу, а просто так, для удобства. Яшка и без ножа поплелся за страшилищем, яко агнец на заклание.

Повели его Варяжской улицей к Немецкому подворью. Где ж еще ганзейскому купцу остановиться? Там и контора ихняя, и кирха, и склады-амбары. Мейстеры с подмастерьями и кнехтами, приезжие купцы с приказчиками тоже селились на просторном дворище, со всех сторон обнесенном стеной – чтоб не заражали своим басурманским зловонием и дурными обыкновениями русской жизни. А может, немцы когда-то сами отгородились. Никто этого не помнил, давно было.

Шельма не раз бывал на подворье, так что брел, по сторонам не пялился. Зловещий провожатый вел его мимо смешной немецкой бани, мимо пивоварни и мельни в самый красный угол – туда, где в высоком и

узком трехъярусном доме проживал альдерман, главный немецкий старшина. Видно, принимали здесь Боха как почетного гостя. Оно и неудивительно. Против такого человека и местный ганзейский альдерман невелика птица.

Еле волоча ноги поднялся Яшка по какой-то тесной лестнице, где солнце светило через цветные, об мелкую клетку, стекла, в горницу, по-немецки темную – всё резной дуб, да высокие стенные сундуки названием «шкапы».

– Этот к господину, – сказал Габриэль кнехту, стоявшему при высокой двери с ганзейским гербом. – Приказано.

– Пускай подождет, – был ответ. – У господина гость. Новгородский бургомайстер.

Поставили Шельму в угол, ожидать. А он ничего, не торопился на встречу. Хоть бы ее еще тысячу лет не было.

Габриэль его караулить не стал.

– Будь тут, – сказал. – Вызовут.

Да ушел.

И захотелось Яшке, конечно, сбежать. Он уже догадался, зачем его сюда приволокли. Из-за пешки!

У хера Боха была любимая игра, называется «шахи». Резные из слоновой кости фигурки на доске в черно-белый квадратик. Игра скучная, много в нее не выигрываешь, потому что не словчишь и удача не поможет. Купец в шахи сам с собой играл, когда о чем-нибудь размышлял, а размышлял он часто. И вот, когда Яшку в тот страшный день, обожженного и вопящего, тащили из хозяйствских покоев на позорное изгнание, а он за всё встречное руками хватался, попалась ему шаховая доска, и цапнул он с нее малую фигурку. В отместку. Чтоб напоследок хоть чем напакостить своему погубителю. Потом в плавании выменял у корабельного матроса на кусок окорока, жрать-то ведь надо.

Сбежать отсюда, из дубового чертога, было бы нетрудно. Вон она, лестница, вон он двор, и ворота нараспашку.

Останавливали три соображения.

Во-первых, коли Габриэль так его легко сыскал в чужом городе, еще вопрос – далеко ли убежишь. «Бургомайстер» – это, должно быть, сам новгородский посадник Онцифер Юрьевич. Не погордился явиться к приезжему купцу. Да что посадник? Когда в город Любек сам германский император император Каролус пожаловал, давал херу Боху личный аудиенциум. «Бох Кауфхоф» торгует всяkim редким, дорогим товаром для

первейших богатеев, великих князей и государей. Хозяин торгового дома всюду вхож, со всеми знаком. Попросит посадника – и вмиг сыщут раба божьего Яшку Шельму, из-под земли достанут.

Второе соображение было такое: поди докажи, что пешка Шельмой покрадена. Boeh – он порядок любит. Нет доказательства вины – нет и наказания, сам говорил. Можно будет напомнить.

Ну и третье – вроде глупое, но оно Яшку больше всего держало. Любопытно было поглядеть на любекского купчина. Иногда Шельма скучал по ихним вечерним беседам. И жалел, что на тот клятый сундук позарился.

Пока колебался, дунуть отсюда, нет ли, стало поздно. Из двери, прощаясь по-немецки, вышел пузом вперед статный Онцыфер Юрьевич, главный новгородский муж, протопал мимо, на склонившегося Яшку и не глянул.

Следом выплыл старый знакомец Boeh, заслонил своей чреватой особой весь проем. Поманил белым пальцем, будто только вчера расстались:

– А, Шельм. Заходи. Поговорим.

Побледнел Яшка, побрел.

Boeh, не дожидаясь, сел к столу, покрытому конторскими книгами и пергаментами. Показал на середку комнаты: встань здесь. Стал Шельму разглядывать.

Был Boeh старый, но при этом не стариk. Движения все неторопливые, плавные, голос негромкий, повадка мягкая. Всегда одетый в широкое, просторное, он и в помещении никогда не обнажал седой головы. Носил на ней черную бархатную шапочку «калотту», а сверху, бывало, еще и барет. В этом тоже имелся свой смысл. Если в одной калотте – значит, в добром настроении и склонен поговорить. Если в барете – лучше не суйся.



Сейчас Бох был в одной шапочке, и Яшку немного отпустило. К тому же долго терпеть молчание он не умел. Не выдержал, спросил:

– Как меня Габриэль сыскал, майнхер?
– Очень просто, – ответил Бох. У него всё всегда было «очень просто». – Я попросил наших ганзейцев узнать, в городе ли ты. Они узнали.

В самом деле, тайна объяснилась несложно. Новгородские немцы нюхающие, всё про здешнюю жизнь и местных жителей знают. А только зачем было интересоваться, в Новгороде ли Яшка? Что он за князь такой?

Но про это спрашивать было боязно. Опять же – Шельма похолодел – увидел, что на столе стоит шаховая доска с расставленными фигурками, и одна пешка там не костяная, а деревянная.

Ой!

Перекрестился Шельма:

– Ни в чем перед тобой больше не виноват, вот тебе крест святой! Если

что плохое про меня сказали – клевета!

Бох наморщил мягкий, круглый нос:

– Не клянись, не с дураком разговариваешь. – Поймал Яшкин взгляд, брошенный на доску. Пожал плечами. – Я тебя велел не из-за пешки найти. Пешка – пустяк. Деревяшку я даже полюбил. – Голос у него был не сердитый, а веселый. – Ты ведь стащил фигуру, чтоб я тебя вспоминал? Я и вспоминал. Видишь, мне вырезали человечка с круглой башкой и в ней дырочка?

Он протянул Яшке малую куколку. В самом деле: дырочка.

Бох засмеялся.

– Ты меня, я думаю, тоже не забыл.

И поглядел Шельме в середину лба. А потом, как часто бывало, заговорил совсем про иное, была у него такая неуютная привычка.

– Скажи-ка мне вот что. Ты, помнится, хвастался, что повсюду бывал. В ордынской столице доводилось?

– В Сарае-то? – удивился нежданному повороту Яшка. – Троежды. Живал подолгу.

– Язык татарский знаешь?

– Как русский.

Бох сам себе кивнул, довольный.

– А в Литве?

– Раз сто. И язык ихний знаю.

– А дорогу от Новгорода до Сарая, чтоб через Литву, знаешь?

– Дорог много. Я разными хаживал.

– Тогда у меня есть к тебе предложение. Поступай ко мне снова на службу, временную. Я еду в Сарай. Мне нужен провожатый, кто не только хорошо знает путь, но и хорошо знает мои привычки – что я люблю и чего не люблю. Скучно обучать нового человека. Доставишь меня и мой маленький караван до места – получишь двадцать золотых дукатов.

Под настроение Бох бывал разговорчив и мог подолгу рассуждать о какой-нибудь необязательной умности, но о деле всегда говорил коротко и точно.

Яшка был ошарашен. Не большущими деньгами, на которые можно припеваючи жить два или три года, а тем, что Бох зовет на службу. После того, что меж ними было!

Но сначала спросил не про это:

– А зачем тебе в Орду? Времена в Степи неспокойны. Все говорят, война большая будет.

– Потому и еду, чтобы большой войны не было, а обошлось

маленькой. – Немец закончил разглядывать Шельму. Верно, высмотрел всё, что ему было нужно. Подпер рукой толстую щеку, махнул рукой на малую скамейку со звериными лапами. – Садись, Йашка. Разговор будет долгий.

* * *

И началась у них беседа, как в старые времена, когда сиживали по вечерам у Боха в его библиотеке, то есть книжной комнате, и говорили о всякой всячине: бывало, хозяин что-то рассказывал, а бывало, что и Шельма. Слушать купец умел не хуже, чем слова плести. Эх, хорошая была пора.

– Все говорят, что на свете борются две силы, но понимают их по-разному, – так начал Бох. – Отцы церкви утверждают, что это Бог и Дьявол. Философы – что Добро и Зло. А я смотрю на жизнь со своей купеческой точки и ясно вижу, что силы эти зовутся Торговля и Война. Когда в мире правит Война, он превращается в ад. Нет законов, покоя, доброты, понимания, созидания. Лишь разрушение, разорение, глумление, страдание, голод и смерть. Если же правит Торговля, жизнь не становится раем, но делается сносной и разумной. Пропадают голод и нищета, расцветает строительство, люди не вгрызаются друг другу в глотку, а предпочитают договариваться. Товары и новшества свободно перемещаются из края в край земли. Всё время изобретается что-то новое. Человеки работают и шевелят мозгами, думая, как бы добить побольше денег. Ибо деньги, Йашка, – производное от ума и трудолюбия. Тут чего-то одного недостаточно, нужны оба ингредиенса.

Здесь по Шельминому лицу, должно быть, прошло некое движение. Бох погрозил пальцем, сбился со своей проповеди:

– Хитростью добыть денег, конечно, можно, но не очень много и ненадолго. Если ты этого еще не понял, загляни в зеркало.

– Понял, понял, – быстро молвил Яшка. – Я чего? Сижу, слушаю.

– Вот и слушай. Торговля подобна кроветоку. Она перегоняет товары и знания меж членами и органами тела, имя которому Человечество. Война лишь попусту проливает кровь Людного Мира, Торговля же качает ее и насыщает. Знаешь, что такое Добро и Зло?

Шельма помотал головой. Ему о таких вещах задумываться не доводилось.

– Это очень просто. Добро – всё, что во благо Торговле. Зло – всё, что ей во вред и на пользу Войне. Согласен?

Яшка кивнул. Войну он тоже сильно не любил.

– А теперь гляди, что творится на земле в сей год, по вашему русскому летоисчислению от сотворения мира 6888-ой.

Бох пододвинул ближе доску, смел рукавом фигуры.

– Вот здесь, на самом западе Европы... – Поставил в уголок двух малых пехотинцев, черных. – ...Англичане враждуют с французами, а германские княжества грызутся друг с другом. – Поставил белую пешку. – Итальянцы меж тем работают, богатеют, производят много хороших товаров. Но весь этот угол, Шельм, большой важности не имеет. Видишь, я поставил сюда одних пешек. Знаешь почему? Потому что настоящая сила не на Западе, а на Востоке. – Купец взял всех царей с царицами, расположил кучкой на противоположном конце доски. – Всё главное там – в Китае, в Индии: многолюдство, богатство, завидный товар, ученые открытия. Когда Торговля обеспечивает свободное обращение крови меж Востоком и Западом, древо Человечества растет и зеленеет. Артерий три. Одна – через Египет и Святую Землю, но сейчас этот путь перекрыт мамелюками, которым пиратствовать выгоднее, чем торговать. Другая шла через Византию, однако ныне обрезана турецкими варварами – османами. С ними сговориться невозможно, они люди Войны и поумнеют еще нескоро. До недавнего времени Восток с Западом торговали по третьей дороге – через Великую Степь и Золотую Орду. Так товары попадали в Крым, в Новгород, в Литву, а оттуда и дальше. Но и здесь собираются тучи.

Бох со стуком впечатал в середину доски одну за другой три фигуры: черную башню и двух черных слонов.

– Тут расположены три могущественных татарских королевства. В Самарканде правит грозный эрцгерцог Тамерлан. Золотая Орда разделилась на две державы – Синюю Орду и Белую Орду. В первой сидит воинственный король Тохтермиш, во второй – канцлер фон Мамай, правящий от имени юного короля Магомет-Булака.

Бох коверкал татарские имена на немецкий лад, и Яшка не сразу понял, что Тамерлан – это самаркандский эмир Тимур-Ленг, «Тохтермиш» – хан Тохтамыш, «канцлер фон Мамай» – сарайский беклярбек (то бишь главный воевода) Мамай, а «Магомет-Булак» – тамошний же хан Мухаммед-Булак, Мамаев воспитанник.

– Все эти три potentата ненавидят друг друга и готовятся к войне. А войска у каждого больше, чем у всех европейских государей вместе взятых. Когда в Великой Степи начнется великая бойня, торговле с Востоком наступит конец. И надолго.

– А у нас про татарскую вражду не говорят, – удивился Яшка. –

Только, что будет война меж Москвой и Мамаем.

Купец пренебрежительно скривил сочный рот:

— Это война малая, важности она не имеет. Сколько понадобится канцлеру фон Мамаю, чтобы привести в покорность московского эрцгерцога Димитра? Два месяца? Три? Не больше.

— Как сказать, — усомнился Шельма. — За великим князем Дмитрием Ивановичем, почитай, вся Русь. Ну, или почти вся, — добавил он, вспомнив, что новгородцы с тверичами решили против Орды не ходить, а Рязань с Москвой в ссоре. Многие на Руси только рады будут, если Мамай с москвичей спесь собьет. Больно властен и алчен великий князь московский. В Новгороде его больше, чем татар боятся. Опять же татаре далеко, а Москва — вот она.

— Что такое «Русь»? — Бок пожал плечами. — Не страна, одно название. Вроде Германии. Князьки рвут друг у друга куски, сосед для них хуже татарина. А в Степи правят по-настоящему великие государи. Начнут между собой воевать — нескоро закончат. Затем я и еду в Сарай, чтобы не допустить большой войны. Еще хочу учредить свою торговую контору на полпути между Востоком и Западом — в Хорезме или в Самарканде. Сам знаешь, дорога из Европы в Китай занимает девять месяцев. Но если открыть собственное отделение на половине пути, выйдет огромная выгода. Отсюда, из Новгорода, до Саarya можно добраться с товаром за два месяца. И еще за сорок дней в Хорезм. А там уж будут ждать на складах товары, доставленные из Китая и Индии. Шелк, пряности, благовония, драгоценные камни, ароматный сандал, — мечтательно произнес купец, и его голубые глазки замаслились. — А мы бы привозили с запада фламандские ткани, цветные кожи, янтарь. Индийцам теплых одежд не надо, а вот китайские вельможи охотно покупали бы русские меха... Все бы работали, все бы богатели, все бы учились друг у друга ценному.

— Не пойму я что-то. — Яшка почесал затылок. — Хорезм у Тимур-Ленга, Тамерлана по-вашему. А ты едешь в Сарай, к Мамаю. Пошто?

— Так надо, — коротко ответил Бок. — Везу канцлеру заказной товар. Какой — тебе пока знать незачем. После сам увидишь... Ну что, послужишь мне? Проведешь мой караван? Только учти: из новгородских владений мы повернем в Литву, а потом проследуем через земли Рязанского герцогства. Москву обойдем, мне ее не надобно.

Шельма и сам Москву недолюбливал — как и положено настоящему новгородцу, жителю самого большого, свободного и богатого города на Руси. Москва, конечно, тоже мясиста, но там предприимчивому человеку настоящей воли нет. Захочет великокняжий слуга тебя прижать, и не

пикнешь. А в Новгороде попробуй-ка, власть, подури: враз в вечевой колокол ударят.

– Через Москву ближе выйдет, – всё же сказал Яшка, уже рассчитывая путь, хотя сомнение, наниматься ли к Боху на службу, у него пока оставалось.

– Ближе не всегда значит короче. – Купец провел пальцем по бороде, будто собирался полакомиться вкусным. Так он делал, готовясь что-нибудь рассказать, и Яшка уселся поудобнее. Сказы у Боха были занятные.

– ...Однажды был у меня партнер, некий Готлиб из Бремена. Собрали мы с ним большой караван в Персию: шерстяные и льняные сукна, узорчатые сапоги, конскую сбрую и серебряные слитки, которые тогда в Европе были дешевы. Добрались до Адриатики, а там заспорили. Готлиб хотел взять корабль и плыть прямо в Сирию, откуда до Персии близко. Он говорил: через полтора месяца на месте будем. Я ему в ответ: пиратов много, давай лучше сушей. Но мой компаньон ни в какую. Без риска, мол, большой прибыли не бывает. Поделили мы с ним товары, и поплыл он ближней дорогой, а я отправился дальней – через Сербию, Византию, Малую Азию. Тогда это еще можно было. Полгода добирался я до Персии. Беспокоился, что бывший партнер мне все цены собьет. Однако Готлиб не попал в Персию. Его схватили египетские пираты, весь груз отобрали, а самого продали в рабство в Алжир. Оттуда я выкупил беднягу только через четыре года. Нищего и к тому же осколенного, ибо он попал на службу в гарем. Понял, Шельм, к чему мой рассказ?

– К тому что Москва с Мамаем не ладит, и если ты напрямки поедешь, можешь без всего остаться. Отберет Дмитрий Московский твой товар, да еще оторвет тебе то же, что алжирцы Готлибу.

– Не жалко, оно мне без надобности, – засмеялся старый купец. – Товар жальче, но и не в товаре дело. Жалко великих планов. Однако суть ты ухватил правильно. За сметку тебя и ценю.

Вот теперь настало самое время спросить о том, из-за чего Яшка пребывал в колебании.

– Даже после того, что в Любеке было?

– Именно из-за того, что было в Любеке. Ты шельма, но ты не дурак. Знаешь, что со мной щутки щутить не стоит. Второй раз не дерзнешь. Верно? – И опять со значением поглядел на лоб с отметиной.

– Да я раньше сдохну, чем попробую твою милость обмануть! – вскочил с сиденья Яшка.

– Наоборот, – добродушно молвил Бох. – Сначала попробуешь, а сдохнешь потом. И наверняка. Я редко кому даю второй шанс, а третий –

никому и никогда. Так что ценю я тебя не только за сметку, но и за полную между нами очевидность. Ты шельма, я это знаю. И ты знаешь, что я знаю, что ты шельма. Значит, мы не можем ввести друг друга в заблуждение. А еще ты знаешь, что я умею наказывать. И умею находить тех, кто мне нужен, где бы они ни были. Еще не бывало человека, который мог бы от меня спрятаться, если я его ищу.

— Твоя правда, — склонил голову Яшка.

Дурак он был, что позарился на те дукаты. Умный человек должен соображать, с кем связывается.

Вдруг сделалось ему легко и радостно. Представил долгую дорогу в Сарай, да с таким сотоварищем, да за щедрую плату.

— Говорить с тобой будем, когда ты барет снимаешь? — спросил Шельма. — Как тогда, в Любеке?

Засмеялся Бок:

— Будем. По правде говоря, я тебя и из-за этого беру. Слуги мои честны и мне преданны, но с ними об интересном не поболтаешь. Скучал я по тебе, русский плут. Ну что, мир и старое позабыто?

Скрепили договор рукопожатием.



Слово о дальних странствиях



И уж Яшка расстарался. Знал, чем хозяину угодить.

Хозяин не должен видеть, как подручный человек хлопочет и обустраивает мелочи. Будто всё своим хотением образовывается, и дорогаматушка сама под ноги ковром стелится.

Выдал купец Шельме мошну серебра на расходы. Чтоб нанял охрану, закупил пропитание, овса для лошадей и прочего, по потребности. Дал сроку неделю.

Через три дня Яшка предстал перед господином, скромно-благостный. Сказал: «Коли твоей милости угодно, можно хоть завтра в путь». И мошну протягивает.

Купец седые брови сдвинул, пересчитал серебро – изумился. Денег не меньше, а больше стало.

– Как это понимать? – говорит. – Тебе было дادено две тысячи серебряных грошей, а тут две с половиной. Одна охрана, полсотни воинов, мне сказывали, в пятьсот, если не в семьсот встанет.

– Очень просто, – дозволил себе Яшка спересмешничать любимую присказку немчина, однако без ухмылки, а почтительно. – На охрану тратиться ни к чему. Новгородские земли спокойные. Если и попадется ватага разбойников, то невеликая. Литовцы ганзейского каравана не тронут, им себе дороже с вами ссориться. Рязанское княжество мы краешком

пройдем, пустыми полями. Там не живет никто, лихих людей нету. А дальше татарская степь, в ней никто озоровать не смеет. Мамай не дозволяет.

– Но почему денег стало больше?

– Потому что я лошадей с повозками продал. Не нужны они нам.

– Как так?!

– Мы реками поплыvем, оно чище и приятней. А понадобится сушей везти – новые возы на месте купим. Много дешевле выйдет, чем в Новгороде.

Повел Шельма купца на волховскую пристань, а там уж стоит, покачивается крепкий насад, нанятый у знакомого корабельщика вместе с тягальщиками-булаками. Немецкий груз для Саая лежал в чреве судна: четыре зашитые в рогожу, опечатанные сургучом штуковины вроде недлинных бревен, сильно тяжелые – кнехты каждую вчетвером тащили, да несколько небольших бочонков, непонятно с чем, но довольно легких. Очень Шельме было любопытно, что за товар такой, прямо голову сломал. «Бох Кауфхоф» торговал вещами дорогими и редкими, какие надобны знатным особам. В бочатах могли быть засахаренные плоды-ягоды, немцы искусно готовят это драгоценное лакомство. Но в рогожах-то что? Ничего кроме статуй, какими дворцы и храмы украшают, Яшке на ум не приходило. Когда при ударе о причал свертки лязнули, Шельма понял, что угадал: медные либо бронзовые фигуры – во украшение ханских чертогов, вот что это такое.

Бох обошел корабль от носа до кормы и сверху донизу, остался очень доволен, а более всего оценил Яшкину заботу о хозяйствском удобстве. Зная привычки немца, Шельма велел поставить на палубе шатер. Пожелаешь – верх откидывается, и можно на звезды смотреть, Бох это любил. Внутри мягкие подушки – лежать, кресло – сидеть, столик для писания.

– Молодец, не ошибся я в тебе, – молвил купчина. – Завтра с утра поплыvем.

Поплыли.

От Нова-города вверх по Мсте; у волока разгрузились, и булаки обратились волочильщиками, дотащили насад до Волги, невеликой речки. Там Шельма новгородскую артель рассчитал, потому что до самой Ржевы плыть было всё вниз по течению.

В городе Зубцове надо было поворачивать – дальше начиналась Тверь, куда заплывать незачем. Тверичи новгородцев не любят и после недавней войны к себе непускают.

Наняли новых бурлаков, тянуться вверх по реке Вазузе до Вязьмы, литовского городка. Оттуда, через литовскую же Калугу, надо было доплыть до города Одоева, а дальше водный путь заканчивался и начинался сухопутный.

Речное путешествие шло гладко и покойно – за исключением одной жуткой жути, о чем сказ впереди.

Днем Бох играл сам с собой в шахи, или щелкал на абакусе, записывал цифирь, или просто смотрел на берега и реку, надев свой барет, и это означало, что подходить к нему нельзя – думает, а о чем – поди знай. Ночью, если звездная, немец подолгу глядел в небо через медную трубку. Зачем – опять непонятно.

Но если у купца на седой голове была одна бархатная калотта, а сам он не писал и не двигал по доске фигуры, Яшка смело к нему подходил и заводил беседу, это не возбранялось. Иногда, правда, посреди увлекательного разговора, Бох вдруг становился рассеян и лез в мантельташ за грифельком. Мантельташ – это у немцев такой лоскут, пришиваемый поверх плаща-мантоля, навроде малой сумки. У хозяина в том хранилище лежали мелкие полезные вещицы: печатка – к письму прикладывать, книжечка для цифри, грифель чем в книжечке писать и складной ножик чем острить грифель. Если Бох начинал калякать по бумаге, Яшка сразу отходил. Знал: сейчас господин и барет нацепит.

Тогда Шельма отправлялся к кнехтам, чесал языки с ними. Не больно-то увлекательные выходили беседы, но молча Яшка существовать не умел – если, конечно, не был занят делом.

Единственный, с кем он никогда не заговаривал и даже близко не подходил, был страшный Габриэль. К нему и немцы не совались, боялись.



А ужасному человеку, кажется, никто был и не нужен. Он обычно сидел на борту, свесив наружу ножищи в красных сапогах, и делал одно из двух: либо почесывался в разных местах, прежде всего по плешивой макухе, своим редкозубым железным гребнем – вот, оказывается, для чего висел на поясе сей предмет (так, во всяком случае, думал Яшка, пока не случилась жуткая жуть, про которую уже скоро); либо же вымастыривал нечто более удивительное – широким ножом с невероятной искусствостью вырезал цветы из всякой снеди. Годились ему и яблоко, и свекла, и репа, и морковина – что угодно. Мог и слепить цветок – например, из хлеба или

мягкого немецкого сыра. Розы, ромашки, толипаны, лилии выходили из костлявых пальцев будто живые, и даже краше, чем живые. Но заканчивалось всегда одинаково. Габриэль долго вертел готовый цветок, разглядывал что-то, подправлял, а потом, налюбовавшись, сжирал. Глядеть на это было тошно – Яшка отворачивался.

Однажды, когда Бах был в разговорчивом настроении, Шельма набрался смелости и спросил: отчего это Габриэль такую красоту жрет, не сохраняет?

– Я думал про это, – ответил купец. – И вот что мне кажется. Габриэль страшный, правда?

– Бррр, – подтвердил Яшка.

– Самые страшные люди – те, кто не находит в жизни ничего достойного и красивого. Им ничего и никого не жалко, от этого они безжалостны. Но красоту они тоже чувствуют и тоскуют по ней сильнее, чем остальные. Габриэль делает красоту своими пальцами, потому что не находит ее вокруг.

Шельма подумал-подумал – развел руками:

– Чего-то я не понял.

– Может, я всё это напридумывал. – Бах задумчиво погладил бороду. – Я люблю придумывать. Почему бы тебе не спросить у Габриэля самому?

Яшка поежился. Купец же засмеялся, он нынче был весел и словоохотлив.

– Рассказать, как я взял его на службу? Ну, слушай… Был я по делам в Константинополе и однажды увидел, как у городской стены рубят головы захваченным арабским пиратам. Осужденных преступников было не меньше тридцати, а палач всего один, но в своем жестоком ремесле великий мастер. Мне нравится наблюдать за теми, кто красиво делает свое дело, даже такое страшное. Палач двигался легко, точно и изящно, будто королевский танцовщик. Головы слетали с плеч и сами откатывались в положенное место; кровь била струями, но ни одна капля не попадала на белоснежное одеяние палача. Должен сказать, что на казнь Габриэль всегда переодевался из красного в белое.

– Так вот он кто. Кат! – ахнул Шельма, с ужасом и отвращением оглянувшись на Габриэля, хрупающего несказанной красоты розу, которая была вырезана из большой луковицы.

– Да. Он служил главным палачом в константинопольском Санктории, ведомстве казней и пыток. Чем древнее страна, тем изощренней там истязают и умерщвляют людей. А Византии уже тысяча лет, ее палачи славятся как на Востоке, так и на Западе. Габриэль был лучшим из них.

Никто не умеет убивать искуснее. Поэтому я переманил его из Санктория.

– А зачем тебе слуга, который искусен в убийстве? – боязливо спросил Яшка.

– В мире без убийств нельзя. Так не лучше ли, если это делается искусно? Габриэль хорош еще и тем, что убивает безо всякой злобы – как дровосек, срубающий дерево.

Черт знает, кто из вас страшнее – ты или твой аспид, подумал Шельма, слушая рассудительный голос Бока. А тот еще не наговорился.

– Знаешь, когда я окончательно решил забрать его с собой? Спросил у начальника Санктория, как Габриэль ведет допрос, какие применяет пытки. Я очень не люблю тех, кто упивается мучительством. Убивать – одно дело, на этом держится вся природа. Терзать беззащитную жертву – совсем другое, придуманное негодяями. Начальник Санктория сказал: «Мой старший мастер редко использует клещи и сверла. Он просто берет за плечи, смотрит в лицо, и человек сразу рассказывает всю подноготную. Допрос проходит быстро и чисто. У Габриэля такие глаза, что я и сам стараюсь не встречаться с ним взглядом».

И Яшка вспомнил, как в страшный день прижигания клеймом хотел скакнуть в окно и даже было вырвался из цепких лап Габриэля – но оглянулся на чудище и окоченел, замороженный ледяным взглядом.

Тряхнул плечами, прогоняя скверную картину. Спросил про интересное:

– Ты переманил его у греков? Посулил больше денег? Сколько?

– Габриэль равнодушен к деньгам. Ему нужно, чтобы говорили, кого убивать, а в остальное время не мешали делать съедобные цветы. Душа этого существа таинственна. Про себя я называю его «Раб красоты». Ты спрашивал, зачем он ест цветы. Попробую объяснить еще раз. Истинный ценитель красоты знает: по-настоящему прекрасно лишь то, что недолговечно. Подлинная красота – то, что принадлежит тебе одному. Многие уверены: сделать что-то своей безраздельной собственностью можно, лишь поглотив предмет вожделения без остатка. Когда Габриэль съедает красоту, она навсегда остается с ним. Поглощение – высшая форма собственности.

Замудрился ты что-то, дядя, подумал Яшка. Собственность – то, что можно продать. А съеденное продашь разве что золотарям, которые деръмо из выгребных ям покупают и на удобрение возят.

– Как же ты переманил его, если не деньгами?

– Очень просто. Дал ему посмотреть мне в глаза и не отвел взгляда.

– И всё?

— А ты попробуй. Палач прежде не встречал людей, которые его не боятся. Мы с ним довольны друг другом. Я ему говорю, что делать. Он исполняет, в точности. Уговор такой: убивать только по моему приказу, а больше никого не трогать.

* * *

Скоро после этой памятной беседы и случилась жуткая жуть, про которую уже говорено.

Было это на литовской реке, название которой Яшка позабыл. В лесном kraю где-то между Воротынском и Козельском.

Бурлаки тянули насад против сильного течения, медленно. Пели натужные песни невыносимой тоскливости.

Заводил старшой, мужик жилистый и нудный. Такие же у него были и запевки.

«Ай, тянитесь, навалитесь, ай тянитесь, навалитесь» — раз с тысячу, пока не придумает новое, не лучше старого. То какая-то «дубинушка-кровинушка», то «ухнем-разухнем». Надоел — мочи нет.

И позвал купец Яшку пройтись по берегу — не по тому, где тягальщики орали, а по противоположному. Там хоть поговорить было можно.

Шли в тенечке, по шелковой июньской траве-мураве, говорили о разных разностях. Сзади топал Габриэль, чесался на ходу своим железным гребнем: весь красный, поджарый, перетянутый поперек чресел широким кожаным поясом такого же красного цвета. Бах даже спросил, не сильно ль затянулся, не тugo ли ему, — вот какой заботливый к своему страшилищу. Габриэль только похлопал себя по брюху: ничего, мол. Яшка никогда не видел, чтоб душегуб снимал тот пояс, либо куртку, либо сапоги — даже на палубе в жаркий день. Самое большее — колпак с голой веснушчатой башки откинет. И не потел никогда, дьявол.

Шествовали они так бережком через кусты-деревья, и вдруг в укромном, не видном с реки месте, выскочили на гуляющих сбродники, семеро.

Сбродники — это разбойники, хуже которых нету. Разбойники, конечно, все волки, но за годы странствий и блужданий Шельма научился разбираться в лесных, степных и городских хищниках. Есть новгородские ушкуйники, которые почти что и не разбойники, а просто лихие люди. С ними всегда договориться можно. Есть лесовики — это беглые боярские холопы, их только дурак не обдурит. Есть отбившиеся от своих татары, с

которыми надо своим братом татарином прикинуться. Еще бывают польские, московские и литовские дезертиры. Они люди военные, их можно за собой на какое-нибудь прибыльное дело повести, а по дороге сбежать. Каких только татей Яшка за свою жизнь не убивал. Гибкий язык – оружие понадежней сабли. На железное-то оружие Шельма никогда не полагался, даже и не носил его. Если не выручит ум, все равно быстрые ноги надежней, чем сильные руки.

Но со сбродниками не договоришься. То злодеи совсем гибкие, кто сначала убивает, а потом уже грабит.

Эти вот вылетели из зарослей с ножами-дубинами. Ощеренные, молча. И Яшка сразу понял: сбродники!

Успел все-таки схватить купца за руку, потащил назад, сам закричал сразу по-русски, по-литовски и по-татарски: мол, не убивайте, откупимся. От таких слов всякий приличный разбойник остановится. Спросит: чем откупаться будете? Эти же будто и не слышали.

Догнали бы они Яшку с немцем, положили бы на месте, но Габриэль оттолкнул бегущих к толстому дубу, сам встал впереди, грозно положив руки на пояс. И сбродники на саженного верзилу с разбега не кинулись – обступили полукругом. Увидели, что теперь путники никуда не денутся.

Шельма немного ободрился. Попробовал сказать про откупное еще на нескольких языках. Однако сбродники были совсем дикие, звериного образа. Черт знает, откуда их занесло в эти леса. Ни по-русски, ни по-татарски, ни по-литовски, ни по-польски, ни по-валашски не понимали.

Таких страшных Яшке встречать не доводилось.

Были они смуглые, кудрявые, черноглазые, у каждого в ухе железная серьга. Серьга-то ладно. У самого здоровенного, видимо главаря, вместо пояса была повязана длинная девичья коса, русая, и к концу присохло что-то бурое – видно, резал с головы прямо с кожей. У другого, широкого, на плече лежала секира, к лезвию которой присохло серое, багровое – глядеть страшно. Не иначе малое время назад мозги кому-то выплеснули. Еще был один с ожерельем на шее, вроде как связка сушеных волнушек. Яшка присмотрелся – матушки мои, это ж уши человечьи!

Все разбойники были косматые, заросшие густой черной бородищей до самых глаз – кроме одного, совсем еще парнишки – голомордого, с птичьим носом.

Сбродники глядели на Габриэля, который был на полголовы выше их вожака. Видно, примеривались, как его свалить. Боха и Шельму не опасались, даже не глядели.

– Беда, хозяин, – шепнул Яшка. – Давай хором шумнем, кнехтов

позовем. Может, успеют...

Но сам видел: нет, не успеют кнехты. Пока насад к этому берегу причалит, пока высадятся, будут валяться в кустарнике лишь нагие трупы.

– Не надо, – спокойно ответил Бох, приглядываясь к разбойникам. – Габриэль справится.

– Да их семеро!

– А хоть бы семижды семеро... – И тронул за плечо своего подручника. – Габриэль, можно! Кроме мальчишки.

Длинная и проворная фигура пришла в движение.

Руки оторвались от пояса. В одной был широкий нож, в другой взятый за рукоять гребень. Прыгнув вперед, Габриэль, будто играя, небрежно качнулся вправо – самым кончиком клинка рассек горло атаману; качнулся влево – воткнул острую чесалку прямо в кадык разбойнику со связкой мертвых ушей.

Присел, увернувшись от секиры.

Поймал меж железных зубьев лезвие тесака.

Распрямился.

Разом, одновременно, вонзил татю с секирой в сердце нож, татю с тесаком кровавый гребень в живот. Вывернул. Локтем сшиб наземь подростка – тот повалился ничком и не встал.

Всё это произошло, пока Яшка разевал рот и набирал воздуха, чтобы заорать. А когда завопил, дело уже закончилось. Остатные два сбродника бросились наутек, но убежали недалеко. Габриэль – раз, два – кинул им вслед свои железки, те угодили обоим точнехонько в основание затылка.

– А-а-а-а!!! – закричалось, наконец, Шельме, да можно было уже и не надрываться.

Семь тел лежали на траве неподвижно, Габриэль прохаживался между ними, согибался, проверял, мертв ли.

Мальчишку, оглушенного, но живого взял за порты и ворот, поднял, показал Боху.

– Зашвырни его подальше, – велел немец и зажал Яшке толстой ладонью рот. – А ты перестань драть глотку. Ухо заложило.

Великан размахнулся, кинул отрока так, что тот с грохотом обрушился на куст колючего терновника. Заорал, вскочил, понесся со всех ног.

Шельма стоял, икал от ужаса. А Боху хоть бы что. Даже в лице не переменился. Доблестному спасителю Габриэлю и спасибо не сказал, лишь указал перстом:

– Пояс поправь. Расстегнулся. – И молвил как бы сам себе: – Может, зря волчонка отпустил... Ладно, пускай побегает. Что-то живое было в

глазах... А если я ошибся, он от судьбы все равно не уйдет. Что? – обернулся к Яшке.

А тот ничего, просто икнул громче прежнего. Однако сказал:

– Милосердный ты, майнхер. Оставил постреленку жизнь.

Бох поморщился.

– Я не милосердный. Есть люди, которых грех не лишить жизни. Например, эти шестеро законченных негодяев. Плох садовник, который не станет вырывать сорняки, потому что они живые.

– Так оно так, – молвил Шельма, косясь на покойников. – Но в Писании-то сказано: «Не убий».

– Мало ли что сказочники понапишут, – усмехнулся Бох.

– Сказочники? – поразился Яшка на кощунство из уст почтенного человека.

– А кто еще? Не хер же Саваоф.

И купец засмеялся.

Вот какой страх случился во время речного путешествия. А больше никаких злоключений, слава Господу, не было.

* * *

В городке Одоеве плавная водяная жизнь закончилась и началась ухабистая, колесная. Но и она Шельмиными стараниями оказалась для хозяина не слишком страдной.

Когда корабль прибыл к месту пересадки, путешественников уже ждали лошади с повозками. Яшкин знакомец, тележный мастер Мосей-Мустафа, из крещеных татар, изготовил всё в лучшем виде, согласно записке, которую Шельма отправил еще из Торжка, – как раз из Новгорода в Рязань скакал гонец и взял бересту за малую плату.

Для купца Мустафа построил настоящую кутарму, удобней которой для степной езды не бывает. Это крытая кибитка на широких колесах, в несколько слоев покрытых кожей особого дубления. Движется не быстро, но мягко, а на дне, один поверх другого, пять пуховых тюфяков. Ни тебе тряски, ни грохота; дождь, зной и ветер тоже ни почем. Бох уселся – только языком поцокал: ай да Йашка, ай да молодец.

Другая повозка была обычна, для мелкой поклажи. Третья – двойной крепости, предназначенная для железных труб.

Дело в том, что загадку про рогожные свертки Шельма давно

разрешил, еще в самом начале путешествия. Кнехтам, видно, велели держать язык за зубами, и на прямой вопрос про груз никто из них не отвечал, но Яшке ихних ответов было и не нужно.

Имелось у него среди разных нужных умений одно несказанно полезное, отточенное еще в детстве: способность слышать, что люди говорят самым шепотом или на изрядном расстоянии.

...Это в цыплячьем еще возрасте кормился Яшка при одном барышнике с Торга, слухачом. В слухачи нанимали мальчишек ростом поменьше, умом побойчее. Серьезная сделка, она не быстро заключается. Стороны сходятся, расходятся пошушукаться со своими, сговариваются, как покупателя либо продавца надуть. А неподалеку вертится-играется малый мальчионка, воробышек божий, никто на него и не смотрит. Это и есть слухач. Подслушает – и к хозяину. Однако если догадаются, беда. Уши выкрутят, подзатыльников надают. Маленький Яшка уховертов и тумаков не любил, вот и научился издали по губам читать, не хуже, чем подслушивать. Потом много раз в жизни пригоджалось. Так же, как кошачий дар видеть в темноте. Но это уже из иных времен, когда по ночам водил купцов в обход мытных караулов, чтоб пошлину не платить. Ох, лихая была работа! Как-то раз на Неве-реке...

Но нет, на это сейчас нечего отвлекаться. Речь-то была про кнехтов.

Подглядел Шельма издалека, о чем они между собой шепчутся, и не сразу, а день этак на третий-четвертый разгадал Бохову тайну. Скумекал бы и раньше, да два слова были незнакомые: «трайбладунг» и «бомбаста».

Но потихоньку заглянул в бочонок, поскреб под рогожей, поподслушивал еще – и стало ясно.

Бомбаста – это какая-то новая пушка. То есть пушки – они все новые, появились недавно, на Руси их еще не видывали. Но эти какие-то вовсе небывалые, из литого железа, а потому легче бронзовых. Палят они чугунным ломом либо просто камнями, далеко и сильно. А трайбладунг – это по-нашему прах, горючая пыль, без которой никакая пушка стрелять не захочет. И вот, стало быть, Бох невиданные трубы вез в татарский Сарай.

Очень это показалось Яшке удивительно. Такой большой человек, а из-за четырех железных чушек потащился на край света.

Где-то в рязанской уже земле, ехали они вдоль Дона, а на той стороне было широкое поле, над которым летало множество голенастых серых птиц с длинным клювом. Бох был в хорошем расположении, и Шельма насмелился спросить: зачем-де везешь пушки Мамаю, майнхер? Сам знаешь, я не дурак и твою тайну давно исчислил.

Бох не удивился.

– Мои бомбасты помогут канцлеру фон Мамаю взять верх над королем Тохтермишем. Купеческий совет Ганзы решил, что для торговли так будет лучше... Что это за птицы над полем летают?

– Кулики. Они по болотам и речным берегам живут, – ответил Яшка городскому человеку. Сам подумал: как это бомбасты помогут одному татарскому владыке одолеть другого? У них каждого по несколько туменов войска – силища, а тут какие-то четыре дуры.

– А почему везем тайно? Зачем Москву объезжаем?

– Неужто не понятно? У московского эрцгерцога Димитра в Новгороде всюду глаза и уши. Прознали бы – перехватили по дороге. Разве эрцгерцогу нужно, чтобы Мамай усилился? – Немец поглядел вокруг, пробормотал: – Вассершнепфе-фельд.

По-немецки это значило «Поле куликов». Дались ему кулики эти.

– Ну, теперь сторожиться нечего, – успокоил хозяина Шельма. – Московским здесь взяться неоткуда. Ордынская степь близко. К завтрему докатим.



Чудо о волшебной змее



Докатить-то докатили – как обещал Яшка, назавтра утром. Переправились через полувысохшую от жары безымянную речку, за которой кончалась Рязань и начиналась Орда, да и встали. Из-за большого кургана, увенчанного древней каменной бабой, высыпали татары, десятка три – будто нарочно поджидали.

Похоже, это и вправду была засада. Конные ехали прямо на маленький караван.

Кнехты закудахтали, сбились в кучу вокруг кутармы, выставили самострелы, закрылись щитами. Встревожился и Шельма. Всадники были нехорошие. Над ними сверкали наконечники копий, а это оружие татары берут, только когда едут воевать или сопровождают важную персону. Хуже всего, что ордынцы, а может степные разбойники, наезжали от солнца, – так делают, если собираются атаковать. Чтоб противника слепили яркие лучи.

– Поскачу вперед, договорюсь, – сказал Яшка купцу. – Начнут пускать стрелы – поздно будет.

Бох смотрел вперед, прикрыв глаза ладонью.

– Что это там у них, на палке?

Прищурился и Шельма. Поразился.

– Это не палка, а бунчук. С тремя хвостами. Ого! Такой возят над темниками или большущими мурзами!

– Не надо никуда скакать, – молвил тогда купец. И крикнул своим: – Всё хорошо, ребята! Встаем лагерем!

Татары подъехали ближе. Стало видно, что впереди, под бунчуком, важно покачивается в седле кто-то в белой чалме. Лицо странное, но в чем странность, издалека было неясно. Нукеры все в черных халатах.

– Так, одинаковым манером, одеваются своих кнехтов только очень большие вельможи, – опасливо сказал Яшка купцу. – Но зачем большому вельможе болтаться по степи в такой дали от Саarya?

Бох, однако, не выглядел обеспокоенным. Он вылез из повозки, потянулся.

Сказал:

– Это хер Шариф-мурза. Мы условились, что он встретит нас близ границы.

Вельможный татарин был уже близко. Лицо его показалось Яшке странным, потому что оно и было странное – будто перечеркнутое пополам: поверх глаз зеленая повязка тонкого шелка. Слепой? Чудно.

Двое нукеров спешились, повели под уздцы дородного белого жеребца, которому, видно, никогда не приходилось нестись вскачь.

Ох и важен был ордынец! Яшка таких сановных и не встречал.

Под одутловатой желтой ряхой белая ухоженная борода; платье парчовое, сапоги зеленые, с серебряным шитьем; наискось туловища, под мышку зачем-то протянут золотой шнур. А главное – никакой он оказался не слепой. Показал на Боха и велел нукерам (Яшка по губам разобрал):

– Туда ведите.

Это потому что большому князю при церемониальной встрече зазорно и уздой пошевелить. А шелковая повязка, надо думать, прозрачная.

– Поприветствуй его по-татарски, как можно цветистее, – приказал Бох.

Яшка бухнулся лбом в траву, разогнулся. Отбарабанил честь по чести: такой-сякой многовеликий-всякопочтенный князь-мурза, тебе кланяется и желает здравия-благополучия немецкой земли наизнаменейший бек-купец Бох.

Бох снял барет, поклонился, а татарин даже не кивнул.

– Привез, что заказано? – вот и всё «здравствуйте». Ай, большой мурза! Ай, важный!

Купец особым образом хлопнул в ладоши, и четверо кнехтов, кряхтя, сняли с воза один рогожный сверток, вскрыли. Бомбаста засияла под солнцем своими железными боками.

Тем временем другие кнехты, отбежав в сторонку, зачем-то стали рыть

землю – складывали из нее холмик.

– Прямо сейчас всё и увидишь, хер Шариф-мурза, – пообещал Бох. – Останешься доволен.

Шельма перевел, хоть и не понимал, к чему всё это.

– Спроси: он так и будет смотреть через повязку? – хмыкнул купец.

Здесь, конечно, требовалось при переводе подбивать почтительности.

– Мой благородный господин осмеливается предположить, что достопочтенному Шариф-мурзе может быть благоугоднее снять с очей повязку?

– Когда будет на что смотреть, сниму, – проворчал татарин.

– Так уже готово, – сказал, выслушав, Бох. – Земляной лафет сооружается быстро.

Что такое «лафет», Яшка не знал. Так и сказал «лафет». Наверное, это была подставка, в которую кнехты превратили земляную кучу, хорошенько ее утоптав. Сверху уложили бомбасту.

Тут мурза наконец снял с лица зеленый лоскут. Сощурился. Глаза у него были припухшие, с красными веками, но несомненно зрячие.

– В запальное отверстие кладется трайбладунг, – стал объяснять Бох.

Кнехт зачерпнул из открытого бочонка черной пыли, через кулек засыпал в дырку, что находилась в задней части бомбасты.

– Через дуло забивается сначала огненный прах, потом заряд...

Слуги особой палкой с кружком на конце затолкали в жерло еще трайбладунга, притащили тяжелый мешок, запихнули и его.

– Что такое «заряд»? – спросил Шариф-мурза.

– В мешке пуд чугунных шариков, но вместо них можно класть обычные камни... Теперь нужно отойти в сторону.

Все – и татары, и немцы – переместились куда показал Бох: шагов на двадцать вбок. У пушки остался только Габриэль, который непонятно зачем высек огнivом искру, запалил трут и стал раскалять кончик железной кочерги.

– Уши лучше заткнуть.

Бох зажал голову между ладонями. Все последовали его примеру – кроме Яшки. Вдруг хозяин еще что-нибудь скажет, а не услышишь?

– Давай! – крикнул купец.

Габриэль ткнул докрасна разогретой железкой в дырку, и случилось нежданное-негаданное.

Тяжеленная труба с ужасным грохотом подпрыгнула и плонулась огнем-дымом. У Яшки заложило уши. А в высокой траве, на которую была направлена бомбаста, пролегла большущая, углом расширяющаяся

проплешина, будто невидимый великан с размаху махнул гигантской косой.

Татары присели от шума и огня. Потом замахали руками, загадали. Кнехты – те приосанились. Гордились своим немецким чудом.

А мурза похлопал красными глазами, пожевал губами. Обронил:
– Хорошо. Я доложу беклярбеку. – И только.

* * *

В тот день дальше не поехали. Татаре разбили лагерь в пятистах шагах от каравана, в одной из балок, которыми здесь была иссечена вся степь.

Вечером Бах сказал:

– Пойдем, Шельма. Сделаем визит вежливости херу Шариф-мурзе.
Пошли.

В укрытом от ветра месте ордынцы поставили кибитки: пять черных вокруг одной белой, над которой торчал бунчук. В ней несомненно и остановился сановник.

Однако часовой гостей к шатру не подпустил, объявил, что мурза совершает вечернюю молитву.

– Мы подождем, – сказал Яшка.

– Мурза набожен. Он может молиться и два часа, и три. Однако купец-бек может помолиться вместе с ним, ибо Бог един. Так сказал мурза.

Шельме что? Перевел, уверенный, что хозяин скажет: ну его, мурзу, к тойфелю, пойдем восвояси. Однако Бах неожиданно согласился.

– А ты ступай к татарам, жди там. Для молитвы мне толмач не нужен.

И сразу появились откуда-то двое нукеров, вежливых и радушных, как предписывает степной обычай гостеприимства. Повели Яшку к себе, а там уж и трапеза накрыта: мясо, лепешки, сущеные плоды и, конечно, молочная водка – называется «архи».

Покушал Шельма татарского угощения, поучаствовал в любезной малоосмысленной беседе – про жизнь в Новгороде, да про жизнь в Сарае. Ничего нужного нукеры ему не сообщили. Только что беклярбек сильно сердится на московского эмира, собирает большое-пребольшое войско, да, может, войны и не будет – договорятся. Единственное полезное, что узналось, – про Шариф-мурзу. Оказалось, что старик при Мамае самый главный советник, беклярбек его мнения во всем спрашивает. Но это могло быть и брехней. Известно: слуги любят похвалиться значительностью своих господ.

Болтал Яшка о том, о сём, а башка была занята другим.

Странно как-то оно всё было. И внезапная богохульность Божа, и татары со своим гостеприимством. А странностей Шельма не любил.

И сделал он вот что. Достал из-за пазухи малый плоский бурдючок. Там – крепкая чухонская брага, которая хороша, если простыл и надо обогреться. Угостили хозяев. Чухонская брага – не татарская молочная ерунда, а ордынцы на хмель некрепки. Получаса не прошло, а оба нукера, вылакав питье, уже хрюкали на войлоке. Нет у степного народа привычки к настоящему напитку.

Выскользнул Яшка наружу, подполз на четвереньках к белой кибитке. Распластался на земле, навострил слух.

Ничего внутри не молились, а разговаривали, по-татарски. От первой же фразы Шельму кинул в холод.

– ...Желтоглазый хитер и ловок, однако далеко вперед видеть не способен, – говорил мурза.

Это же у меня глаза желтые, вздрогнул Яшка. С кем он про меня? Зачем? Почему? Что я такое рядом с превеликим мурзой? И где Божа, там иль нет?

Дальше пошло непонятное.

– ...Он привык доверяться моему совету, и будет делать, как я скажу. Поэтому его надо поддерживать. Хромой – сам себе голова, ничьих советов не слушает, однако с ним мы договоримся. Он понимает выгоду и, если можно получить ее без войны, за меч не возьмется. Самый опасный для торговли Тешлек. Задирист, упрям и любит звон стали.

«Хромой» – похоже, самаркандский правитель Тимур, начал соображать Яшку. «Тешлек» – турецкая порода ухватистых псов, которые если во что вцепятся своими зубищами, ни почем не отпустят. Должно быть, речь о свирепом Тохтамыше, хане Синей Орды. Тогда «желтоглазый» – никакой не Яшка, а Мамай, боле некому.

И сразу полегчало.

Но в следующий миг Шельма опять дернулся.

– Тешлек – природный «князь войны», вроде английского Черного Принца, который наконец покинул землю и теперь горит в аду.

Сказано это было с отвращением – голосом Божа, и притом по-татарски!

– Мы поможем Желтоглазому заключить равноправный союз с Хромцом, – проговорил Шариф-мурза. – Вместе они раздавят Тешлека с двух сторон. И тогда всё получится, как ты хочешь. В Великой Степи установится прочный мир. Обещаю тебе это, чтоб мне не насмешить Аллаха. Но сначала, конечно, понадобится маленькая война. Нужно помочь

моему Желтоглазому навести порядок в его русских владениях, иначе Хромец не захочет считать его ровней и не отдаст дочь. Ибо что это за правитель, который не может собрать дань с половины собственных земель? Московский эмир обнаглел, его придется проучить. Ничего. Желтоглазый собрал большое войско и сговорился с литовским ханом Ягайлом. Тому Москва тоже, как кость в горле. Война будет недолгой.

Бох со вздохом молвил:

– Не люблю я войн, но эта в самом деле неизбежна. А всё, что неизбежно, является благом. Даже если это война. Ты видел силу моих бомбаст. Они могут стрелять и большими железными ядрами, которые проломят стены московской цитадели. Без моих пушек твой Желтоглазый каменную крепость не возьмет.

– С пушками ясно. – Мурза хлюпнул – видно, отпил кумыса или еще чего. – А теперь скажи, чтоб мне не насмешить Аллаха, привез ли ты новые зеленые стекла, как я просил? С тех пор, как старые разбились, я вынужден ходить, как дурень, с зеленою тряпкой на лице. Через шелк мало что видно, но очень уж глаза болят от яркого света. Правда, мне теперь ни на что не хочется смотреть. Я всё на свете уже видел.

– Ты состарился, Шариф, – добродушно заметил купец. – А мне по-прежнему всё интересно.

Мурза хихикнул.

– Помнится, ты говорил, что стареть и умнеть – одно и то же. Значит, я стал умнее тебя, чтоб мне не насмешить Аллаха.

– Всё та же присказка. – Шлепок, будто ладонь хлопнула по плечу. – А если Аллах любит, когда его смешат?

Оба хохотнули. Что-то зашуршало, звякнуло.

– Держи, слепая курица. Вот тебе очки с зелеными стеклами, взамен старых. А вот еще одни.

– ...Зачем они мне? В них прозрачные стекла.

– А ты надень.

Яшке стало невыносимо любопытно, что это они там рассматривают? Он осторожно приподнял нижний край шатра, пристроился подглядеть.

Приятели – а судя по беседе, Бох с мурзой были именно приятелями, причем старинными, – сидели друг напротив друга, у низкого столика со снедью. Татарин вертел в руках штуковину: причудливо изогнутая золотая проволока, и в нее вставлены два малых круглых стеклышка. Нацепил на нос, удивленно крякнул.



– Новинка, – сказал Бох. – Флорентийская.

– Давно я так ясно не видел! – вскричал Шариф-мурза. – Неужто и читать смогу?

Он взялся за витой шнур, что висел у него через плечо, и вытянул из-под мышки сверкающую золотом табличку. Прочел:

– «Силою Вечного Неба, покровительством Великого Могущества. Кто посмеет отнести без благоговения к носителю сего знака, тот навлечет на себя гнев Гияс-ад-дин Мухаммед-Булак-хана и кару Всевышнего». Читаю, читаю, чтоб мне не насмешить Аллаха!

Это у него ханская пайцза, самого высшего ранга, понял Шельма.

Перед такой все в Орде склоняются. Интересно. Но во стократ интереснее, конечно, было то, что они с Бохом друзья и что немец, хитрован, отлично знает татарский.

– Кстати о хане Мухаммед-Булаке. – Шариф отложил волшебные стекла. – Ты привез, что он заказал?

– Конечно. Безделица обошлась мне в сорок раз дороже, чем бомбасты. Но я рассчитываю выручить за нее втрое. Получилось очень красиво. Хочешь посмотреть?

– Если ему понравится – заплатит, сколько запросишь. А смотреть я не хочу, – равнодушно ответил татарин. – Видимая глазу красота меня больше не радует, чтоб мне не насмешить Аллаха... Помнишь, как мы с тобой в Иерусалиме были на диспуте ученых раввинов, и мудрый Аарон Бен-Эзра сказал: «Когда во мне иссякнет любопытство, я пойму, что пора умирать». Вот и мне, наверное, пора.

– А мудрый Исаия Бен-Акива ему ответил, – подхватил Бох: – «Ты забыл, что самое любопытное начнется после смерти»... Нет, по-еврейски это звучало лучше.

И они перешли на язык, не известный Шельме. Оба оживились, засмеялись и дальше говорили уже на этом кудахтающем наречии.

Но Яшка все равно перестал вслушиваться. Он думал: а сколько стоили бомбасты? Поди, недешево. Что же за сокровище может обойтись в сорок раз дороже? И, главное, где оно? За время пути вроде весь груз перерыл, и не один раз. Ничего такого нету – ни ларца, ни сундука.

Пришел в голову и другой вопрос – попроще, но тоже заковыристый.

Если Бох говорит по-татарски, зачем потащил к мурзе толмача? Уж не затем ли, чтобы увести из лагеря?

А коли так, именно там, в лагере, Яшке и надлежало сейчас находиться.

* * *

Он несся по темному полю со всех ног, но все-таки опоздал.

В лагере не было ни души. Пустые палатки, да две повозки – Бохова и та, которая легкая. Воз с бомбастами пропал.

Яшка нагнулся к самой земле – уж не провалились ли сквозь нее люди с пушками.

Нет, не провалились. Вблизи был виден след от тяжелых колес. Он уходил в объезд кургана.

По этой колее Шельма и кинулся.

Вскоре из недальнего оврага донесся шум – звяг, скрип. Подле приметного расколотого камня, торчащего на самом краю балки, Яшка согнулся, осторожно выглянул.

Ночь была темнющая, но выручила способность прозирать тьму.

Сначала показалось, что на дне копошится какая-то куча-мала, но скоро Шельма понял: это кнехты засыпают яму. Повозка стояла неподалеку. Пустая.

Ах вот оно что.

Побежал обратно к татарскому стану.

Бох с Мурзой были всё там же, в шатре. Упившиеся ордынцы сладко спали. Бегал Яшка менее получаса.

Сел, стал чесать затылок, думать.

Скоро ли, не скоро ли в темноте послышались тяжелые медленные шаги. Так ступал хер Бох. Шельма, пока ничего не надумав, повалился на войлоки, рядом с татарами. Тоже захрапел.

Тронули за плечо – сделал вид, что проснулся.

– А? Помолились?

– Пойдем, – молвил Бох. – Пора уже.

Пора так пора.

Утром, когда ехали по степи, Яшка сделал вид, что удивлен – с чего это полегчал воз.

Кинулся к Боху: беда, бомбасты пропали!

Тот ответил как ни в чем не бывало:

– Пушки не пропали. Кнехты зарыли их в укромном месте.

Не соврал, надо же.

– Зачем?

– Я показал советнику канцлера фон Мамая товар. Теперь хочу получить за него плату. Потом мои люди покажут татарам, где спрятаны пушки.

– Но из Сарай сюда чуть не тысячу верст добираться! Коли Мамаю от твоей милости нет доверия, что и правильно, зарыл бы поближе.

И опять купец ответил похожее на правду:

– Ни к чему тяжелый груз таскать взад-вперед. Канцлер все равно скоро пойдет на Русь, через эти самые места. Скорым маршем, без тяжелых обозов. Взять бомбасты перед самой границей ему будет удобней. – Здесь Бох с любопытством взглянул на Яшку. – А не горько тебе, русскому, что

Мамай на твою страну идет с мечом?

Шельма удивился.

– Он, чай, на Москву идет. А я новгородский.

– Ну-ну. – Немец отвернулся. – Ладно, поеду к херу Шариф-мурзе, окажу уважение.

Татары двигались сзади, сами по себе. То ли охраняли, то ли следили, чтоб караван никуда не сбежал. А скорей всего, и то, и другое.

И сопровождение это пригодилось.

Вечером того же дня из-за недальних холмов вдруг налетела конная лава, сотни в три всадников. С улюлюканьем, свистом, гиком – мороз по коже.

Степняки какие-то, не поймешь кто – то ли сарайские, то ли крымские, то ли приблудные.

Шариф-мурза, ехавший рядом с Бохом посередине меж немецкого и татарского отрядов, спокойно повернул коня навстречу чужакам. Яшка ехал близко, шагах в двадцати – спереди. Выменял у одного кнехта осколок зеркала и учился, подглядывая назад, читать по губам шиворот-навыворот. Пока получалось плохо.

Однако разглядел, как мурза поднимает над головой свою золотую пайцзу, издали показывает конникам. Те подлетели, посмотрели. Передние почтительно спешились, склонились до земли. Потом попрыгали в седла, и дикая ватага укатилась обратно, откуда взялась.

Вот какая у мурзы была чудо-табличка.

Сам-то татарин Яшке сильно не нравился, и чем дальше, тем больше.

Дорога оставалась еще длинная, а поговорить теперь стало не с кем. Днем Бох ехал бок о бок с мурзой, наособицу. Вечером уходил к ордынцам «молиться». Купцу Шельма сделался не нужен, сыскался приятель позакадычней, собеседник поинтересней. Обидно это было.

От одиночества Яшка непривычно много думал, аж голова скрипела. Вертелись в ней две настырные мыслишки, искушали.

Первая – про зарытые пушки.

Вроде бы железяки и железяки, в мирное время цена им наверняка не ахти какая. Но товар, он дорог к базарному дню. А базарный день для оружия – скорая война.

Бомбасты, видно, являли собой немалую ценность, коли Бох самолично вез их в дальнюю даль, а Мамай высыпал навстречу главного советчика. Московский князь, поди, дорого заплатил бы, чтоб пушки не достались татарам, а попали к нему, защищать его новостроенный

каменный Кремль. Опять же есть литовцы. Ихний великий князь Ягайло в стороне от войны тоже не останется. Его предшественник грозный Ольгерд двенадцать лет назад ходил на Москву и крепких стен сломать не сумел. А пушки их пробьют. Сколько даст Ягайло литовский за ключ к твердыне?

Потеряться бы сейчас, отстать от каравана. И дунуть со всех копыт – либо в Литву, либо в Москву. Одна трудность: больно умен купчина. Враз скумекает, что к чему, если Яшка исчезнет. Отправит татар в погоню. Шельму они, может, и не настигнут, но пушки от греха выкопают. Не успеешь передать новому покупателю.

Как обойти эту закавыку, Яшка придумать пока не мог.

Вторая неотступная дума была, конечно, про непонятное сокровище, которое в сорок раз дороже бомбаст. Где оно, где?

Обе лакомые мысли толкались в башке, мешали одна другой. А время шло.

* * *

Озарение постигло Шельму полнолунной ночью, когда стояли лагерем у берега Дона. Вскоре после озарения явилось и чудесное чудо.

Но сначала про озарение.

От того поля, над которым летали кулики, чем-то заинтересовавшие Боха, все время двигались к югу берегом неспешного Дона, который летом не пересыхает и всегда можно коней напоить. И вот вышли к мелкому месту, где надо поворачивать на восток, к Волге. Ночью, как уже сказано, светила полная луна, ярко. Яшка отправился к реке посмотреть, как там с бродом, переедут ли завтра повозки, или придется их разгружать, веревками по дну тянуть.

Перед мелководьем Дон разливался широко, а потом сужался и убыстрял течение, крутился серебристыми загогулинами. Берег весь порос камышами. И воссияло в Яшкином уме оно – Озарение.

Потонуть надо, вот что. На глазах у Боха.

Там, где течение погуще, сверзнуться с коня. Нырял Шельма очень превосходно. На Волхове, бывало, шагов полста умел скрытно под водой проплыть.

В заранее присмотренном месте воткнуть в дно длинную полую камышину. Там же положить камень, за который держаться, чтоб не всплыть. Дышать через стебель Яшка умел, доводилось в многотрудной

жизни.

И вся хитрость. Потоп человек, бывает. А после, когда уедут, выбраться обратно и запустить назад, на поиск пушечного покупателя. Что без коня останешься, не страшно. По степи много бесприютных лошадок бродит. Поймаем какую-нибудь, а то и двух.

...Немедленно приступил к подготовке.

Сначала надо было найти на бережку укромное место, чтобы спрятать съестной припас и прочую поклажу, необходимую в долгой степной дороге. Потом приготовить несколько широких тростинок, с запасом...

Занятый важным делом, Шельма чуть не пропустил Чудо, которому суждено было затмить собою остромысленное Озарение. Ибо – так и в священных книгах сказано – Божий Промысел всяко чудеснее суетного человечьего ума.

Бродя в камышах, Яшка случайно оглянулся на поле, да и застыл.

К берегу топал долговязый Габриэль, похожий в лунном свете на бесовское кромешное наваждение: собою черный, огромный, неявственный.

Однако страх прошел быстро – чудище направлялось не к Шельме, а в густую прибрежную заросьль.

Миновал испуг – накатило любопытство.

Зачем это он?

Ищет укромное место справить нужду? Навряд ли. Всегда облегчался на виду у всех, даже среди бела дня – не стеснялся.

Пригнулся Яшка, стал подкрадываться. И скоро увидел в камышнике малую прогалину, всю залитую белым небесным сиянием. Там, озираясь, стоял Габриэль, по пояс голый, и яростно чесал бока своей железной гребенкой. Тело у него было всё в мышечных буграх, будто каменное, а кожа – в темных полосах, видных даже при луне. Ясное дело: лютая потница. Еще бы! По все дни не снимает куртки и широкого пояса, при жаре-то.

Зачем чешется, от всех прячась? Чего таиться-то? Полоумный он все-таки, черт нерусский.

Разочарованный, Шельма хотел уж тихонько удалиться, как вдруг Габриэль, еще раз посмотрев во все стороны, поднял с земли свой широкий кожаный пояс, расстегнул на нем что-то и – Яшка не веря захлопал глазами – потянул оттуда узкую, переливающуюся искрами змею!

Но Шельме лишь в первый миг померещилось, будто это змея. Бывший палач растянул сверкающую ленту во всю длину, подставил ее лунному свету, и стало видно, что в руках у него златокованый пояс, весь в

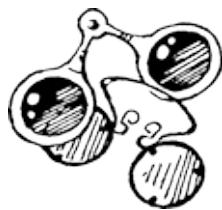
драгоценных каменьях – несказанной красоты. Габриэль пялился на него, как бывало таращился на свои съедобные цветы. Поднес к губам, но не укусил – поцеловал. Вздохнул, стал запихивать чудо-змею обратно в кожаное хранилище.

Тут-то и настала полная ясность.

Вот оно, сокровище, о котором Бох говорил мурзе. То, чего ждет ордынский хан. Надежней места, нежели чресла ужасного Габриэля, во всем караване не сыскать. Поэтому страшилище никогда не разоблачается на людях. Вспомнилась и непонятная забота Боха о Габриэлевом поясе: не тут ли, да не расстегнулся ли.

Ах ты, ах ты!

И передумал Яшка топиться. Про закопанные бомбасты тоже забыл. Что они по сравнению с золотой алмазnochешуйной змеею? Колоды железные, тьфу на них!



Дастан о заколдованный деве



...Ты прощай, мой конь, верный Каагыз.
Помнишь, как с тобою шли мы на Хорезм?
Был ты молодой, стук твоих копыт
В трепет повергал весь Мавераннахр...

Татарин-дастанчи выводил тонким голосом бесконечное сказание-дастан о прощании Чингисхана с конем Каагызом, который сбросил великого царя наземь и повредил ему становую жилу. Хан велит не казнить виновника своей кончины, а лелеять и беречь, благодарит Каагыза за то, что не дал одряхнуть и позволил умереть в поле. Заодно вспоминает все походы, в которых они с конем побывали. Походов бесчисленное множество, рассказ про каждый долог – для длинного степного путешествия самое оно, но завывание голосистого нукера Шельме жутко надоело. Это, конечно, лучше, чем песни бурлаков, но тоже тоскливая тоска.

От скуки Яшка начал сочинять по-татарски свой собственный дастан – тихонько, мурлыча себе под нос.

Ай, Дешт-и-Кыпчак, степь широкая,

Ай, Чабак-Тенгиз, море синее,
Подскажите мне, как найти-сыскать
Тропку верную, потаенную
К башне каменной, зачарованной,
Где томится-ждет дева красная,
Дева красная, да печальная.
Заколдована злым волшебником,
Горьки слезы льет, изнываючи,
Изнываючи, иссыхаючи,
Багатура меня поджидаючи...

Оказалось, под хороший дастан и ехать веселей, и мысль разгоняется.
За минувшие дни Шельма себе уже всю голову сломал: как бы добыть
несказанную змею-красу?

Уж он крутился, крутился около Габриэля, высматривал, прикидывал, но достиг лишь того, что чертяка поглядел на него с особенным вниманием, нехорошим. От этого мертвящего взгляда Шельма шарахнулся в самый хвост каравана и больше к хранителю пояса приближаться не осмеливался.

Теперь держался неподалеку от Боя с мурзой, которые всё ехали меж двух отрядов бок о бок, чесали языки о всякой всячине. Яшка наконец обучился и через зеркальце по устам читать. Ехал шагах в двадцати, ближе было бы подозрительно. Прятал малое стекло в ладони – вроде глаза от солнца прикрывает, а сам жадно вглядывался, благо зрение ястребиное.

А только ничего про золотую змею друзья-приятели не говорили. Болтали всякую дребедень. Про ханов и эмиров (будь они неладны), про войну-торговлю, либо вспоминали свои прошлые похождения, или же пустоумничали про вовсе скучное – жизнь, смерть, род людской. Притом не всегда по-татарски. Иногда переходили на языки, которых Яшка не ведал и даже не всегда мог распознать.

Лишь один раз довелось подслушать, верней подглядеть про сокровенное. Хоть что-то разъяснилось.

Говорили про юного ордынского хана Мухаммед-Булака, от чьего имени правит желтоглазый Мамай. Что-де надо хана женить на дочке Хромца и тем скрепить сарайско-самарканский союз. Вот усмирит Орда московских бунтовщиков, соберет с Руси большую дань, тогда и свадьбе быть.

Про это-то Шельма внимал вполглаза, надоело. Но вдруг мурза говорит:

– Наш двор заказал подарки для сватовства именитым купцам всего мира, но твой золотой пояс должен хану понравиться больше всего. Мамаю ты угодишь пушками, Мухаммед-Булаку – даром для невесты. А дальше уж я позабочусь, чтоб в Сарае тебя полюбили.

– Так и не хочешь на него посмотреть? – спросил Бох. – Нынешние европейские ювелиры не уступают индийским и арабским. Пояс выкован златокузнецами Мюнхена, а в Гамбурге разукрашен алмазами, изумрудами и рубинами. Я надеюсь ввести европейские украшения в моду на Востоке. Восемь тысяч дукатов потратил.

От такой суммы Яшка чуть из седла не сверзся. А Шариф равнодушно молвил:

– Понравится мне или нет – какая разница? Я ведь не Мухаммед-Булак. Скажи лучше, надежно ли охраняется сокровище?

– Надежнее не бывает. Помнишь, как ты влюбился в наложницу султана Салиха ас-Салиха, а гарем стерегли сорок нубийских евнухов, три льва и шесть ягуаров? Мой пояс охраняют лучше.

И тут, на самом ключевом месте, разговор пошел вкось.

– Я ходил-ходил вокруг ограды, изнывал от любовной тоски, но так и не сыскал лазейки! – со смехом подхватил седобородый мурза, сверкая зелеными стеклами. – Помнишь, что ты мне присоветовал?

Дальше он перешел на непонятный квохтающий язык – наверное, арабский, и потом к дельному разговору они уже не вернулись.

Яшка ехал оглушенный. Трепетал.

Восемь тысяч золотых дукатов!

Это можно купить в Новгороде боярский терем и жить-поплевывать, в окружении челяди, восемь тысяч недель. Да еще пить-гулять и всю улицу поить. Восемь тысяч недель это сколько лет?

Однако без дела жить скучно. Сколько может человек съесть-выпить? И улицу угощать незачем.

Восемь тысяч хватит, чтоб приобрести среднего размера город с деревнями, князем стать.

Нет, не надо князем. У князей жизнь поганая. Дави нижних, кланяйся верхним. Никакой воли.

Лучше купить торговый флот, нагрузить товарами, да и махнуть по заморским портам, всюду продавая задорого, а покупая задешево...

...В общем, было теперь Яшке, о чем помечтать.

Однако приятному этому занятию он предавался, когда хотел себя полакомить. В прочее же время размышлял, как бы у злоужасного Габриэля из пояса золотую змею добыть, да живу остаться.

Ох, нелегкая была задача. А между тем лето перевалило за середину и долгая, в две тысячи верст, дорога близилась к концу. Ехали теперь вдоль Волги, которую у верховьев видели речушкой-утятницей, а ныне она оборотилась широченным морем, еле разглядишь другой берег. До татарской столицы оставалось недалече.

Лучше б сокровище, как в сказке, было заперто в чугунном ларце, который внутри железного сундука, который в чреве рыбы-кит, которая в пучине синя-моря. Яшка добыл бы, придумал что-нибудь. Однако от мысли, что нужно снять златую змею прямо с лютого зверища Габриэля, прошибал холодный пот, делалось зябко. А начинал Шельма мечтать про восемь тысяч дукатов – становилось жарко. Так и маялся, будто в лихорадке. Но охотничий огонь был сильней боязенного хлада. И думы упорно возвращались всё к тому же.

Палач никогда не снимает своего кожаного пояса – только где-нибудь в укромном месте, чтоб почесаться. Там к нему не подступишься. Сон у него, гада, легкий, многажды проверено: чуть кто приблизится, сразу веки дергаются и ноздри начинают будто принюхиваться. Тоже не выйдет.

Как же тогда?

Разум, если он у человека есть, навроде водяной капели. Будет капать в одну точку до тех пор, пока не промоет дырку. Так вышло и с загадкой, как вызволить красу-деву, которую злой волшебник обратил в змейку, посадил в терем и приставил в охранение грозного Горыныча.

Яшка вил ниточки одну к другой, завязывал узелками и в конце концов сплел в крепкую веревку, на которой, пожалуй, можно было забраться к прекрасной пленнице в заветное окошко.

Надо только набраться терпения. Раньше Сарай дело провернуть не получится.

С терпением у Шельмы было не очень, сильно непоседливый нрав: если сильно чего-то пожелается – дай сразу. Однако ради куша, равного которому, наверно, нет на всем свете, можно было, как поют татарские дастанчи, «сойти со скакуна пылкости и пересесть на верблюда ожидания». Тем более что близость огромного города с каждым днем ощущалась всё явственней.

* * *

Ордынская столица, некогда поставленная ханом Берке и оттого называемая Сарай-Берке либо Новый Сарай (был еще и Старый,

поставленный ханом Батыем), стояла в гладкой сухой степи, по которой караванам и всадникам хоть зимой, хоть летом ездить одно удовольствие. Поэтому дороги, проезженные тысячами повозок, протоптанные мирьядом копыт и ног, возникали сами собой, постепенно сходясь к одному центру – будто паутина к пауку.

Тыщу верст ехали-ехали и редко кого живого видали, а тут все чаще стали попадаться встречные и попутные. Потом появились тропы, слились в широкий торный путь, по которому повозки, кони, волы, верблюды и просто пешие тянулись несплошным, но и нежидким потоком. Кое-кто, не обремененный тяжелым грузом, продолжал следовать стороной, вольно, по высущенной августовским солнцем траве, однако и они двигались в том же направлении.

Сердце у Шельмы стучало всё быстрей. Не только от предвкушения встречи с девой-змеей, но и от близости к Сараю. Соскучился Яшка по большому торговому городу, где много разномастных людишек, и все толкаются, бранятся, горланят, гогочут, норовят объегорить друг друга, и всем чего-то надо, а вокруг столько красот, соблазнов, сокровищ. Ну их, леса-степи. Тоска одна. Вот город – это да.

Сарай был город исключительно хороший, Яшка его любил почти так же, как Новгород. Хотя, говоря честно и беспристрастно, Сарай был лучше. Единственный, ни на какие другие города не похожий.

Во-первых, богатейший в мире. Рассказывают, в старые времена царем столиц был греческий Константинополь, за что и прозван «Царь-град», однако ныне он стал вроде кладбища – половина домов пустые, дворцы поразвались, на площадях сквозь каменную мостовую растет чертополох. Остались только могучие стены, но город красен не укреплениями, а базарами.

Вот в Сарае крепостных стен вовсе нет, потому что ордынским ханам отродясь бояться некого. Кто посмеет напасть на их столицу? А базаров, каждый больше новгородского Торга, целых восемь. Ибо стоит Сарай на перекрестке двух великих торговых путей – Волжского и Шелкового. Богатющий – не передать! Тут ведь скопилось не только наторгованное, но еще больше – награбленное за сто с лишним лет, да привезенное в виде дани со всех четырех сторон света.

На самом деле это не один город, а несколько, вытянувшиеся в длинную-предлинную полосу, от края до края которой пешему не пройти и за день.

В середине – Ханский градец, где дивные дворцы с зелеными садами, широкие площади, посольские подворья. Еще есть половецкий градец,

арабский, персидский, русский, булгарский, фряжский, еврейский. Всяк народ своему богу молится: кто суннитскому иль шиитскому Аллаху, кто русскому Христу, кто латинскому Кристосу, кто армянскому Кристосу, кто китайскому богу Будде, кто иудейскому Яхвею, кто каменным идолам, кто духам бесплотным. Татарам все равно, как подданные или приезжие веруют, – соблюдали б закон да платили пошлины.

Но люди разных племен живут тут не чтоб молиться, а чтоб торговать. Поэтому во всех сарайских градцах, кроме Ханского, главное место занимает рынок. Товары в Сарае – какие хочешь, и дешевы. В прошлый приезд Яшка закупил тут отличных коней всего по полсотни дирхемов за голову, отогнал в Азак, что на Сурожском море, там продал вчетверо. Вот какой он, торговый Сарай.

А в срединном Ханском градце базаров нет, зато там, в государевом дворце, в теремах у знатных мурз и первых купцов полно чудес, каких нигде больше не бывает. Будто бы бежит там прямо через покой чистая вода по трубам. Захотел попить или умыться – отворяешь прямо в стене заслонку, и льется. Под изразцовыми полами, говорят, тоже трубы, и зимой течет в них вода горячая, от которой в палатах тепло. Хотя это, может, и врут. В Сарае Яшка бывал не единожды, но к хану во дворец не заглядывал, незачем было.



...Высоченный златой купол над ханским чертогом, увенчанный златым же полумесяцем, – вот первое, что видели едущие в Сарай

путешественники. Яркая сия звезда начинала сиять посреди ровной степи верст за двадцать.

Увидел Шельма вдали знакомую золотую искру и сжал кулаки. Вот она – лестница Иакова. Скоро либо поднимешься на самый верх, либо сверзнешься в бездну.

Искра-то была знакомая, но обнаружилось и новшество, какого раньше в сарайском обычай не водилось.

В прошлый Яшкин приезд здесь правил не Мамай, а Урус-хан, и тогда в столицу въезжал-выезжал всякий как захочет. Ныне же на дороге стоял дозор, останавливавший каждого, а по всей степи, в обхват города, маячили кучки всадников, в полете стрелы одна от другой, так что и полем без досмотра ни войти, ни выйти было невозможно. Хуже того: Шельма рассмотрел, что люди, покидавшие Сарай, показывали казенным людям какие-то таблички, надо думать, выдаваемые властями. Вон как при Мамае стало строго. Ночью тоже вряд ли прошмыгнешь. У татарских нукеров слух на степные звуки острый, всякий шорох за сто шагов услышат.

Караван, конечно, проехал запросто. Шариф-мурза небрежно посверкал золотой пайцзой, и дозорные склонились до земли.

А если у человека нет пайцзы, тогда как?

Вопрос пока остался без ответа.

* * *

Ах, хорош, ах дивен Сарай! Яшка живал здесь трижды, подолгу, но запамятовал, какой это красивый город.

Улицы широкие и прямые, не то что в Новгороде или Любеке. Площади просторные, на них каменные источники с холодной водой. По обочинам арыки, куда уходит всякая нечистота. И повсюду сады, отрадные своей прохладной тенью. Нелегко, поди, в нижневолжских степях, летом знойных, зимой морозных, было деревья высаживать. Хотя не татаре же сажали-поливали, а пригнанные издали полонянники...

Страх и красота друг другу враги. Прочие города земли все построены с опасением, поэтому сжаты стенами, скрытны, тесны. А Сарай – единственный на свете возведен без страха. Поэтому раскидист, приволен, прекрасен собой. Вот о чем думал Яшка, глядя на разноцветные дворцы и мечети-минареты, на изразцовые мавзолеи, на персеобразные купола, на многочисленные бани, до которых сарайские жители большие охотники.

Попалась среди бань и хорошо знакомая, где Яшка в первый приезд

пристроился банщиком. Хорошая была служба. Моются-то все нагишом, а одежду и ценное запирают в особый сундук, ключ вешают себе на шею. Но Яшка слепков понаделал, это не штука. Главное было соблюдать два правила: тырить не по многу, а по паре монет. И только у тех, кого моют другие банщики. Так, клюя по зернышку, прожил Шельма несколько месяцев в ожидании настоящей удачи. И приплыла, голубушка. У индийского купца в кисете с халвой, в самой середке, была упрятана большая розовая жемчужина. С нею Яшка и отбыл из Сарая. Эх, приятно вспомнить...

На площади перед дворцом белоснежного камня Шариф-мурза важно кивнул Боху, будто едва знакомому, и въехал со своими нукерами в высокие ворота.

Распрощались, стало быть.

Купец сразу оборотился на Шельму, подозвал.

– Ну, где твой «Ак-Юлдуз»?

Яшка еще из Новгорода, через знакомых ордынских купцов, снял для проживания хороший караван-сарай. У ордынцев налажена скорая йамская служба – письма пересыпать. Караван до Сарая больше двух месяцев волочился, а конные йамщики за две недели долетели бы.

Третьего дня, завидев йамского гонца, спешащего в Сарай, Шельма за дирхем передал письмо для хозяина Семиз-Якуба: будем тогда-то.

Толстяк не подвел, приготовил всё, как заказано.

Для Боха большую комнату, открывающуюся в сад. Там кресло и стол, кошмы-подушки, чираги (такие масляные светильники – чтоб читать). Для дневной жары под окном, в корытцах, лежат глыбы зеленого волжского льда, его с зимы хранят в подвалах. Для ночного студа (в здешней степи даже в августе при северном ветре ночью бывает холодно) – бронзовый мангал с углами.

Купец остался доволен, похвалил Яшку.

Габриэлю полагалась смежная с хозяином комнатенка – маленькая, но отдельная. И там на подносе разложены тыковки, несколько больших реп, огромные крымские яблоки. Вырезай свои цветочки сколь пожелаешь, не обожрись. Чудище огляделось, кивнуло. Для дракона свирепого это была невиданная любезность.

У Яшки отлегло от сердца. Очень он боялся, что Габриэль потребует жить вместе с Бохом, чтоб оберегать безопасность господина. Для Шельминого замысла это было бы плохо.

Но страшенный человек, должно быть, знал, что в ордынской столице

порядок и грабителей не бывает. Удовольствовался соседством.

С удобством разместились и кнхты.

В общем, все были довольны, а больше всех сам Яшка.

Ну, дева-змея, скоро будешь нашей.



Видение о благодарных душах



Утром засветло Яшка отбыл со двора. Сказал, что отправляется за настоящей едой, два с лишком месяца чепухой питались. И припасов, конечно, закупил. Но сначала посетил Железный рынок, потом Златокузнецкий и еще Индийский, где торгуют дальние купцы с востока – не только из Индии, но из Китая, Персии, Аравии, Египта. Нашел самое нужное у краснобородого купчина из Исфагани. Лишь после этого заехал на Обжорный базар и накупил там всего, что любят немцы и чего Толстяк Якуб в караван-сарае не держит. Себе взял сладкого венгерского вина.

Город был великий, рынки раскиданы по разным концам, и пешком во все места Шельма нипочем бы не поспел, а на двух лошадях обернулся уже к полудню. Отдал на поварне распоряжения, как кормить-обихаживать немцев, и пошел к Боху за расчетом.

Так, мол, и так, пречестной хер, я свою службу исполнил, караван до места доставил, а теперь прошу выдать обещанное: половину серебром, половину золотом. Золото за пазуху спрячу, на серебро накуплю индийских благовоний, которые весят мало, а стоят дорого, отвезу в Новгород, продам.

Бох одобрил.

– Это правильно, – говорит. – Честный барыш надежней и прибыльней любого плутовства. Рад, что ты это понял. Мой тебе совет: потрать на товары не только серебро, но и золото, ибо деньги должны не

бездействовать, а работать. Купи красного молотого перца. Он легче пуха, а в Риге и Ревеле идет по дукату за унцию.

От доброго совета Яшка растрогался, поклонился до земли, посыновнему обхватил немчина за круглые бока, облобызal в колено. Бок погладил его по вихрам.

– Жалко с тобой расставаться. Мои люди к тебе привыкли, не нахваляются на твою расторопность. И мне без тебя скучно будет. Может, останешься? В Самарканд вместе поедем. А о плате сговоримся.

– В чужом kraю хорошо, а дома лучше, – ответствовал Шельма, сердечно поблагодарив за ласку. – Нынче же съеду. Хочу только с дозволения твоей милости напоследок камарадов угостить. Чтоб добром поминали.

И попотчевал кнехтов, расстарался.

На столе были и давно нееденный пшеничный хлеб, и жареная-вареная говядина, и курятинा-гусятина, и рубленое мясо в кишках – «вурст» называется (немцы любят), и пиво, купленное у богемского пивовара.

Габриэль со всеми трапезничать не садился, в дороге всегда жрал наособицу. Теперь тоже наложил себе в миску, чего хотел, и отбыл в свое логово. Так тому и следовало быть.

Через короткое время Яшка зашел к драконищу, спросил, всё ли ладно, и – от чистого сердца, в знак недержанья обиды за старое – поставил фляжицу с венгерским вином. Знал, что палач на сладкое падок. Габриэль понюхал, отпил – понравилось. Спасиба, конечно, не сказал, но нам и не надо было.

Через четверть часика заглянул Яшка в щелку. Сидит, жует-отхлебывает. Не набрехал ли краснобородый исфаганец про зелье?

Тревожно стало. Но еще малое время спустя наведался – дрыхнет! Откинулся, башку свесил, из пасти слюна висит.

Ай да персидская дурманная травка!

На дворе ждала нерасседланная после покупок верховая лошадь. В переметных сумах – всё потребное для дороги.

С бьющимся сердцем Шельма приблизился к Горынычу, щелкнул по носу – проверить, крепко ли спит.

Тот приоткрыл веко, но глаз был мутный, с широким черным зраком.

– Ладно, что уж так благодарить-то. Я же не сам, я только исполнял его волю, – сказал Габриэль на своем корявом немецком и застенчиво улыбнулся – на его свирепой роже оно было удивительно.

– Кому это ты? – спросил Яшка и осторожно дотронулся до застежки на кожаном поясе.

Габриэль хихикнул – ему было щекотно.

– Вам. Душам. Ух, сколько вас. Все разом пришли.

Ничего не видит, не соображает, успокоился Шельма и стал щупать внутри пояса – где там змея.

– Бросьте, не целуйте мне руки. – Габриэль мягко толкнул его в плечо. – Поняли наконец, что так для вас же лучше? А как кричали, как меня проклинали! «Не губи! Смилуйся!» Теперь сами рады. Здесь-то лучше, правда?

Ага! Вот она, лапушка. Вот она, краса небесная. Переливается, сверкает. Тяжеленькая!

Змеюшку-голубушку Яшка сунул в пояс, нынче купленный у старьевщика. Широкий, плотный, двойной кожи, но не новый, а сильно потертый, никто не позарится. Похлопал себя по бокам. Отлично! На базаре Яшка раздобыл деревянную пайцзу, с какой из Сарая выезжают. Правда, дзорные и обыскать могут, ну да пояс-то, поди, щупать не станут? Ладно, отбремемся как-нибудь. Всякой докуке свой час.

Вместо змеи запихнул Габриэлю в пояс медную цепь (в ювелирной лавке стоила два дирхема), утяжеленную свинцовыми чушками из лудильного ряда. Снова застегнул, приладил поровнее.

– Я всех вас тоже люблю, – проникновенно молвил ему Габриэль. – Теперь мы с вами одно.

Бес знает, с кем это он. Интересно было бы узнать, но сейчас не до этого. Пора уносить ноги.

…Во дворе споро, но без подозрительной спешки сел на лошадь. Потянул узду – к воротам ехать.

Вдруг сзади:

– Йашка, уже уезжаешь? Погоди.

Бох!

Купец стоял у перил, манил рукой.

Эх, чтоб тебя разорвало, брюхан немецкий!

– Что угодно твоей милости? – залучился Шельма улыбкой. – Время позднее, скоро вечер. Поспешать надо.

– Окажи мне последнюю услугу. Прислали от господина Шариф-мурзы. Король Магомет и канцлер фон Мамай желают дать мне аудиенцию прямо сейчас. Им не терпится. Мне нужен толмач в сопровождение. Едем. Посмотришь на одного из могущественнейших владык земли. И Габриэль тоже с нами едет. Он там понадобится.

У Яшки потемнело в глазах.

Пролепетал:

— Зачем тебе толмач, майнхер? Ты татарский язык знаешь, я слышал. — И попрекнул, еще надеясь отбояриться: — А в Новгороде говорил, что не знаешь.

— Не говорил я такого. Я спросил, знаешь ли татарский язык ты. Переводчик мне нужен, потому что королю и канцлеру незачем ведать, что я понимаю их разговоры. Это всегда полезно. Слезай с коня. На улице ждут повозки, присланные из дворца. Ничего, Йашка, много времени это не займет.

Обернулся назад, крикнул:

— Габриэль! Да где же ты? Я жду!

С седла Шельма спустился, будто в разверстую могилу.

А как было не спуститься?

Мамочка, которой отродясь не видывал, выручай!

* * *

Боха с почетом усадили в дворцовую золоченую колесницу, повезли первым. Потом, в обычный возок, поместили Яшку и Габриэля. Палач был еще не в себе, княхты привели его под локти. Посмеивались, говорили, что перебрал хмельного.

Леденея от такого соседства, Шельма думал только об одном: как бы выскочить на повороте, да затеряться в сутолоке. Но вокруг ехали ханские гвардейцы в серебряных доспехах. Поди-ка, сбеги.

Засунуть бы змею Габриэлю обратно в пояс, но и это было нельзя — увидят. А страшила наваливался на Яшку своим железным плечом, лепетал несвязное, улыбался. Скоро ль рассеивается дурман, исфаганский купец не сказал.

На углу Шельма высунулся поглядеть, близко ли конные, но только ударился локтем о дверцу. Вскрикнул.

— Больно? — участливо спросил Габриэль. — Это ничего. Чем тяжелей оттуда уходишь, тем легче приходить сюда. А кто на земле сполна не расплатился, тому приходится тут рассчитываться... — И дальше ответил кому-то невидимому: — Да не за что. Я что? Только меч в его руке... Вот именно. Его меч не убивает, а наоборот.

Разговаривает с казненными-убиенными, догадался Яшка. Палачу мерещится, что погубленные души его благодарят. Наверно, всякому кату иногда хочется, чтобы его простили. А Габриэлю, вишь, даже спасибо говорят.

Скоро и ему, Шельме, туда же. Если даже повиниться, вернуть алмазную змею, все равно не простят. Ни Бох, ни татары. Вряд ли на тот свет легко отпустят. За всё расплатиться придется. Ордынские мучительские казни на весь свет славятся...

А уже въезжали на Срединную площадь, и выплыл празднично-торжественный ханский дворец. Наверху – высоченный полушир с парящим месяцем, стены сверкают разноцветными плитками, по бокам множество башенок, и у каждой своя верхушка: одна в красно-зеленую клетку; другая луковкой – должно быть, снятая с русской церкви; третья острыя и с шипами – эту мог привезти из европейского похода еще хан Батый. Красота и великолепие невыразимые, но Яшке сейчас вид сказочного чертога показался жуток.

В ворота полагалось входить пешком, и Бох уже стоял там, разглядывал купола.

– Варварство какое. Будто сорока понатащила в свое гнездо блестящей чепухи.

Заметил, что Габриэль стоит, покачивается. Удивился.

– Что с тобой?

– Я виноват, – вздохнул Шельма. – Вином сладким угостил, а он непривычный. Ум-то и залил...

Купец подошел, пощупал на верзиле пояс.

– Ладно. От него тут ума не понадобится. Веди его пока под руку. Надо же, раньше я его пьяным не видывал. Что за вино такое крепкое?

Тут вышел дворцовый служитель, велел следовать за ним, и опасный разговор, слава Господу, прервался. Получил Яшка отсрочку от неминуемой гибели.

Вели их сначала мраморными галереями, потом ковровыми. И были те возвышенные переходы то яркими от солнца, то сумрачными, а где не имелось окон, там горели многоцветные стеклянные лампы.

Но человеку, который прощается с жизнью, не до красот...

Вышли в тенистый дворик, посреди которого брызгался радужной капелью фонтан. В обвод дворика, за ажурными перильцами, тянулось возвышение. На нем, поверх мохнатых ковров – подушки и столики; на столиках царское угощение: диковинные плоды, сладости, сахарные фигуры. Здесь, должно быть, дожидались своего череда вызванные к Мамаю. Яшка тоже хотел сесть, еще немножко пожить напоследок, но провожатый не велел.

– Ступайте туда, ждут.

И показал на высокую дверь благованного индийского дерева, увенчанную золотыми гвоздями и узорами из слоновой кости. Перед входом стояли двое стражников в зеркальных панцырях, каждый не ниже Габриэля, Шельма же был им едва по плечо.

– Посади пьяного дурака вон туда, – велел Бох, кивая на подушки. – Сам иди со мной.

Пахучие двери распахнулись будто сами собой. Служитель громко возопил:

– Германской земли торговец Бох к его пресветлому величеству Гиясад-дин Мухаммед-Булак-хану!

Склонился до земли, но через порог не переступил. Задвигал спрятанной за спиной ладонью: входите, мол, входите.

Ага, лихорадочно соображал Яшка. Габриэля снаружи оставил – значит, сначала будет говорить про бомбасты. Про златой пояс – потом.

Не сомлеть ли, будто в обморок пал? Эх, раньше надо было догадаться, в дороге. Теперь что ж? Позовут придворного лекаря и живо раскусят…

– Что застыл? – спокойно спросил Бох. – Не отставай.

И вошел первым.

Яшка, едва переступив порог, бухнулся лбом в пол. Татары любят, чтобы им низко кланялись, а тут – шутка ли – сам Мамай с ханом.

Но купец остался на ногах, лишь снял свой барет и неглубоко поклонился. Да еще шикнул на Шельму:

– Встань! Нам татарские церемонии соблюдать незачем.

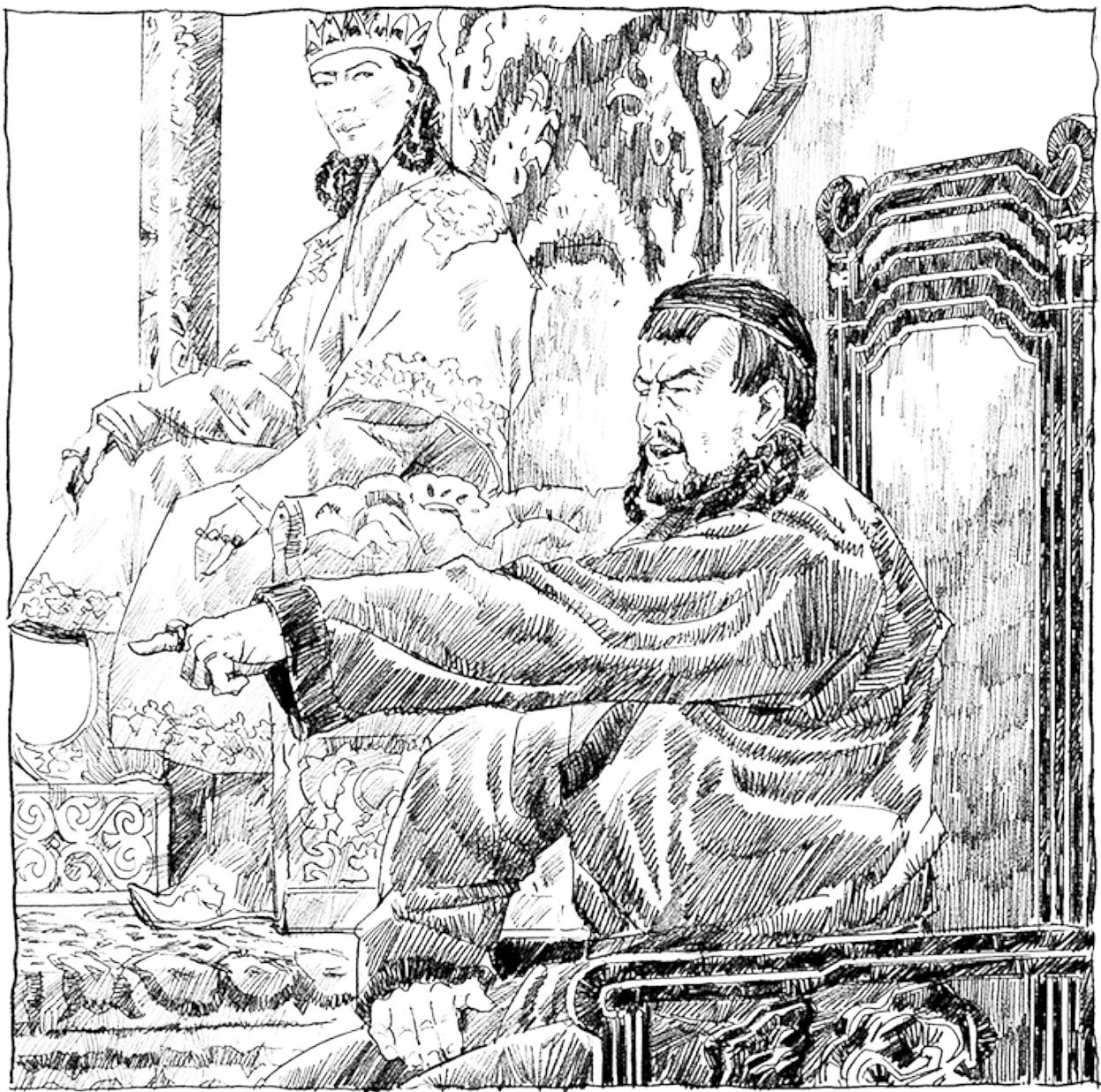
Встать Яшка не осмелился, но все же разогнулся, пополз за Бохом на коленках.

Заодно огляделся.

Зала была не столько широкая, сколько высокая, потолок сужался куполом, и оттуда через окошки было вечернее солнце, да так хитро, что входящие оказывались ярко освещены и слепли от лучей. Яшка в первую минуту только и разглядел, что некое возвышение, а на нем два кресла, великое и малое, да еще кто-то третий сидел прямо на полу, спиной к двери.

– Привет тебе, купец, – сказал хрипловатый, зычный голос. Такой бывает у больших воевод, кому надо в битве докричаться до многих воинов. – Шариф-мурза мне много про тебя рассказывал. Не трать времени на поклоны. Иди сюда, садись, и приступим к делу.

Шельма спохватился, что он тут толмачом. Перевел.



Бох нацепил барет обратно и неспешно пошел сквозь солнечные лучи. Опустился на подушки, неподалеку от человека, сидящего на полу.

Глаза немного привыкли к яркому. Яшка разглядел чалму, белую бороду, а потом и зеленые очки. Шариф – вот кто был третий.

Подсеменив поближе на коленках, Шельма выполз из слепящего сияния, пристроился за купцом и мурзой. Теперь можно было рассмотреть и особ на возвышении.

Тот, что заговорил, сидел на троне пониже. Это, конечно, был

беклярбек Мамай, истинный правитель Орды. Что владыкой зовется не он, ничего не значило. В Новгороде вон тоже князь есть, а вся власть у посадника. Честь – одно, власть – другое, они не всегда вместе.

По привычке стал Шельма определять, в какую породу записать великого человека. Борода у Мамая была рыжая с проседью, и седины больше, чем рыжины, как в шерсти у матерого волка. Притом движения быстрые, молодые. Похож на лук с натянутой тетивой. Или на барса, готового к прыжку. Взгляд скорый, цепкий, будто удар когтистой лапой. И вот огненный этот взор обратился на согбенного Яшку – тот вострепетал.

– Толмач? Ближе сядь. Туда.

Короткий палец с сияющим перстнем показал куда: между беклярбеком и Бохом.

Шельма подполз.

Опасный зверь. Лиших слов тратить не любит. Люди очень большой власти знают, что каждое ихнее слово много весит, поэтому зря не расходуют.

Долго пялиться на Мамая было боязно, и Яшка скосился на хана.

На Руси его звали Мамат-салтан, татары Мухаммед-Булаком, а полностью законный государь Золотой Орды именовался хан Гияс-ад-дин Мухаммед-Булак.

Был он совсем юный, почти отрок. Лет восемнадцати, вряд ли старше. Похож на красивую дорогую игрушку. Густые брови будто нарисованы тушью, длинные ресницы словно насырмлены, на белых щеках нежный румянец, глаза – черный агат. Повезет невесте, дочке степного разбойника Тимур-Ленга, коли ей такой жених достанется.

Вон она – настоящая царская порода, подумал Яшка, поневоле залюбовавшись. Внук, правнук и праправнук самых красивых и здоровых женщин, самых сильных и удачливых мужчин – ибо бессчастные слабаки в Орде на троне не засиживаются.

Будучи в Любеке видел Шельма германского цесаря Каролуса, следовавшего через город по своим цесарским делам. То есть, самого-то императора, конечно, не видел, тот восседал в закрытой златой карете, но на свиту и слуг попялился. Там, в самом хвосте, шли псари, вели гончих и борзых собак, каждая ценой с хорошую деревню. Хан Мухаммед-Булак был очень похож на такого пса – гибкий, тонкий, трепетный. Сразу видно: ничем грязным и земным никогда не заботился. Так оно, может, и надо: чтоб царь был картинкой – только на него любоваться, и ничем бы не пачкался, а пачкается пускай беклярбек.

Неуместные мысли сжались и пропали, потому что Мамай вновь

обратился к Яшке, хоть глядел на Боха:

– Скажи своему хозяину, толмач, что про железные трубы я знаю. Шариф-мурза сказал: хороши. Если поставить их в правильном месте и вовремя использовать, они могут пробить брешь в рядах врага, испугать его и решить исход битвы. Хочу спросить про другое. Взломают ли они каменную стену толщиной в пять аршинов?

– «Пять аршинов» это двенадцать футов? – осведомился у Яшки купец. Поразительно, до чего уверенно он держал себя с грозным ордынским властителем. Глаз не отводил, смотрел на Мамая, будто оценивал, сколько тот стоит. – Если несколько раз попасть чугунным ядром в одну точку, стена не выдержит.

Беклярбек засмеялся. Зубы у него были белые, крепкие, острые.

– Значит, Москва будет наша! Ты хорошо придумал, Шариф, что зарыл пушки близ русских пределов. Недалеко будет везти. А ты, купец, скажи, долго ль учиться стрельбе из твоих бом...баст? – не сразу вспомнил он новое слово.

– Стрелять просто, – ответил Бох, дождавшись перевода. – Трудно попадать в цель. Но четверо моих княхтов пойдут с твоим войском до Москвы. Они сумеют пробить стену.

Мамай довольно кивнул.

– Очень хорошо. Сначала ты получишь задаток. Если же твои бомбасты окажутся в осаде так же полезны, как в поле, я щедро одарю тебя из русской добычи. Сколько ты хочешь задатка?

– Нисколько. И того, что ты захватишь на Руси, мне тоже не нужно. Лучше выдели для моей конторы двор в Сарае. И попроси Тамерлана сделать то же в Самарканде, когда вы заключите союз.

Румянный хан, всё время молчавший, но нетерпеливо ерзавший в своем высоком кресле, открыл рот – хотел что-то сказать, но беклярбек поднял руку: погоди – и Мухаммед-Булак со вздохом сомкнул уста.

– Подворье в Сарае ты получишь нынче же. С Тимур-Ленгом я вступлю в переговоры после победы над мятежными руссами. Великий государь, – взмах в сторону юного хана, – собирается осчастливить дочь самаркандского эмира своей благосклонностью. Шариф сказал, что ты привез подарок для сватовства. Достоин ли он моего высокородного повелителя?

Здесь Мухаммед-Булак уже не выдержал.

– Что ты мне привез, купец? – воскликнул он, подавшись вперед. – Мой дар должен не только завоевать сердце девы, но и поразить Тимура, а его поразить трудно. Он видел много чудес.

– Деловая часть аудиенции окончена, – пробормотал Бок как бы сам себе. – Быстро управились. Канцлер – серьезный господин, бережет свое время... Скажи королю, Яшка: «Сейчас ваше величество увидит собственными глазами». Потом пойдешь и приведешь Габриэля. Да пни его хорошенько, пьяного болвана, чтобпротрезвел.

Шельма почтительнейше, не поворачиваясь к тронам спиной, пополз к двери. Задом ползти выходило не очень-то ловко. Шурша мимо мурзы, Яшка потерял равновесие и был вынужден ухватиться за старика – тот недовольно отстранился.

Бок поморщился:

– Перестань валять дурака. Ты же видишь, канцлер не придает значения глупостям. Встань иди.

Только тогда Шельма осмелился подняться и, кланяясь, медленно допятился до выхода.

Зато, оказавшись, за дверью, стал двигаться очень быстро. Тут каждый миг был на счету.

Габриэль сидел там же, где его оставили. Уже не улычивый, а хмурый. Тер лоб, щурился. Действие дурмана заканчивалось.

– Господин велел тебе досчитать до ста и войти вон в ту дверь, – сказал Яшка. – А я побегу, у меня срочное поручение.

Больше, чем до ста, было нельзя – удивляется, что очень долго, и пошлют кого-нибудь еще. А тут только начнут удивляться, а Габриэль – вот он. Пока снимет пояс, пока вытянет цепь, пока все будут хлопать глазами, соображать – лишние мгновения. А они сейчас ох как дороги.

– До ста? – промямлил Габриэль. – Я до ста не умею.

Схватил Яшка со столика кубок с засахаренными орешками, рассыпал.

– Собери все по одному. Как закончишь – пора входить. Понял?

И припустил прочь, по дворцовым переходам. Всем встречным кричал: «Приказ беклярбека! Посторонись!»

Бег по пушистым коврам был бесшумен, но недостаточно скор. Эх, сейчас бы сапоги-скороходы.

Но не было у Яшки никакого волшебства, кроме собственной смекалки. Хотя она-то, смекалка, может быть, самое главное волшебство на свете и есть.



Хождение за три степи



— ...Семьнадесят два, семьнадесят три... Гони, гони! — торопил Шельма бачку.

Бачка — конный человек, промышляющий извозом. В огромадном Сарае из конца в конец на своих двоих не натопаешься. Для того придумана удобная служба: садишься за спину бачке, на мягкую подушку, и тебя отвозят куда пожелаешь, четверть дирхема за каждые три версты. Если груз, можно взять тележку, но это стоит вдвое.

Бачке был обещан целый дирхем — за скорость, и мчались с ветром. Не так-то было и далеко, а все же во двор караван-сарайя Яшка попал лишь на счете «сто да сорок».

По пути всё прикидывал.

110 — это Габриэль подошел к стражникам. Они отбирают у него нож, рассматривают гребень. Он отдавать не хочет.

120 — допустили.

125 — Бах велит снять пояс.

135 — змей-горыныч тянет медную цепь...

Дальше воображать стало страшно, да и копыта уже стучали по каменным плитам караван-сарайя.

Конь так и стоял оседланный. Взлетел Яшка в седло, пнул в горячие бока каблуками.

Поскорей затеряться средь городских улиц!

Было два вероятия: плохое и совсем плохое.

Совсем плохое, если Бох объявит Мамаю, что обманут слугой, и беклярбек кинет клич по всем сторожам и заставам. Тогда не уйти, возьмут прямо в Сарае.

Что Бох не сразу сообразит, чьих рук дело, Шельма даже не надеялся. Немец остромысленный, враз скумекает.

Надежда была на иное. Именно из-за острого разума купчина так же быстро смирит, что ему перед Мамаем выставлять себя дураком незачем. И шума поднимать не станет.

Как он выкрутится? Да уж что-нибудь придумает, он ушлый. К примеру, скажет: «Прости старого человека, беклярбек. Ради пущей сохранности я дал нескольким слугам ложные пояса, и ныне перепутал, не того с собою взял. В другой раз покажу». Или еще как-нибудь набрешет. Что Мамаю-то? Он ведь денег за златую змею еще не заплатил.

Тогда Бох снаряжит погоню за Яшкой сам. Это, конечно, тоже не шутка, тем более что купцу поможет Шариф-мурза. Однако тут уже есть надежда.

Пока старые приятели уединятся, пока Бох объяснит, пока мурза распорядится. Сколь бы он ни был могуществен, все же не Мамай, слуг у него меньше.

А за это время Яшка уже далеко будет. Благо стемнеет скоро.

Только уходить надо не туда, куда они ждут, а в иную сторону.

Поэтому, достигнув окраины (хорошо, что в Сарае ни ворот, ни стен), Шельма повернул не на северо-запад, где русская земля, а к юго-западу.

На Руси с золотой змеей опять же и делать нечего. У кого там есть деньги такое сокровище купить? Разве что у великого князя московского, но он покупать не станет, а попросту отберет.

Из степи накатывали сумерки, быстро перешедшие в спасительницу-тьму. В оставшемся позади Сарае никто не был в била, не шумел тревогу, как сделали бы, прикажи Мамай сыскать государственного преступника.

На душе стало малость полегче.

Яшка достал из сумы нарядное татарское платье, купленное утром в Одежном ряду, перерядился.

Поехал медленно, по мягкой траве. Негромко. Навострил свои замечательно слухастые уши.

Где тут у вас дозор?

Из темноты донеслось ржание. Яшка остановил коня, приложил к уху ладонь.

В ночи голоса доносились далеко, каждое слово разберешь.

– Всё исполним, Курман-юзбаш, будь покойен, – сказал невидимый в ночи нукер, обращаясь к своему сотнику.

– Носом не клевать! Прислушиваться, не крадется ли кто степью, – строго молвил начальственный голос.

Быстрый топот – кто-то зарысил в сторону.

Тронул с места и Шельма. Выехал прямо на дорогу, чтобы копыта громче стучали о плотно сбитую землю. Еще и уздечкой позвякивал.

– Кто там? А ну стой! – крикнули впереди.

Подъехал всадник.

– Пайцзу на выезд покажи.

– Ты из людей сотника Курмана? – важно спросил Яшка. – А ну, кликни его сюда. Живо!

И достал из-за пазухи золотую пайцзу – не зря, уползая из ханской горницы, к старому Шарифу прислонился.

Нукер чиркнул кресалом, запалил трут. Увидел пластинку с золотым львом, какая положена самое меньшее темнику. Ахнул. Сдернул малахай. Хотел из седла спуститься, земным поклоном поклониться, но Яшка остановил.

– Курмана ко мне. Стрелой!

Не прошло двух минут, как воин вернулся со своим начальником. Шельма показал пайцзу, подставив ее лучу очень кстати выглянувшего месяца. Сверкнуло золото.

Сотник спрыгнул наземь, приложился лбом к стремени. Тогда Яшка сунул юзбашу пластинку прямо под нос, чтобы было видно: пайцза не просто золотая, а со львом.

Татарин пал на колени.

– Я жду твоих приказаний, господин.

– Вели нукеру отойти. Секретное дело...

Понизив голос, Шельма важно объявил:

– Я Шельмач-мурза, советник беклярбека Мамая, да хранит его Аллах. Еду в дальние края с поручением великой важности и тайности, поэтому покинул город ночью и без сопровождения. Возьми десяток воинов и следуй со мной. Я поехал по этой дороге, зная, что встречу здесь тебя, Курбан. Мне сказали, что ты всегда рад отличиться. Тебе повезло. Лови арканом жеребца удачи. Смотри, не упусти.

– Я твой верный раб, благородный мурза! Ты останешься мной доволен! – воскликнул сотник. Немного покряхтел, осторожно спросил: – Далеко ли мы поедем, господин?

– Далеко. Куда – тебе знать рано.

– Я не выпытываю, господин! – поспешил сказать сотник. – Куда скажешь, туда и отправлюсь. Но хорошо бы сначала заехать в аил. Взять заводных коней, припасов на дорогу...

Хочет попрощаться с семьей, догадался Яшка. Оно и понятно, по-человечески, да только времени нет.

Отрезал:

– Нельзя. Коней, еду – всё получим по дороге.

И получали, без малейших затруднений: свежих лошадей, припасы, юрты для ночлега. Перед волшебной табличкой склонялось всё.

Одному с такой пайцзой ехать было бы подозрительно – не бывает, чтоб носитель золотого льва следовал без свиты. Ныне же выглядело внушительно: впереди, в важном одиночестве прегордый мурза, за ним конные воины, и один держит шест с тремя белыми хвостами – на первом же привале Яшка велел изготовить, оставили в табуне трех бесхвостых белых кобылиц.

Намеченный путь, по которому можно было не бояться погони, вел через две степи, ногайскую и азакскую. На пятый день, в ногайских кочевьях, Шельма доверительно сообщил Курману, что они направляются в крымскую Кафу, с важным поручением к генуэзскому эмиру-консулу.

– Из-за войны с russами? – понимающе шепнул юзбаш. – Вон оно что! Ходят разговоры, что беклярбек, да хранит его Аллах, хочет нанять тамошних пехотинцев, которые умеют строиться черепахой и пробивать вражеский строй длинными копьями.

– Не твоего ума дело чего хочет беклярбек, да хранит его Аллах, – осадил Яшка сотника, однако не стал опровергать догадку. Она была кстати.

В Кафу нужно было вот зачем.

Во-первых, чтоб обмануть преследователей.

Во-вторых, у генуэзцев там наиглавнейший после Сарая рынок, где Запад встречается с Востоком. Лучше константинопольского. И драгоценными каменьями торгуют, хорошую цену могут дать.

В-третьих же – из Кафы ходят корабли в дальние страны, а Яшке теперь надлежало уплыть куда-нибудь на край земли, где Бог не същет и Габриэль не достанет.

Ради столь важных надоб и две степи не околица.

* * *

Путешествие через ордынские земли было спокойным. При Мамае повсюду установился строгий порядок. Твердая власть баловства не любит. Мятежных беков, которые грабили кого хотели, Мамай усмирил, разбойничьи шайки повывел. Йамская служба работала исправно: от йама до йама, как положено, пол дневного перехода, и всюду кров, еда, подмена для лошадей. И чего русским под татарами не живется? Основательный народ. Торговлю охраняют, в чужие дела носу не суют, подать берут скромную – всего десятину. Князь-то московский, Дмитрий Иванович, ту десятину всё одно собирает, только не в Сарай шлет, а себе оставляет. И чем оно для людей лучше? А сейчас начнется война – города и села сгорят, крестьяне разбегутся по лесам, покроются поля мертвыми телами. Прав Бох: хуже войны ничего нет.

Так и ехалось без малого тысячу верст от Сарая до Азакского моря – под всякие мысли и мечтания, причем мечтаниями Яшка увлекался больше, чем мыслями. Поглаживал пояс, в коем почивала волшебная змея, и мечтал про восемь тысяч дукатов.

…На десятый день вдали заблистала большая вода. В морском городке Матрике погрузились на пузатый итальянский корабль, называемый «неф», переправились через узкий пролив в Крым. Здесь уже были генуэзские владения.

Еще через день, утром, достигли Кафы, стоящей по-над берегом большой бухты.

В знаменитом этом городе Шельме прежде бывать не доводилось, а он оказался велик и пышен. Тыщ сто разноплеменного народа здесь обитало, вряд ли меньше.

Грозных каменных стен было аж две: большая в обхват всего города и малая вокруг кремля, стоящего на холме. Башен – не счесть. Дома тоже всё больше каменные, с красными глиняными крышами. Над крышами – острые зеленые перья кипарисов. Не Сарай, конечно, но все равно нарядно.

Свою охрану Шельма оставил в посаде, на постоянном дворе с вывеской «Fondaco», бес ведает что означавшей. Возвращаться сюда у Яшки рассуждения не было. Зачем ему в Кафе нукеры, а отправлять их честь по части назад в Сарай, это придется выдавать прогонные да разъездные. Без золотой пайцзы кто им что даст? А на одиннадцать всадников оно накладно выйдет. Деньги-то, положим, были, плата от Боха,

но зачем их на ветер пускать? Они не любят. Поэтому юзбашу было велено дожидаться, и своего коня Яшка тоже оставил в фондаке. Все равно на корабле плыть. Захватил только кошель, а змеюшенька и так всегда была при нем.

* * *

В городе Яшка торопыжничать не стал. Обошел все кварталы, огляделся, всё нужное заприметил.

Строились генуэзцы основательно, не хуже сарайцев, но много тесней. Узкие улицы тянулись от стен к вершине холма, на котором высилась цитадель. Там – консультский терем, епископские палаты, городское судилище, все лучшие лавки.

Ладно.

Спустился в гавань, где густо стояли фряжские, греческие, турецкие, францкие корабли. Чего там только не сгружали-погружали! Пшеницу, выпаренную соль, ткани, сушеную рыбу, дыни-арбузы, всякие ремесленные изделия. И конечно, рабов. Их отсюда увозили на далекие рынки Египта, Палестины, Мавританской Гибралтарии. Взамен саживали другой живой товар: африканских верблюдов, арабских скакунов, обезьян, многоцветных птиц. Верблюды-скакуны – понятно, но кому надобны обезьяны с бесполезными птицами, было непонятно. Верно, каким-нибудь богатеям, друг перед дружкой выставляться. Ни за чем не нужные товары – они самые дорогие.

Одна индийская птица именем «папагала» Яшке очень понравилась. Ее продавали прямо на причале, за большие деньги, два золотых, потому что она была говорящая, повторяла чего скажут.

Яшка ей:

– Дура ты дура.

Папагала наклонила хохластую башку, поглядела круглым глазом, ответила:

– Дура ты дура.

И Яшка расчувствовался. Вспоминал, как в отроческом возрасте сам работал такой же папагалой.

Было ему лет одиннадцать или двенадцать (своих лет он ведь в точности не знал); питался тем, что на Торге показывал штуку: кто что ни скажет, сколь угодно длинное, или на чужом языке, иль просто белиберду – повторял в точности. Память на звуки у него сизмальства была цепкая. На

хлеб такого заработка хватало, на пряники – нет.

И вот однажды какой-то свейский купец-суконщик заставил повторить длинную абрақадабру: «Исколенальцабедъяселундафатерверсомерихимелен». Остался доволен, погладил по голове, дал серебряный грош и позвал с собой. Предложил выгодную службу. Нужно было запоминать всё, что он скажет на своем свейском языке, и передавать другому swoю, который сидит в конторе на реке Волхов, где оптовая торговля.

Стал Яшка бегать от одного к другому, повторял непонятное. В обоих концах мальчишке давали по монете, и зажил он славно. Хватало и на пряники, и на многое другое. Однако через месяц-другой Яшка уже понимал по-свейски и сообразил, что к чему. Это они между собой сговаривались за один и тот же товар одинаковую цену назначать. По новгородскому закону это запрещено. Когда продавцы вговоре, покупателям убыток. Поймают – плати большую пеню, и еще палками побьют. Вот свеи и хитрили. Придет покупатель к одному: дорого. Пойдет ко второму – а у того столько же. И покупали, потому что никто больше в Новгороде свейским сукном не торговал.

Маленький Шельма придумал вот что: срядился с одним русским суконщиком. Первый свой ему сказал: отпускаю товар по два сребреца за штуку. Суконщик пошел ко второму. А там уже побывал Яшка, сказал по-свейски, чтоб отпускал в полцены. Второй удивился, но ничего. Продал новгородцу всю партию. На радостях покупатель дал Яшке целую гривну, первые настоящие деньги в Шельминой жизни.

Эх, милое отечество. Приятно вспомнить.

Родственной птице Яшка подмигнул, пообещал: выкуплю тебя, не пожадобствую. Вот только змею продам. И пошел себе дальше.

Гуляючи приметил одежную лавку. Купил фряжского платья. Сразу и переоделся. В Любеке тоже хаживал во всем немецком, похожем на фряжское, привычка имелась.

Куцый и тесный европейский наряд хуже и просторного русского, и легкого татарского, но так следовало для дела. Влез Шельма в обтяжные портки-шоссы, в кружевную рубаху-камизу, потом еще в одну, льняную, называется котта, а сверху солидному человеку надлежало носить малый атласный кафтанчик-дублет и сверху другой, бархатный пурпурен. Стал Яшка будто капустный кочан. Нахлобучил на голову барет точь-в-точь как у Боха, только попросил для красы перо воткнуть. Переобулся в короткие мягкие сапожцы с загнутыми носами.

Хозяин был француз, стрекотал с приказчиками по-своему.

Прислушиваясь к их скорой певучей болтовне, Яшка подумал, что францкий язык нетрудный. *Бот* – сапог, *шапо* – шапка, *депеше* – поспеши, *апорт* – неси порты. Недельку-другую и, пожалуй, заговоришь. К франкам, что ли, податься? Нет, ну их, там все время воюют. Лучше в Италию. Сказывают, край веселый, богатый, а фряжский говор совсем легкий. Назваться можно Джакопо Шельми – красиво.

Как полагается лавочнику, торговому в бойком морском городе, хозяин объяснялся и по-немецки, и по-татарски, и немножко по-русски. Брея Яшке ненужные теперь ушишки-бороденку – бесплатно, в услужение за хорошую покупку, – францкий человек рассказал, что наипервейший кафский купец по дорожному товару (считай, местный *Бох*) зовется господин Синьёр Лонго. У него в Золотом ряду большая лавка-emporио, но самых важных покупателей он принимает дома. И объяснил, как тот дом найти.

* * *

Скоро Яшка уже стоял в верхнем городе, близ главной площади, перед изрядным каменным теремом в четыре жилья, при собственном подворье. Над распахнутыми вратами гипсовая фигура: бородатый мужик держит рог, из рога сыплются монеты, крашенные в золотой цвет. Знатно!

Прошел двором, где сутилась челядь, велел передать хозяину, что его желает видеть служитель из любекского торгового дома «*Бох Кауфхоф*». Не могло быть, чтобы Сеньёр Лонго не слыхал о таком.

В этом Шельма не ошибся. Слуга вернулся, низко кланяясь. Повел в дом, по широкой мраморной лестнице, вдоль которой стояли белокаменные статуи: полуголые и вовсе растелешенные бабы несочного сложения. У немцев в домах такого срама не бывает.

Сам купец ждал гостя в горнице, затейливо изукрашенной и полной разных диковин, однако рассматривать их Яшке сейчас было недосужно. Он впился взглядом в хозяина и сразу увидел: прехитрый колобок. Весь кругленький – лицо, тулово, взмахи полных ручек и даже голос будто катится на колесиках по гладкому.

– Всегда рад видеть посланцев многочтимого господина *Боха*, – на сююкающем немецком сказал Синьёр Лонго. – Что на сей раз угодно его милости?



Это хорошо, что Бох у него в такой чести.

– Зовусь я Якоб Шельменготт, старший приказчик. Мой господин возил в Сарай великую драгоценность, златой-алмазный пояс-змею, заказанный ханом Мухаммед-Булаком для сватовства. Однако неверные дали плохую цену. Хер Бох повелел мне ехать в Кафу и предложить сей товар твоему степенству, как ты есть первый во всех здешних краях купец. А коли не сойдемся, приказано мне плыть в Италию, искать хорошего покупателя там.

Пухлые губы фрязина сложились в колесико, глазки – в щелочки. Синьёр молчал, часто помигивая. Уставился на Яшкин лоб.

— Это у меня знак поставлен, в награждение за верную службу, — объяснил Шельма. — Буквица S, сиречь Sicherheit — «Надежность». Я у господина на полном доверии, так что даже имею при себе его личную печать. Приложу сей перстень к купчей, дабы у твоего степенства не осталось никакого сомнения. Изволь, взгляни.

И достал печатку, вытащенную из мантельташа у Боха, когда на прощанье по-сыновьи обнимал его, припадал к колену. Знал, что пригодится.

— Не нужно! — заплескал ручками Лонго. — Я разбираюсь в людях и сразу вижу, что господин старший приказчик — человек высокой пробы. Лучше покажи мне пояс, чтобы я мог оценить его стоимость. Очень интересно, очень!

Яшка широким, заранее продуманным движением вытянул из кожаного кушака чудо-змею, чтобы засверкала всей своей алмазно-смарагдово-лаловой чешуей.

Купец ахнул. Трясущимися руками, бережно принял сокровище, понес на широкий стол. Приложил к глазу лупу, склонился. Глядел — причмокивал, что-то по-своему приговаривал: инкредибile, кебелецца. Ясно: восхищался.

— Десять тысяч дукатов просим, — скромно молвил Шельма, чтоб был запас для торга.

Синьёр отложил стекло, похлопал на гостя глазками, что-то соображая или прикидывая.

— Таких денег нет ни у одного купца в Кафе. Нет их и у меня...

— Что ж, поплыту в Италию. Найду покупателя в Генуе, Венеции иль Милане.

Яшка забрал змею, слегка потряс, чтоб еще поиграла каменьями.

— Нет-нет! — поспешил сказать Синьёр. — Если я сказал, что у меня нет столько денег, это еще не означает, что я не могу их достать. Но мне придется взять ссуду в банке.

Что такое «банка», Шельма знал. Это такое купеческое заведение, которое торгует не товарами, а деньгами. Банка дает богатым купцам, князьям и даже королям ссуду под какое-нибудь дело, а после получает назад с прибылью. Еще банке можно отдать свои деньги на хранение — скажем, если путешествуешь в дальние края и боишься разбойников. Едешь себе налегке, с малой бумажкой. И в месте прибытия по той бумажке получаешь свои деньги обратно. Такой промысел у нас на Руси немыслим. Чтобы свои кровные чужому дяде отдать: на, храни — подобного дурака даже в Пскове не сыщешь, а глупее псковичей, как известно вся кому

новгородцу, на свете не бывает. Однако в итальянской земле как-то живут банки, не разоряются. Чудно, ей-богу.

— Я схожу к управителю банковской конторы «Барди» прямо сейчас. Подожди, хер Шельменготт, прямо здесь, — объявил хозяин. И крикнул: — Эй! Подать дорогому гостю вина, сыра, фруктов!

Засуетился, засобирался, укатился колобком за порог.

Дело, кажется, шло неплохо. Вишь, и торговаться не стал. Наверное, на после оставил. Вернется и скажет: мол, смог собрать только семь тыщ пятьсот, или сколько там. Хочешь — продавай, а то ступай на все четыре стороны. Что ж, это разговор деловой. Может, и сойдемся...

Шельма и обычно-то томился без движения, а сейчас, от великого возбуждения, не смог усидеть и полминуты. Вскочил с усидистого кожаного кресла, куда поместил его Синьёр, принял расхаживать по горнице, оглядываться, щупать всякие интересные штуки — не чтобы утащить (зачем, при таком-то богатстве?), а по привычке к любопытству.

Погладил стоявший на столе череп, оказавшийся чернильницей. Сунул нос в мудреные бумаги, покрытые цифирью в два столбца, сверху писано непонятное: «Debere» и «Credere». Сзади в столе были закрытые ячей — у Боха в Любеке такие же, запирались на малые ключики. У фрязина они тоже не открывались. Поковырять ножичком или гвоздем — откроются, но Яшка не стал. Больно надо.

Поглязел на образ Богоматери с Дитём, висевший на стене, — прямо как живые оба, глядят умильно. Но заинтересовался не иконописью, а венцом Пресвятой Девы. Он был не рисованный, а прицепленный к дереву и весь сверкал-переливался. Неужто из чистого золота?

Ни за чем, а просто для проверки Шельма потрогал блестящую корону. Она сидела некрепко, под пальцами вдавилась. И лязгнуло что-то в стене, крякнуло.

Яшка испуганно отдернул руку. Поломаешь святую вещь, которой и касаться-то грех, — что хозяин скажет?

Но оказалось, что это сдвинулся стенной шкаф с полками, на коих стопами лежали бумаги и пергаменты. И потянуло откуда-то сквозняком.

Там, за шкафом, была потайная дверь, а златой венец ее, стало быть, отпирал.

И как же было удержаться, не поглядеть, что за тайны у первого кафского купца?

Шельма протиснулся в щель, повертел головой и разочаровался.

Комната с узеньким окошком-щелью была маленькая и совсем пустая. Только из стены торчало несколько раструбов. Из них раздавались

какие-то приглушенные звуки. Яшка приложил ухо к одному отверстию – явственно услышал голоса, болтавшие по-фряжски. К другому – тоже голоса и какой-то шум, будто двигают нечто тяжелое или грузят. В третьей дырке было тихо. Из четвертой доносился сонный сап.

Вон это что! Подслуши. Шельма слышал про такое изобретательство. Греками придумано. Вставляют в стену трубку, и по ней можно подслушивать, о чем в доме говорят, хоть в самом дальнем покое. Следит, стало быть, Синьёр Лонго за приказчиками и домочадцами, хочет всё знать. Основательный человек, заслуживает почтения.

Яшке-то подслушивать непонятную фряжскую речь было скучно. Он подошел к окошку, выглянул. Оно, кажется, тоже было хитрое, с расширением – снаружи не заметное. Виднелась улица и въезд во двор. Тоже понятно: смотреть, что ввозят-вывозят.

Вдруг Яшка увидел хозяина, который, оказывается, никуда не ушел, а стоял в воротах, переминался с ноги на ногу, чего-то или кого-то ждал. Он же вроде собирался в банку идти?

Тут же Шельма объяснил себе: не пошел сам, потому что важная особа, послал слугу и теперь ждет, с какой вестью тот вернется. А нетерпеливо топчется оттого, что волнуется – сладится ли сделка. Хороший знак.

Решил Шельма тоже подождать. Сверху, конечно, разговора не услышишь, а услышишь – не поймешь, однако по выражению лиц, по движениям рук можно будет догадаться, нашлись деньги или нет. Десять тысяч дукатов, которые по-фряжски именуются «дженовино», это два с лишним пуда чистого золота. Еле поднимешь, но все-таки унести можно. Однако золотом заплатят вряд ли. Если же серебром, получится несколько возов. Целый корабль нанимать придется. А в море бури, мели, пираты.

Очень Яшка из-за этого вдруг забеспокоился. Хорошо бедному, у него заботы пустяковые. Если же у человека огромное богатство, которого можно лишиться, потеряешь сон и покой.

Купец дернулся, замахал кому-то рукой: сюда, сюда! Ага, посланец возвращается.

Шельма поглядел на улицу – от ужаса стукнулся лбом о пристенок.

Из-за поворота, быстро перебирая длинными ногами, неслась высокая, узкая, стремительная фигура, вся красного цвета. Полусползший капюшон болтался на затылке, будто петушиный гребень, сверкала голая макушка.

Матерь-заступница, Габриэль!

Как?! Откуда?!

Потемнело в глазах. Яшка чуть не сомлел. Но подстегнул великий

страх, сорвал с места.

Выскочил из комнатки, заметался, кинулся к выходу, оттуда на мраморную лестницу. Она была безлюдна, но снизу уже слышались шаги: кто-то там топал тяжелыми ножищами, кто-то семенил следом.

Спрятался Шельма за голую каменную женку, прижался к ее широким бедрам, сам сколь мог сузился. Выручай, бабонька! Не выдай сироту!

И вспомнилось то, на что по дурости сразу не насторожился.

Лонго этот почему-то совсем не удивился, что к нему в Кафу ни с того ни с сего явился приказчик любекского торгового дома. Где Любек и где Кафа? А еще спросил: «Что на сей раз угодно его милости?» На сей раз! А Шельма, взбудораженный близким богатством, и не скумекал. Значит, недавно уже был здесь кто-то от Боха!

– ...Нет, он ничего не заподозрил, – запыхаясь, говорил по-немецки иуда Синьёр. – И в точности такой, как описал в письме твой господин.

Прошли совсем близко, Яшку от быстрой Габриэлевой походки аж ветром обдало.

Не заметили.

Едва шаги удалились за поворот, Шельма благодарно чмокнул каменную тетку в гладкий зад, мышкой шмыгнул вниз по лестнице.

Кошкой через двор.

Ласточкой по улице.

Бежал, лязгал зубами.

И очень просто! Башковитый купчина Бох легко угадал, в какую сторону побежит вор и к кому может обратиться. Послал Габриэля, который, от виноватости перед хозяином и от злобы на Шельму, добрался до Кафы быстрее Яшки. Поди, в дороге не ел, не спал, чудище двужильное. И какая-нибудь важная пайцза от Шарифа-мурзы, тоже обворованного, у него, конечно, имелась – лошадей менять.

Вот уж беда так беда...

Златая змея по-прежнему тяжелила пояс, но Яшке теперь было не до богатства. Спастись бы. Ноги унести, хоть за тридевять земель.

Однако в порт соваться нельзя. Бох через того же Синьёра, поди, всех корабельщиков упредил.

Значит, за море не уплывешь.

В Орду тоже не вернешься, там Шариф-мурза.

В Литву? Нет, у литовцев с Мамаем союз. Запросто мог Шариф и в литовские пределы гонца с Шельминым описанием послать. Выдадут.

За что Яшка себя любил – если он, случалось, и пугался до морозной дрожи, голова от страха никогда не задубевала.

Решение придумалось на бегу, быстро.

Не выдадут только из Москвы, которая с Ордой в войне. Ни мурза туда не сунется, ни Бок. Вот куда бежать, единственно. Далеко это, но другого ничего не остается.

…Влетел на постоянный двор, растолкал дрыхнувших после долгой дороги татар:

– Курман, всех в седло! Едем дальше!

Юзбаш с изумлением уставился на Яшкин фряжский вид, голую морду.

– Так надо, – сказал Шельма. – В дороге переоденусь в человеческую одежду. Теперь скакем на север. Живо, живо!

И взмахнул златольвиной пайцзой.

Настроения у Яшки менялись быстро. Ужас схлынул, осталось одно на себя любование.

Везучий он все-таки. Хранит судьба своего любимца.

Не стал бы шарить по синьёронговой горнице, не нашел бы тайную комнатку. Не выглянулся бы в оконце – просмотрел бы Габриэля. И сгинул бы, как муха, увязшая в меду.

Но он не муха – комарик. Упорхнул. Поди теперь, поймай на вольном просторе.

* * *

Ехали за третью неделю уже третьей степью – Задонской. В последнем ордынском йаме, близ Азака, взяли запасных лошадей, потому двигались быстро, а Шельма еще и подгонял, часто оглядываясь назад. Всё мерещилось, что выскочит откуда-нибудь страхожуткая нечисть в кровавом наряде.

Сотнику было наврано, что после Кафы таинственный Мамаев посол едет в литовскую землю, к великому князю Ягайле, ордынскому союзнику.

Однако у слияния реки Улы с речкой Медянкой, где сходятся переделы трех держав – ордынской, литовской и рязанской, – Яшка со своей верной стражей расстался.

Прощался – чуть слезу не пустил. Привык за столько времени к Курману и его воинам. Хорошие люди татары – начальство уважают, слушаются без ропота, лишних вопросов не задают. Однако в московских землях, до которых отсюда было рукой подать, этакое сопровождение

ничего кроме беды не принесло бы.

— Дальше поеду один, без огласки, совсем тайно, — сказал Шельма. — А ты, юзбаш, передай от меня Шариф-мурзе, моему старому другутоварищу, вот этот сверток. Скажи, от Шельмы-мурзы с поклоном, на незлую память. Шариф тебя за то наградит.

В свертке лежала краденая пайцза, которая на Руси была не нужна. Найдут — решат, что татарский лазутчик. И еще был подарок, купленный в Кафе на базаре: изречение Пророка, писанное золотой арабской вязью, из Корана: «Кто простит и восстановит мир, поистине тому назначена награда у Аллаха».

Простить Шариф, конечно, не простит, но, может, хоть сильно злобиться перестанет. Зачем нужен Яшке в ненавистниках столь могущественный человек? Боха с Габриэлем куда как достаточно.

Переправился через полувысохшую Медянку, где вода лошади едва доходила до бабок, поехал дальше на север один.

Голая степь скоро кончилась, потянулись рощи да перелески. Края эти были спорные, переходившие то под руку Москвы, то к Литве, то к Рязани. В последнее время здешние князьки (они назывались верховскими) вроде бы держались Дмитрия Ивановича Московского.

Мысль у Шельмы, под стать просторам, гуляла вольно и широко. Умному человеку с самим собой скучно не бывает. Всегда есть с кем поговорить и поспорить, да без обид и насмешек.

Поглаживая себе бока и брюхо, обогреваемые свернувшейся алмазной змеей, Яшка прикидывал, как ее, голубушку, получше пристроить.

В Москве продавать нельзя, это ясно. У тамошних купцов и денег таких нет, а признают слуги великого князя — отберут в казну. У москвичей это быстро, и не пикнешь.

Однако можно выколопнуть один камешек. Под Кремлем, на Подоле, есть купчина, который за алмаз, лал или смарагд даст хорошую цену, рублей полста или больше. И не спросит, откуда такая краса. На эти деньги купить обоз куньих, бобровых и собольих мехов да перегнать в орденскую Неметчину. Не через Новгород, конечно, где у Боха глаза и уши, а через тот же Псков.

В Риге выковырять и продать все остальные камешки, по отдельности. Вместо них вставить янтарю. Это он в Риге ничего не стоит, а у арапов ценится не дешевле лалов. На вырученные деньги нагрузить большой корабль северным товаром — рыбьей костью с Мурмана, ворванью, тем же мехом. И поплыть вокруг Европы, всюду приторговывая, к маврам в

Испанию. Там янтарную змею продать султану. Этак можно не восемь тысяч, а все восемнадцать убарсучить.

От сладких мечтаний Шельма замедовел, размягчился. Оттого и утратил сторожкость.

В некоей роще, едучи, был вдруг подхвачен с двух сторон, выволочен из седла, брошен наземь.

Какие-то сивобородые мужики, с топорами, держали обомлевшего Шельму крепко. Приговаривали:

– Попался, татарин! К Сычу его!

Взяли за шиворот, связали руки, потащили.

Яшка бояться боялся, но лишнего пока не болтал. Тут со словами ошибиться было нельзя. Не к месту что-нибудь ляпнешь – пропал.

Приглядывался пока, что за люди. Разбойники? Вряд ли. Больно рожи скучные. А кто – непонятно.

Это еще неизвестно, к кому хуже в лапы угодить – к разбойникам или не поймешь к кому.



Сказ о добром молодце и красной девице



– Ишь, на лбу-то, Мить, глянь. Знак поганый.
– Глазами лупит. Иди, нерусь.
– Щука, на сапоги ему глянь. Кожа-то, а?

Прислушиваясь к косноязычным словесам своих захватчиков, глядя на их грубые рубахи и лапти, принюхиваясь к кислому земляному запаху, Яшка с удивлением понял: мужики и есть. Крестьяне, смерды. Которые, прости господи, землю сохой скребут.

Чтоб мужичье, деревенщина, напали на проезжего, это невидалъ небывалая.

К смердам и городскому черному люду, кто горбом и потным кряхтением живет, Шельма относился с презрением. За что уважать тех, кто согласен, подобно волу, тащить тяжкое ярмо, кто без ропота сносит муравьиное существование, одевается в рванье, жрет солому пополам со жмыхом? Он, Яшка, лучше сдох бы, чем так жить.

Мужики – дурни, ничего не соображают и не умеют, им только грязную работу делать.

Эти вот: обшарили, обыскали, а цепь, спрятанную в поясе, не нашупали. И Бохову печатку в запазушном схроне не нашли. Даже в седельные сумы не заглянули. Хороши разбойники.

Отбрехаться от таких будет нетрудно. Однако сначала нужно

разобраться, к какому-такому сычу ведут они «татарина».

Через малое время приволокли тихого и послушного Яшку на поляну. Там – большой шалаш из веток-листьев, перед шалашом костер, на костре котел. У котла, помешивая, стоял сильно пожилой дядька в полуседой бородице. За поясом, как у остальных, топор на длинной ручке, однако за спиной имелось и настоящее оружие: лук с колчаном.

Мужики разом, в несколько голосов, зашумели, что взяли татарина, Мамаева лазутчика. Бородача называли не Сычом, а «Федорычем». Стало быть, Сыч – прозвище.

Теперь Шельма начал кое-что понимать.

Знать, война с Ордой уже началась, и смерды – ополченцы – выставлены дозором. Сыч этот у них за начальника. У него рубаха без заплат, на ногах не лыко с онучами, а сапоги.

В отличие от гомонливых мужиков Сыч был молчалив, разглядывал Яшку тяжелым, спокойным взглядом. Глаза выцветшие, всё на свете повидавшие, цеплющие. А всё равно деревня.

Теперь стало ясно, как себя держать.

– Я не татарин, я русский, – объявил Шельма. – А ну, старшой, вели меня развязать. Я в Москву пробираюсь, к великому князю, с тайным донесением. Вы сами чьи? Оболенского князя люди? Или Одоевского? Ведите меня скорей к самому главному вашему воеводе.

Но Сыч-Федорыч важных слов не испугался, а подошел ближе и зачем-то раскрыл у Яшки на груди ворот. Пальцы жесткие, в мозолях.

– Ребята, спускай ему порты.

Взвизгнул Шельма, забился в крепких мужицких руках, но куда денешься?

Нижнюю, заголенную часть обдало холодком. Сыч наклонился, сам себе кивнул:

– Врешь. Ты татарин. Креста на груди нет. Сам обрезанный.

Обрезание Яшка сделал, когда в Сарае банщиком устраивался. Нельзя там было без обрезания, голые же все. Претерпел болезненность, зато потом вознаградился сторицей. Но не объяснишь же такое лесному сычу?

Однако не растерялся:

– Я у татар жил. Как же не обрезанному? У басурман ко мне веры бы не было.

– Тебе и тут веры нет, – молвил Сыч. – А что у него в сумах, ребята?

– Не поглядели мы, Федорыч...

Пошел рыться сам.

– Эка. Кошель полный... А это что? – Достал фряжский наряд,

купленный в Кафе. – Одёжа немецкая. Так кто ты, лисий хвост: татарин или немец?

– Лазутчику нужно по-всякому облачаться. Бывает, что и немчином. Я русский! Великого князя Дмитрий-Ивановича слуга. Вот крест на себя кладу! Время на вас дураков трачу, а оно дорого. Мамай идет! Чьи вы люди, дядя? Отвечай!

Шельма знал одно: держаться надо уверенно и грозно, иначе прибывают по-тихому и закопают, прельстившись златом-серебром. Для них, сиволапых, Боховы дукаты и талеры – сокровище несметное. Тут и дураки сообразят свою выгоду.

Но Сыч, видно, был не из сообразительных. Кинул кошель обратно.

– Мы-то князя Глеба Ильича Тарусского, – медленно сказал он. – Желаем за Русь постоять. А тебе веры нет. Я душу по глазам вижу. И твои глаза, обрезанный, брешут. Однако прав ты. Не моего ума дело, чей ты лазутчик. Отведем тебя к князю. – И отвернулся, будто Яшка был ему более не надобен. – Ребята! Каша не доварена, но ешьте какая есть. Пора в город. Этого связите покрепче, и про ноги не забудьте. Не сбежал бы.

Крестьяне наскоро, вынув из-за онуч ложки, похлебали горячего хлебова. Мужичье никогда жратву не бросит. Пока чавкали-хлюпали, Яшка молчал. Во-первых, знал, что по ихнему простецкому обычаю во время еды говорить срам. А во-вторых, больно уж тертый оказался Сыч, даже удивительно. При таком словесные кружева плести – только время тратить.

Иное дело – в дороге.

Сыч пошел первый, за ним еще четверо, и в самом хвосте двое вели под уздцы лошадь, на которой связанным кулем поперек седла висел Шельма.

– Как вас звать, православные? – тихо, душевно просипел Яшка.

Сейчас главное было беседу завязать.

Один лапотник назывался Фокой, другой Щукой.

– Хороша ль была каша?

– Сырая, – буркнул Щука.

– Поди, голодные остались? – Шельма участливо вздохнул. – Достаньте у меня из левой сумы узелок, угоститесь.

Достали. Смерд никогда от дарового харча не откажется.

В узелке лежали толстоскорлупные волошские орехи, из крымского запаса. В дальней степной дороге – самая лучшая пища. Два-три слопал – сыт, и сила есть.

Мужики, конечно, такого дива отродясь не видали.

Сунули в рот – не укусишь.

– Не так, – сказал Шельма. – Расколоть надо. Дайте сделаю. Сами не управитесь. Развяжите руки. Ох, сладки орехи!

Мужика на еду всегда заманить можно. На что другое они недоверчивы, а на еду – всегда.

– Развяжи его, Щука, – молвил Фока. – Куды он денется? Попробуем сладости.

Потирая свободные запястья, Яшка уселся в седле боком. Раскол два ореха ладонями – тут сноровка нужна. Дал дурням.

Сейчас ударить каблуками коня в бок, руками вцепиться в гриву – и поминайтесь, пни тарусские, как звали.

Сыч обернулся. Вынул из-за спины лук. Потрогал пальцем оперение стрелы, глядя на Шельму нехорошим взглядом.

– Эй вы, бестолки! Заморочил вас татарин? Ну-ка свяжите его обратно. И кляпом пасть заткните. Больно речист.

Сунули Яшке в рот грязную тряпку, и лишился он языка, главного своего оружия.

* * *

Таруса оказалась дрянь городишкой. Если б не поросший кустарником земляной вал, огораживавший сотню домов с церквушкой, зваться бы Тарусе селом. На несильно крутом берегу, близ соснового бора, стоял малый градец, покачивался в ранневечернем тумане, отражался в предзакатной воде широкого речного разлива, так что Тарусс получалось две: одна сизая, другая малиновая. И обе маленькие – тьфу, не на что смотреть. Шельма в этаких мелких селищах, которых на Руси многое множество, не видел никакого смысла. Ни торговли, ни богатства, одно небокоптение.

Проехали единственной улицей к площаденке, где княжье подворье – и не подворье даже, а ветхий, почерневший от времени терем с высоким, но покосившимся крыльцом. Зaborа, и того не было.

Там толпились люди: десятка два кольчужных дружиинников, человек сорок мужиков с топорами. Собрались куда-то. Надо думать, на войну. В сторонке – бабы, заплаканные, молчаливые. Это у черного люда такой глупый обычай: если кто отправляется на войну или в дальнее странствие, провожать с ревом и причитаниями нельзя, а то живыми не вернутся. Мужикам же не положено оглядываться на жен и вздыхать. Потому бабы и мялись сами по себе. Когда ополчение уйдет, они заголосят. Но не раньше.

Оно и в Новгороде так, у простых-то.

Еще на площади были две запряженные телеги и оседланный конь, без всадника.

Смерды обступили Сыча, стали спрашивать про Яшку – откуда-де татарин.

– Где князь? – спросил Федорыч, ничего не объясняя. – Почему вы доселе тут, вояки? Я-то думал, вы уже в походе, догонять придется. Кто на ночь глядя выступает? Через час-два темно будет.

Ему ответили:

– Мы что? Князь всё с невестой прощается. От послеполудня ждем.

Яшка жевал тряпичный ком, вертелся на лошадиной спине, выворачивался, чтоб лучше видеть и слышать.

– Развяжите ему ноги, посадите в седло, – велел Сыч. – Куда он теперь денется. А подойдет князь, выньте кляп.

Тут на крыльце вышли трое, и Шельма на мужичье смотреть перестал.

Девка и двое мужчин. Ну-ка, который князь, молодой или старый?

Молодой, по всему видно: богатырская стать, золотая бородка, высокое чело, гордый взор, алое корзно поверх блестящего доспеха – как есть князь, не спутаешь. Он для Яшки сейчас был самой важной здесь особой, на нем бы всё внимание и сосредоточить, но скользнул Шельма быстрым взором по деве – и на время позабыл о своем недосужном положении. Глаза будто прилипли.

Господи боже, есть же на свете красавицы! Яшка на своем веку много рас прекрасных баб-девиц повидал, грех жаловаться. Но такой не наблюдал ни в Новгороде, ни в Москве, ни в Любеке, ни в Риге, ни в Сарае, ни в прочих великих городах, против которых Таруса эта – кучка хвоста.

У девы спустился с головы узорчатый плат, и гладкие волосы медвяного цвета, стянутые в тугую косу, воссияли на позднем солнце, будто золоченый шлем либо царский венец. Лик был бел и округло-тонок, словно нераспустившаяся озерная кувшинка. Глаза широко раскрытые, лучистые и даже издали видно, что лазоревые – будто два василька.



— Ах, милый, — молвила неземная красавица, — неужто прямо сей час и уедешь? А я не хочу!

Что у ней был за голос! Нежно-волшебный, до того отрадный, что неважно, какие им рекутся слова, — слушать бы вечно да жмуриться.

Князь ответил что-то ласковое. Самое бы время Яшке на него получше глянуть, вслушаться, но всё не было сил отвести глаза от девы.

Правда и то, что Шельма теперь о себе тревожился не сильно. Князь, какой он ни есть, это не лапотное мужичье. Всегда уболтать можно.

По крыльцу, чуть сзади, спускался еще и третий, неинтересный. Какой-то жухлый, длиннобородый, в зеленого сукна шапке с бобровой оторочкой и длинной суконной же летней шубе на серебряных защепах. Боярин или дьяк. Топтался по-за распекрасной парой, ничего не говорил.

На площади (Яшка, опомнившись, осмотрелся) мужчины все глазели на деву, бабы — на князя. Стало очень тихо, каждое слово слышно.

— Свет мой ясный Степанушка, — вздохнул витязь. — Пора. Ночь скоро. Свидимся ли — Бог весть. Судьба ль нам обвенчаться?

— Свидимся, как нам не свидеться, — прожурчал дивнозвучный голос. — А коли свидимся, то уж непременно обвенчаемся. Нельзя нам не обвенчаться.

— А если не свидимся? Если я голову сложу? Ведь вся татарская сила на нас идет. Не бывало еще, чтоб Русь взяла верх над ханским войском. А бегать я не стану, ты меня знаешь. Лучше костью лягу.

Князь был печальный, а его невеста — нисколько. Однако сердиться она умела. Сдвинула ажурные брови, топнула ножкой:

— Нет уж, этого ты не смей! Ты мне слово дал! Уж и о свадьбе объявлено! Батюшка велел мне платье пошить грецкой тафты, да опашень атласный!

— Три с полтиною рублика плачено, за платье-то, — сунулся сзади длиннобородый. — Мне для моей душеньки ничего не жалко.

И всхлипнул, утер слезу.

Отец, стало быть. И как только от этакого обмылка на свет чудное произвело? Загадка господня.

— Так ты веришь, Степания Карповна, что я вернусь? — просветлел лицом витязь.

— Попробуй не вернись! Я нарочно руки на себя наложу, чтоб тебя на том свете сыскать и глаза твои лживые выцарапать! Даже и слышать про такое не желаю! — И снова ножкой топнула.

— Ну, стало быть, вернусь, — улыбнулся князь. — Не захочет Господь своего ангела огорчить.

На самой нижней ступеньке он повернулся к площади, крикнул звучно:

— Прощайте, люди тарусские! Уходим биться с татарами! Берегите мне город! А пуще того берегите мою невесту, боярышню Степанию Карповну! Вернусь — быть ей вашей княгинею!

— Не тревожься, князюшка Глеб-свет Ильич, — молвил родитель боярышни, обнимая ее за плечо. — Сберегу для тебя голубку, не будь я Карп Фокич Солотчин. Дождемся тебя здесь, с победой и славой.

Но тут в умильную беседу влез Сыч, грубый мужчина:

— Князь, мы татарина поймали. Говорят, лазутчик велиокняжеский. Однако брешет.

Князь неохотно повернулся от невесты. На Шельму едва глянул. Глаза у тарусского владетеля были серые, с длинными золотистыми ресницами.

— А, мельник. Почем знаешь, что брешет?

— Вижу.

Яшка замычал: выньте кляп, всё обскажу.

Но князь, поморщившись, молвил:

– Пускай люди великого князя с ним разбираются. Киньте его в телегу, а на коня пускай Бойка сядет. Негоже старшему друдиннику тарусского князя пешему идти.

И снова отвернулся к свой зазнобе.

Яшку ссадили, запихнули в телегу с какими-то мешками, а на татарского коня влез рыжебородый друдинник, довольно оскалился щербатым ртом. Сказал, пришепетывая:

– Добрая лофадка.

– Речь войску скажи, – тихо посоветовал боярин Солотчин (Шельма по губам прочитал). – Положено.

Глеб Тарусский покашлял, почесал затылок под алой, в куньем мехе, шапкой.

– Ну что, воины православные... Великий князь Дмитрий Иванович собирает русскую силу у Коломны. Туда и пойдем. Ну, это... Не посрамим своей Тарусы. Вам, моя дружина, оно и по долгу надлежит. А вы, хрестьяне, кто по своей доброй воле идет, – обратился он к ополченцам, – вас за то Бог наградит. И я, жив буду, не забуду. Кто вернется – от тягla освобожу. Кто сложит голову, о семье позабочусь. Вот...

На том речь и закончилась. Князь, кажется, был некраснословен. Да и смотрел не столько на свое негрозное воинство, сколько на невесту.

Степания Карповна сказала ему:

– Погоди. Давай еще попрощаемся.

Надула розовые губки, суясь заплакать.

Однако Сыч, который, оказывается, был мельник, а стало быть, важная по захолустным понятиям особа, нечинно дернул господина за край плаща:

– Пора, Глеб Ильич. Время позднее. Нам до темноты хотя бы к Плещеевому лесу дойти.

Вздохнув, князь сел на коня, махнул рукой.

Нестройный отряд двинулся в путь. Мужики, кто послабее сердцем, все-таки оглядывались. Бабы держались из последней мочи, но пока не ревели. Одна какая-то крикнула: «Мокеюшкааа! Уууу!» – да сама заткнула себе рот краем платка.

Князь ехал самый последний, шагом. Всё оборачивался на крыльцо, откуда краса небывалая старательно махала ему белой ручкой.

Солнце стояло совсем низко, свету оставалось всего на час-полтора.

Яшка, которого везли в первой телеге, двигал челюстями – пытался вытолкнуть кляп. Пока не получалось, но всё при деле.

Грустный князь медленно ехал пообонь дороги, будто сам по себе. Уже

не оглядывался – со стороны городка били багряные косые лучи, ничего не разглядишь.

Вскоре, однако, сзади донесся топот. Это поспешал на хорошем буланом жеребце боярин Солотчин, за ним четверо конных слуг.

– Провожу тебя немного, зятюшка. Пускай Степаша одна поплачет...
Заговорили меж собой, негромко.

Яшка, конечно, слух напряг, глазами впился. Попадать к московским ему было не с руки. Никакого лазутчика они знать не знают, и к тому же это вам не лопухи тарусские. Обыщут по всей науке, найдут в поясе алмазную змею. Отберут!

Выкручиваться надо было сейчас, в дороге. Потом поздно будет.

– ...Позор-то какой, – жаловался на что-то князь Глеб участливо кивающему боярину. – Как я к Дмитрию Московскому таков явлюсь? Дружины мала и плоха, две трети – мужики-топорники. Удел и при батюшке-покойнике невелик был, а как поделили между нами, семью братьями, одно прозвание что князья. Таруса-городок да три деревеньки – всё мое владение. Людей горсть, вооружить не на что. А как не пойдешь? Ведь вся Орда на нас. Каждый дома останется – пропала Русь...

Солотчин ему, вздыхаючи:

– Эх, и я бы стариной тряхнул, шелом надел, да сам знаешь – мой князь Олег Иванович с татарами не враждует. Стыд и срам, стыд и срам...

Эге, сообразил Шельма, боярин-то не здешний, а Олега Рязанского. Тот одет богаче тарусского князя, и холопы сытомордые, на крепких конях. Рязанское княжество сильненькое и с Москвой на ножах. Им Дмитрий Московский хуже Мамая.

– Бог Олегу Ивановичу на то судья, – сказал Глеб, – и больше я ничего не скажу, потому что он твой господин.

– Это так, так, – поддакнул Солотчин.

А Яшка наконец исхитрился, вытолкнул изо рта проклятую тряпку. И сразу взялся за дело, благо теперь знал, чем взять тарусского голодранца.

– Эй, князь Глеб Ильич, сокол ясный! Знаю, как твоему горю помочь!
Сделай милость, выслушай!

Тот удивился. Забыл про Шельму в расстройстве чувств.

– А, лазутчик.

– Не лазутчик я, прав твой мельник. Я купец. В Кафе жил, у крымской фрязи, железным товаром торговал. Но душой я русский и за Русь живота не пожалею! Одна она у нас, матушка!

С малоумными, которые доброй волей на погибель идут, только так и надо разговаривать – на ихнем языке.

— Зачем же ты наврал, что служишь московскому великому князю? — спросил Глеб, подъезжая.

— Чтобы меня к нему отвезли. Есть у меня для Дмитрия Ивановича кое-что поважней донесения. Знает ли твоя милость, что такое бомбаста?

— Нет, не знаю.

— А про пушки слыхал, что огнем грохочут?

— Слыхать слыхал, видеть не доводилось. Говорят, ими можно каменную стену пробить.

— Ими много чего можно. Бомбаста — самоновейшая немецкая пушка. Равной ей нету. Я потратил все свое достояние, купил четыре штуки. Хотел великому князю отвезти, по татарам стрелять. Без степью. Но погнались за нами поганые, и бросил я повозку, а пушки зарыл в землю, чтоб татарам не достались. Слуг моих всех порубили, один я ушел. Лишь тем и спасся, что в татарское платье переоделся. Если не веришь, вели в правой суме посмотреть. Там моя одежда, в какой из Кафы выехал.

Князь поманил к себе Бойку, старшего друдинника. Велел показать, что в седельной сумке. Рассматривал чужеземное платье — спрашивал, какая вещь для чего. И сразу во всё поверил, вот какой простоумный.

Яшку развязали, а он еще только разворачивался.

— Пока до Коломенского лагеря доберемся, поздно будет. Придется за пушками в степь ехать, потом обратно. Не успеют они к сражению. А мне, свет-князюшка, всё одно, кому свои бомбасты отдавать. Могу и тебе. Схрон не столь далече, в одном переходе на восток от Одоева. Отсюда верст двести будет?

— И полутораста не наберется. — Глаза у Глеба загорелись. — Эх, кабы я Дмитрию Ивановичу твои бон... бомбасты привез, он бы меня по-иному принял! Мне тебя, купец, Бог послал. Как твое имя?

— Яков Шельмин.

Князь прослезился, обнял — чуть кости не треснули в могучих его руках.

— Эй! Все сюда!

Когда вокруг сгрудились друдинники и ополченцы, Глеб крикнул:

— Глядите — вот добрый человек, за русскую землю радетель, моей чести спаситель!

И прочее разное, для Яшки лестное. Шельма стоял потупившись, рделся.

Объяснив, что в Коломну теперь ехать незачем, князь велел становиться на опушке лагерем, ибо все равно уже темно, а завтра на рассвете поворачивать к Липовскому лесу и оттуда на Пронский шлях.

На ночлеге случилось у Шельмы два разговора.

Сначала подошел Сыч, тихо сказал:

– Князь наш молод, доверчив, а я пес старый, меня ты не обдuriшь. Купчина ты или кто, знай: глаз с тебя не спущу. Я утку на охоте влет первой стрелой сшибаю. И по тебе не промахнусь.

Яшка только вздохнул, кротко возвел очи к звездному небу.

А совсем поздно, когда уже все спали, была еще одна беседа, совсем шепотом. Поинтереснее первой.

Рядом пристроился боярин. Он давеча шумнее всех князь-Глебовой удаче радовался и объявил, что ради такого великого дела тоже за пушками поедет.

– Вижу, Яша, ты человек ушлый, – прошелестел Солотчин. – Не наврал про пушки-то?

Шельма побожился, сотворил крестное знамение – такой зарок не нарушит ни один русский человек, в ком жив Божий страх.

– Ну а коли так, слушай меня умом. Ты ж человек торговый, верно? Русь Русью, а прибыль прибылью, так?

Спорить с этим Яшка не стал. Любопытно было, что дальше.

– Тарусский князь гол, ничего ты от него за свои пушки не получишь. А мой господин, Олег Иванович Рязанский, за такой товар хорошую цену дал бы. Ему для обороны стольного града бомбасты твои ох как пригодятся.

Шельма стал слушать еще внимательней. Старый лис говорил дело. Так-то Яшка в степь возвращаться не собирался. Думал при первом удобном случае деру дать – верно его Сыч чертов исчислил. Однако кто же от своей выгоды бегает?

– Далеко ль нынче Мамай? Что сказывают? – спросил он, подумав.

– Собирает тумены у реки Самары.

Значит, бомбасты вырыть еще не успел, прикидывал Шельма. Если поспешить – опередим татар, точно.

– А как мы пушки у князь-Глеба из-под носу уведем? Они тяжелые. Каждую поднять – сам-четверт нужен.

На это у Солотчина был ответ:

– Я прямо сейчас холопа к себе в вотчину отправлю, он нас после верхом нагонит. И в месте, какое укажешь, будет нас ждать крепкая повозка. Ты только скажи, куда ее слать. Я те края хорошо знаю, сколько раз на соколиную охоту ездил.

– А много ль твой князь мне заплатит?

– По мешку серебра за пушку. Вот по такому, – показал боярин себе по колено.

Цена была щедрая, и Яшка решился:

– Курган с каменной бабой знаешь? Кособрюхая такая, одна персь отвалилась. От нее вот так три балки. Пусть повозка ждет в самой правой.

– Знаю я это место, – кивнул боярин. – Хорошее. Легко спрятаться. Так что, купец, по рукам?

Плюнули каждый себе в ладонь, скрепили уговор по старинному торговому обычаю.

Четыре мешка серебра? Поди знай, где потеряешь, а где найдешь.

Жизнь – она кучерявая.

* * *

Теперь Шельма ехал конный, рядом с князем, почти за главного. Уж точно поважней рязанского боярина, который скромно держался сзади.

Шлях давно кончился. Правили путь днем по солнцу, ночью по звездам. Длинных привалов Яшка не позволял. Боялся опоздать. Два, много три часа передохнут – и дальше, дальше.

Глебу Ильичу тоже не терпелось, он Яшкиному напору только радовался. Хороший был князь, ясный, только очень уж надоел своими разговорами. Их у тарусского горе-властителя было всего два: про драгоценную невестушку Степанию Карповну и про родную Русь-матушку. Ради первой Глеб Ильич желал во что бы то ни стало жить, ради второй выражал полную готовность погибнуть. Одно слово: дурак. Хоть и удалец, конечно. Но удалцы они все дураки, это непременно так.

Совсем уж важной особой Яшке мешал себя чувствовать Сыч. Чертов мельник вечно держался неподалеку, днем и ночью, неотступно. Чуть Шельма на него глянет – со значением поглаживал древко лука.

Когда на исходе третьих суток дошли до приметного кургана и сразу, без передышки, стали рыть землю в овраге под расколотым камнем, Сыч прямо прилип. Ждал, что сейчас Яшка наутек кинется.

Но заблестели облепленные жирным черноземом железные трубы: первая, вторая, третья, четвертая; за ними показались деревянные бочата с огненным прахом, и дрогнул даже суровый Сыч.

Тронул за плечо, поклонился.

– Прости, купец, что плохо про тебя думал. Виноват я перед тобой.

И отвязался, наконец, слава Тебе, Господи. А то вся затея сорвалась

бы.

С Солотчиним ведь уговорились как? Когда после долгого безночлежного похода все с радости и устатка завалятся спать, боярин предложит, чтобы стан караулили его слуги, – им-де на войну не идти. Ночью четверо рязанцев, здоровенные быки, на руках перетащат бомбасты в соседнюю балку, где уже должна ждать повозка. С нею уедет и Шельма, а слуги вернутся в лагерь.

Утром тарусцы проснутся – ни пушек, ни Яшки. Часовые побожатся, что не сомкнули глаз. Куда подевался купец со своими бомбастами, один сатана ведает.

– Видал, как я с князем шептался? – говорил Солотчин. – Это я ему толковал, не раз и не два, что ты не иначе как колдун, потому что глаз у тебя острый и желтый. Глеб от меня отмахивался. Но когда увидит такое чудо – поверит. Он ведь прост.

Уже зная тарусского князя, Яшка был согласен: этот поверит.

Помешать делу мог только Сыч. Но вот и с ним уладилось.

Когда князь отликовал, отрадовался, трижды облобызal каждую бомбасту и велел бережно уложить их в телеги, Солотчин, ловкий старичок, устроил всё по-задуманному.

Тарусские улеглись и скоро все уснули, а рязанские силачи перетащили пушки, одну за другой, в недальний овраг. И там, в самом деле, ждала расчудесная повозка. При ней двое холопов, трое широкогрудых коней. Крепкие колеса с железными ободьями жирно смазаны, чтоб не скрипели; у коней, чтоб не заржали, морды обмотаны тряпками.

Наскоро попрощались.

– Езжай к моему князю, – сказал боярин. – Он тебя отблагодарит. И меня не забудет. Всё, пойдем мы. Не дай бог, проснется кто.

И побежал со своими лбами назад к стану, а Яшка сел и поехал: сначала балкой, потом, в пологом месте, выкатились наверх, под луну-звезды.

Времени Шельма попусту не терял. Завел ласковую беседу с провожатыми. Предложил выпить сладкой заморской бражки за ради знакомства и удачной дороги.

Кто ж откажется?

В бражку был намешан остаток исфаганской травки, которой в Сарае полакомился Габриэль, не к ночи будь помянут.

Очень скоро рязанцы уже дрыхли, бормоча несвязное.

Яшка спихнул их с повозки – поспите, детушки, на травушке.

Взял поводья, развернулся, чтоб Большая Медведица была по правую руку.

Дураков нет ехать к рязанскому князю, который то ли заплатит, то ли нет. Зачем ему тратиться, коли бомбасты сами приехали?

За хорошую мысль – пушки продать – Солотчину, конечно, спасибо, но сделать это надо иначе. Товар по военным временам ходовой. Его всякий возьмет – хоть Ягайло, великий князь литовский, хоть Дмитрий, великий князь московский, хоть тот же Олег, великий князь рязанский. Но денежки вперед, пушки – потом. А то знаем мы великокняжескую честность.

Кони были добрые, подвода прочная. Ехал Шельма по вольной степи, под ладушкой-луною, пел приятную песню и на себя радовался. Есть ли кто на свете умней, ловчей да хитрей? Навряд ли.

Луна, правда, скоро спряталась за тучи, сделалось совсем темно, и Яшка петь перестал. Когда ничего не видно, нужно полагаться на уши.

Уши принесли из мрака, откуда-то сзади нехороший звук.

Стук-постук, стук-постук.

Никак конские копыта?

Насторожился. Да нет – вроде тихо.

Успокоился.

Однако через некоторое время уже справа донеслось: стук-постук.

И снова пропало.

Бес, что ли ночной шутки шутит? Некому в такое время по степи шастать.

Скоро сквозь тучи вновь стала проглядывать луна, пространство осветилось, и не было на нем никакого подозрительного движения, лишь шевелились под ветерком белые, выжженные за лето травы.

Впереди чернел, торчал торчком высокий валун – как раз там, куда правил Шельма.

Внезапно, когда было уже близко, валун шевельнулся. Луна доползла до чистого неба, залила всё серебристым светом, и увидел Яшка: никакой это не валун, а огромный конь с огромным всадником.

Тройка захрапела, встала.

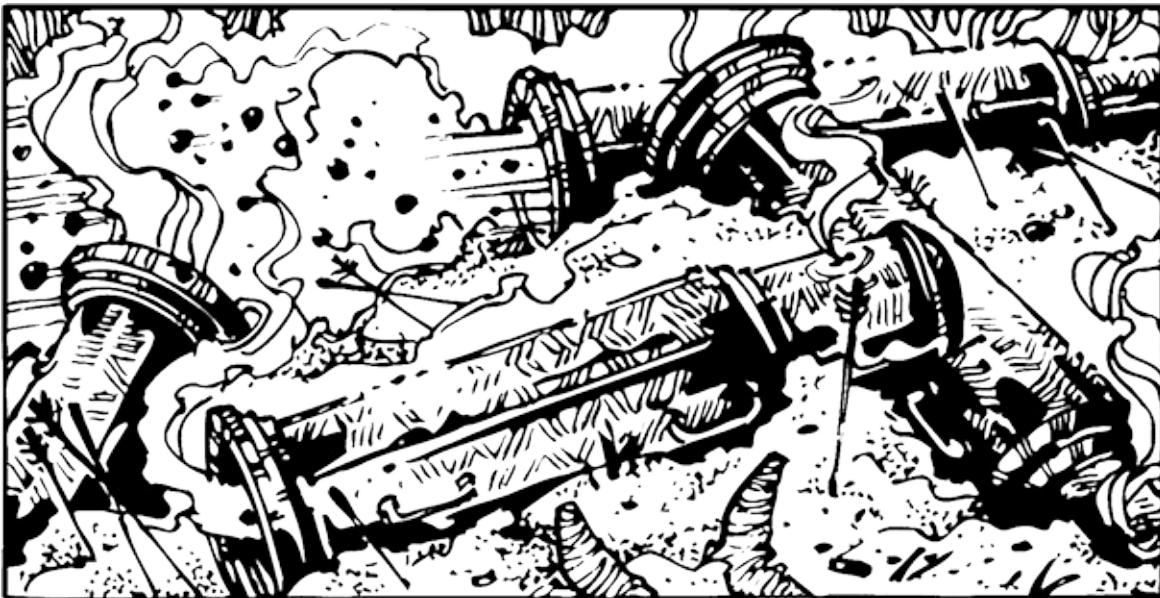
Всадник медленно приблизился, будто ужасное сновидение, и сказал знакомым голосом, коверкающим немецкие слова:

– Он всё знает. – Длинная рука ткнула пальцем в небо. – Он сказал: «Шельма наверняка подглядел, где зарыты бомбасты. Будь там, Габриэль. Жди. Рано или поздно он явится». И ты явился. Сейчас ты со мной расплатишься за всё сразу.

И сник Яшка. Смежил отяжелевшие вежды, впал в милосердное небытие. Всё лучше, чем такая явь.



Повесть о неправде на Непрядве



Но блаженное забытье длилось недолго. Скоро Яшка очнулся – и сразу о том пожалел. Он лежал на телеге, а сверху, заслоняя луну и полнеба, нависал Габриэль.

Вот бывает же: человек думал, что помер, оказался жив и нисколько тому не рад.

Одежда на Шельме была вся растерзана – должно быть, палач нетерпеливо сдирал пояс, а тот зацепился. Золотая змея, изъятая из своего хранилища, сверкала у чудища на шее, троекратно обкрученная. Габриэль поглаживал ее лапищой.

Увидев, что Яшка хлопает глазами, изверг доверительно сказал, будто они закадычные приятели:

– Сижу вот, думаю. Как бы тебя помедленнее убить. Все дни про это думал, только этим утешался. То одно понравится, то другое. Беда в чем? Времени у меня мало. Спохватятся русские, станут пушки искать. Больше часа потратить на тебя не могу. Жалко. Я ведь как мечтал?

Яшка почувствовал, как на лбу выступает испарина. Ледяная. И холодно сделалось – будто в могиле. Но до могилы надо было еще дожить...

– ...Вот у нас в Санктории был один мастер из дальней страны Катай, – продолжал Габриэль. – Рассказывал, что самая хорошая казнь –

«Тысяча Кусочков». Отрезаешь кончик пальца – перетягиваешь ниточкой, чтобы кровь не вытекла. Потом дальше, дальше. Даже когда одно тулово с головой останется, там еще много чего обрезать можно. Я и нитки с собой захватил, крепкие. А времени-то и нету... – Вздохнул. – Или вот еще хорошая штука, в самый раз для степи. Закопать тебя в землю по шею и помочиться. Муравьи наползут, мухи налетят, слепни разные, оводы. Облепят, будут день, два кровь сосать. Я сидел бы, смотрел, цветы вырезал. Мне бы не надоело... Эх! А сейчас что? – Горько махнул рукой. – Ну, кишкы тебе выпущу. Полюбуюсь четверть часика, как ты их руками собираешь. Потом ты сдохнешь, и вся забава...

– Это ты от одиночества такой разговорчивый стал, – проскрипел Шельма. – Соскучился без людей. Что попусту болтаешь? Выпускай мне кишкы, я заслужил. Только дай попить напоследок. Горло пересохло – мочи нет. У меня вон там бурдючок, в нем бражка. Попью, и делай со мной что хочешь, твоя воля. А потом езжай на все четыре стороны, ночь еще долгая.

Страшенные чудовища, подобные мертвящему василиску, не пожирают всё сущее на земле по одной только причине. У них ума мало. Ибо кто очень силен, то привыкает единственно на силу полагаться, а разумом не пользуется, и голова от этого тупеет.

Клонул Габриэль на подсказку. Хохотнул.

– От жажды – это хорошая смерть, долгая. И времени терять не нужно! Поеду, буду на тебя смотреть, как ты от сухости весь растрескаешься. Дня три подыхать будешь.

– Дай попить, гад! – взмолился Яшка.

– Проси меня, проси. – Палац взял бурдючок, побулькал. Потом выдернул пробку, вдохнул. – Сладкая. – Попробовал на язык. – И холодная. Хочешь?

Поднес к самому носу – убрал. Шельма заплакал. Габриэль засмеялся.

– А я отхлебну, – говорит.

И отхлебнул, дурень конопатый.

На свете, конечно, дураков много. Из десяти человек девять. Но таких, как Габриэль, было поискать. Кажется, в тот раз он и не понял, отчего ему мертвые души привиделись.

Подождав, чтобы дубина отпил побольше, Яшка ему сказал:

– Только самая глупая мышь попадает два раза в одну и ту же мышеловку.

– А?

– Сейчас договоришь с душами.

– Ч-что? – А сам уже качается.

– Баюшки-баю, – пропел Шельма и без страха толкнул великана в грудь. Тот мешком вывалился из телеги, бухнулся оземь.

Встав над беспомощным голиафом, Яшка изрек:

– Зарезать бы тебя, идолище поганое. Но комар – не аспид. Жалит, да не до смерти. Валяйся себе. Змею мою только отдай.

Убрав алмазную красу обратно в пояс, сел в повозку, взял поводья – почесал затылок.

Нечего в одиночку по степи таскаться. Этот очнется – вконец вызверится. Не сойдет со следа.

Подумал-подумал, да и повернул обратно.

* * *

Вернулся в стан тихохонько, не замеченный даже рязанцами-часовыми, которые, умаявшись таскать тяжелое, бдили незорко.

До рассвета оставалось еще часа два. Лег Шельма прямо на травушку, зевнул: ох и ночка.

Уснул.

Разбудили, как тому и следовало, громкими воплями.

– Пушки? Где пушки? – кричал князь. – Дозорные, собаки! Вы куда глядели?

Боярин надрывался:

– Колдовство! Говорил я, упреждал! Купец-то не купец, а кикимора!

Другие просто орали, метались.

Встал Яшка. Подошел. Все сгрудились у пустых телег.

Потягиваясь, спросил:

– Чего шумите?

Изумились только Солотчин да его холопы. Остальные про колдовство, похоже, не рассыпали.

– Пушки... пушки твои пропали, Яков, – несчастным голосом молвил князь. – Черт их, что ли, унес...

– Не тревожься, Глеб Ильич, целы бомбасты. – Шельма весело подмигнул. – Пока вы ночью спали, я походил по степи, сыскал мою повозку, на которой пушки из Крыма вез. Лошаденки целы, на сочной траве только растолстели. Пушки теперь в моей телеге. Она крепче вашей, да и кони мои сильней.

Повозку он с ночи в овраге поставил, неподалеку.

Все туда побежали, тарусский князь – первый.

Опять было много крику, но теперь радостного.

Один Сыч глядел странно.

– Скажи, купец, а как ты пушки перетащил?

– Часовые вон помогли, – кивнул Яшка на боярских слуг. – А сразу не сказали вам ради шутки. Они ребята веселые. Так, что ли, рязанцы?

Мордатые холопы молчали, но боярин Карп Фокич был посмекалистей.

– Это да... Они у меня игрецы, – сказал он дрожащим голосом. – За то их и держу, за веселый нрав...

Тут и слуги тоже закивали.

– Ловко сщутили? – засмеялся Шельма.

И все тоже засмеялись, князь пуще других.

– Ну, коли так, варим кашу, да в путь! – объявил он. – Дорога дальняя, груз тяжелый!

В середине дня, улучив минуту, когда Яшка был один, подъехал Солотчин.

Спросил шепотом, коротко:

– Пошто?

– Что я тебе, дурак-тарусец? – ответил Яшка. – Расплатились бы со мною в Рязани, как же. За повозку с конями тебе, однако, спасибо. Пригодится. И моли бога, боярин, чтоб я князю Глеб-Ильичу про твое окаянство не рассказал. Вот ты у меня где. – Показал крепко сжатый кулак.

Карп Фокич плаксиво сморщился:

– Хорошо-хорошо, Яшенька. Не выдавай меня, старика. Я тебе подарок сделаю. Хошь, коня своего буланого отдам? Он венгерских кровей, десять рублей мне стоил.

Ум, он все препоны одолеет, все засады обойдет, думал Шельма, гордясь собой.

Однако ехал – все время оглядывался: не появится ли позади некая фигура кровавого цвета? И на всякий случай все время держался в сердке, среди людей.

* * *

На Коломну, где Дмитрий Московский собирал рать, князь Глеб идти поостерегся – можно было опоздать и потом на медленном ходу войско уже не догнать. Надежней было двинуться к броду перед впадением Оки в реку

Лопасну – его русское множество никак не минует, и на переправу со всеми обозами понадобится дня два. К тому месту путь лежал вблизи Тарусы, потому Глеб Ильич сделал людям подарок – велел пройти через родной город и еще разок повидаться с семьями, с которыми многие уже не чаяли встретиться на этом свете. Больше всего, конечно, князь желал порадовать сам себя – украсть у судьбы лишнюю встречу с ненаглядной невестой.

Добрались до Тарусы на второй день вечером. По домам князь никого не отпустил, потому что человеческое сердце не каменное и кто-то из ополченцев мог дрогнуть, наутро к сбору не явиться – они все своей волей на смерть шли, насильно не заставишь. Поэтому прямо на площади перед теремом поставили столы и скамьи, за которыми уселись чуть не весь маленький город. Ели, пили, пели песни. Мужики, разогревшись хмельным медом, хвастались, как зададут татарве жару. Бабы на них смотрели, вздыхали.

Горели костры, по лицам ратников плясали красные и черные тени, будто кто-то выбирал – одному красную участь, другому черную.

А Яшку усадили на почетном месте, на высоком крыльце, близ князя и его невесты. Здесь же находился и Солотчин.

Глеб Ильич со Степанией Карповной смотрели только друг на друга, вели меж собой тихий шепотный разговор. Пиরующим на площади тоже было не до Шельмы, и потому он бесстыдно пялился на красу-боярышню, благо находилась она совсем близко.

Вот ведь производит Господь чудесные творенья! Всякое движение – дар драгоценный. Как ни повернется, только краше становится. Как пышноцветная роза, шевелящая лепестками на легком ветерочке.

Боярин только, старая жаба, мешал любоваться, всё нудел на ухо:

– Промашку ты дал, Яков. Я догадал твой умысел. Ты хочешь перед самой битвой Дмитрию Московскому пушки продать. Думаешь, он от нужды не поскупится, наобещает тебе золота-серебра. Может, и так, а только денег ты от Дмитрия не получишь, потому что где ему с Мамаем совладать? Побьют татары Москву, всегда так было. И сгинешь зазря вместе с этим петухом тарусским... Думаешь, я по своей воле нищеброда в зятья беру? Как бы не так. Мой господин Олег Иванович приказал. Желал оторвать Тарусу от Москвы, к Рязани прилепить. Удел маленький, но важный, Оку запирает. Олег Иванович думал тут крепость поставить, воткнуть Москве занозу в бок. Однако теперь всё будет иначе. Мы с татарами сговорились, проведем их бродами, гатями да тайными дорогами. Дмитрий не успеет «Отче наш» прочесть, а Орда уже вот она. И Таруса эта нам безо всякой свадьбы достанется, вместе со всем Верховьем – такой у

Олега Ивановича с Мамаем уговор. Посему не буду я тут с дочкой сидеть. Завтра же, как только уйдете, свезу домой, в свою вотчину... А ты одумайся, Яша, пока не поздно. Сейчас всем не до тебя. Пушки в повозке лежат. Запряги лошадок и гони отсюда. И зря ты боишься, что мой господин тебя с расплатой обманет. Ведь никто у нас не знает, как из пушек стрелять. Один ты. Не получишь честного расчета – не расскажешь. Думай, купец. Тут – погибель, там – богатство...

Шельма его почти и не слушал, следил глазами за нежными девичьими губками, шептавшими:

– ...Плакать не буду, не люблю плакать. И молиться тоже за тебя, Глеб Ильич, не буду, скучно. А просто сяду здесь, на крылечке, и стану глядеть на дорогу, тебя ждать. Буду ждать тебя так сильно, что ты никуда не денешься, вернешься живой...

И ручкой легонько погладила князя по щеке. Такого тонкого запястья Яшка у девок-женок никогда не видывал, а такими пальчиками лишь цветы срывать или сахарным пряником лакомиться. Недаром от их прикосновения князь котом замурлыкал. А Шельма на его месте, наверное, в небо бы воспарил...

Однако мечтать об этом нечего. Никогда у тебя такой павы-лебеди не будет, сказал себе Шельма. Не по воробью корка.

Но погладил себя по кожаному поясу и приосанился. Ничего. С этакими деньжищами можно любую царицу-королицу высватать.

Однако Степания Карповна рассмеялась серебряным голоском, дивный лик озарился улыбкой, обнажились блестящие зубки, и стало ясно: другой такой в мире нету.

– Отстань, боярин, – сказал Шельма. – При моем богатстве мне эти пушки – тьфу. Не жалко.

Ага, поедет он ночью один – прямо в лапы к Габриэлю-сатане. Нет уж, мы при дружине побудем. На битву идти, конечно, незачем. Пускай дураки воюют, кому жизни не жалко. А мы исчезнем где-нибудь по дороге. Можно с той же камышинкой на переправе потонуть. Или просто в суматохе потеряться.

Одно тревожило. Поглаживая пояс, думал Шельма, что с алмазной змеей на все военные хождения отправляться опасно. Человека в бегах, да в лихое время, всякий обидеть может. Сейчас по дорогам, лесам да полям какой только шушеры не бродят: разбойники, шатуны из обоих войск, русского и татарского, да мало ли кто. Польстятся на кожаный пояс, отберут, а в нем вся жизнь, всё счастье.

Тайник нужен хороший, во сбережение до нужного часа. Здесь где-

нибудь спрятать змею, в Тарусе. Городок уже знакомый, люди глупые, к Яшке приязненные – видели его при князе, на почетном месте.

А дальше пара пустяков: уползти ужиком, прилететь комариком.

* * *

Хорошее место, чтоб утопиться, попалось сразу же, прямо назавтра перед вечером.

Глеб велел переправиться через Оку, чтобы сократить путь, – река здесь делала большую излучину, которую быстрей было срезать, чем обойти. После долгого жаркого лета река много где обмелела, берега заросли камышом – прячься не хочу.

И вот, сидя на коне, размахивая руками, вопя во всю глотку: «Прах не замочите! Подымай, выше подымай!» и разное прочее начальственное, Шельма вдруг сверзся с седла (ремень был загодя подрезан), бухнулся в воду с превеликим плеском – и уже не вынырнул. Распластался по дну, полягушачьи заработал ногами, поплыл к заранее присмотренному бочажку, где очень кстати торчала покрытая водорослями коряга. Тщательно прочищенные тростинки ждали, воткнутые в ил. На последнем запасе дыхания Яшка сунул одну в рот, маленькими глотками потянул воздух: уф-уф-уф.

Приготовился сидеть тут долго. Тарусский князь, добрая душа, скоро не уйдет. Велит искать тело дорогого утопленника для-ради христианского погребения. Час придется под водой проторчать, самое меньшее – пока не зайдет солнце. Потом в темноте тихонько выбраться на берег, и рысцой, рысцой, чтоб обогреться после долгого водяного сидения...

Однако вышло не долго, а очень коротко.

Не успел Шельма наладить дыхание, как схватила его за шиворот сильная рука, рванула, выволокла на поверхность.

Сыч, будь он неладен!

– Экий ты неловкий, купец. На мелком месте чуть не потоп. И течения вроде нет, а тебя вон куда уволокло, да вишь за корягу зацепился. Хорошо, я у себя на речной мельне привык рыбу острогой бить. Вижу под водой, почти как на земле. Эх ты, нескладень. Башкой, поди, стукнулся, да сомлел?

– Да... Ударился... – пролепетал Шельма. – Голова закружилась. Воды боюсь... Сызмальства...

Взгляд мельника показался ему нехорош. Неужто заподозрил?

– И пояс свой кожаный потерял, горемыка. Поискать?

– Бог с ним. Жив – и спасибо. Спаситель ты мой, Федорыч. Отблагодарю.

– Цел будь, тем и отблагодаришь. Как без тебя из пушек палить? Всё, купец. Ныне буду с тобой неотлучно, коли ты такой незадачливый.

И прилип хуже, чем тогда. Ни на шаг не отходил. Когда съезжали переправлялись, взял за локоть, сказал: «Не робей» – и до берега не отпускал. Если же надо было отойти по делу (а забот у Сыча в походе хватало), приставлял к Шельме двух мужиков, наказывал беречь как зеницу.

Очень всё это Яшке не нравилось. Так, пожалуй, в самом деле на войну угодишь. Да на какую – с Ордой, которую русские отродясь не побеждали. Позапрошлым летом великий князь Дмитрий, правда, одолел татарское войско, но оно было невеликое, а тут вся сарайская сила во главе с самим Мамаем, из волков волком. От одного воспоминания о жгучем взгляде грозного беклярбека Шельма ежился.

А с другой стороны на помощь Мамаю идет с большой ратью Ягайло Литовский. А князь Олег Рязанский тоже вон за татар встал.

Это же надо совсем с разума съехать – против такой мощи переть!

Глядел Яшка вокруг себя и ничего не понимал.

Глеб Тарусский – ладно, он из тех, кто на свете долго не заживается. Его дружины – тоже понятно. Люди военные, что им и делать, как не мечом махать. Но мужикам оно зачем? По скудоумию? Однако Сыча скудоумным не назовешь...

Князь князем, но в походе всем распоряжался мельник: какую дорогу выбрать, где на привал стать, как быстро починить сломанную ось на телеге. Бойка, шепелявый старший дружины, ревновал, пробовал перечить, но князь Глеб неизменно говорил: пускай, как Федорович сказал. И выходило ладно.

На телегах кроме пушек и праха везли щиты да съестной припас. Кольчуг князь велел не снимать – татары могли быть недалече. Мужики же шли налегке. У каждого только топор на длинном топорище да нож на поясе. На спине – пустой рогожный мешок, который годился на все случаи. На ночлеге в него набивали траву, чтобы спать не на голой земле. В дождь накрывались. На третий день вдруг похолодало – мешок сгодился и для утепления. Смекалистый вроде народ крестьяне – а такие дурни, сами своей волей на смерть тащатся!

И ведь сколько их!

Тарусцы теперь шли по дороге не одни. В том же направлении

двигались и другие отряды, из разных мест. Кольчужных было мало, в основном такие же мужики в рубахах, с топорами. Лица хмурые. Ни песен, ни гогота, ни баухальства. Знают, что на смерть, – и все-таки идут!

Большая земля Русь, думал Шельма с сокрушением, а народ в ней совсем глупый живет. Все толковые поселились в Новгороде, да и там, правду сказать, дураков хватает.

Так и не дошли до Лопасны, где князь рассчитывал влиться в московское войско.

В первый день осени поднялся Глеб Ильич на холм, с которого открывался вид на окрестные поля, да и остановился. Подъехав, Яшка понял, почему.

С другой стороны, от горизонта, навстречу двигалась великая рать.

Впереди – кучка всадников. Поодаль еще конные, много, под разноцветными стягами. Далее – нестройная колонна, хвост которой уходил за край земли.

– Вот она, сила русская! – с чувством молвил князь и снял шлем. Глаза у него заблестели от слез. – Испокон такой не бывало! С Божьей помощью одолеем неверных!

Так-то оно так. Народу действительно собралась туча – Яшка и на самом многолюдном новгородском вече столько не видывал. Однако насчет одоления неверных имел иное мнение.

Превеликая змея, ползущая по полю, если присмотреться, была двухцветная: голова и шея блестящая, чешуйчатая – это сверкали на солнце кольчуги, шеломы, наконечники копий; но все длиннющее тело серело да белело – то валило мужичье в холщовых рубахах. У них ни доспехов, ни щитов, ни оружия настоящего. Голое мясо под татарские стрелы.

То ли дело ордынское войско.

Однажды Шельма в Сарае видел, как оно выступает в поход. Все при справном оснащении, в седлах сидят кречетами, каждая сотня – будто железный кулак. И то еще был не великий поход, а всего лишь тогдашний хан Абдаллах шел войной против своего брата, с одним туменом. Ныне же на Русь движется вся Орда, и Мамай – не чета Абдаллаху.

Вокруг Глеба Ильича сгрудился весь его маленький отряд. Князь заволновался, велел встать постройнее. Сейчас сам великий князь будет досмотр делать!

Дружиинников поставил вперед, сзади сгрудились мужики. Шельма остался при повозке с пушками, сбоку.

Ну поглядим, что за Дмитрий Московский.

На холм с поля рысью взлетел друдинник, спросил, чей отряд, – и так же споро вернулся к голове колонны.

Теперь от нее отделился кто-то в багряном плаще, зерцальном шлеме. Не иначе – сам великий князь. За ним, не отставая, скакали еще двое. Должно быть, оруженосцы.

Глеб спешился, обнажил голову, громко крикнул:

– Здрав будь, Дмитрий Иванович! Это я, Глеб Тарусский!

Перед ним, осаживая коня, закрутился на месте толстый чернобородый дядя с красной мордой в цвет плаща. Сдвинув мохнатые брови-гусеницы, московский самодержец густым голосом спросил – сердито:

– Что ж ты, тарусский князь, мало людей привел?

Враз узрел и хитрость с построением.

– Э, да у тебя воинов горсть, прочие – топорники.

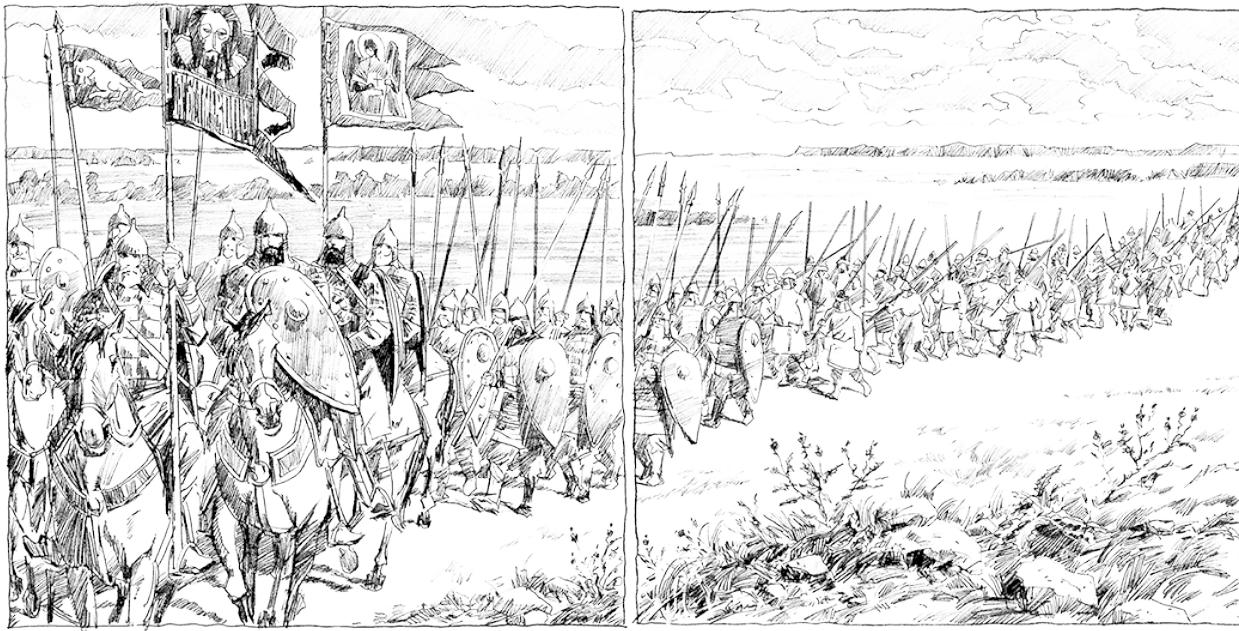
Соскочил с седла – Яшке показалось, что земля дрогнула под изрядной тушей. Прошелся, оглядывая друдинников.

– Кольчуги худые. А этот вовсе в кожаном доспехе... Ну-ка ты, лядащий, меч вынь. Тупой меч-то, тыфу! ...Эй, а ты почему без налокотника? Потерял? А башку не потерял?

И так почти с каждым.

Шельма смотрел, сравнивал с ордынскими владыками.

Будто кто-то взял небожительного хана Мухаммед-Булака, перемешал с крепко ступающим по земле Мамаем и слепил то ли государя, то ли управителя. Дмитрий – Рюриковой крови, то есть подревней ордынских ханов, однако держится беклярбеком, во всякую мелочь влезает. И все московские великие князья такие. Нет в них ни возвышенности, ни красоты. Никакой мелочью не пренебрегают, никакой грязью не брезгуют. До всего жадны: до власти, до денег, до земель. Недаром присказка: Москва, плати-по-два. Каков город, таковы и князья. Каковы князья, таков и город.



— Мало мне от вас проку, тарусцы, — рыкнул великий князь. — Из вас и сотни не составишь. Пойдете в Верховский полк, под начало к воеводу Линьку.

Глеб вскинулся:

— Как бы не так! Невместно мне, природному князю, под Линьком каким-то быть! А еще скажу: неприметлив ты, Дмитрий Иванович. Главного не углядел.

— Что?! — взревел грозный государь, однако Глеб был непуглив.

— Вон туда погляди. — Показал на Шельмину повозку. — Поди, поди. Браниться после будешь.

Яшка широким махом сдернул с бомбаст мешковину. Четыре чухи тускло засияли железными боками.

— Пушки! — ахнул Дмитрий, да так к ним и кинулся. Стал похлопывать, оглаживать. — Да какие важные! Железные!

Загоревшимися глазами ожег Шельму:

— Ты кто? Пушкарь?

— Я самый и есть, твоя великокняжеская милость! — лихо рявкнул Яшка.

С большими государями надо держать себя просто и ясно. Говори, что они хотят услышать, не перечь и не болтай лишнего. Пушкарь так пушкарь. Нам-то что?

Глеб Ильич золотого правила не знал, встрыял с объяснениями: это-де купец из Кафы, звать так-то, имущества не пожалел, чтоб за Русь-матушку

постоять, но великий князь чепухи не услышал. Только имя.

– Что они могут, твои пушки, Яков? Далеко ль палят? Хороши ли в поле?

– Это не просто пушки, а бомбасты, самоновейший немецкий снаряд. Жахнет мелким каменьем – полк положит. Вдарит чугунным шаром – крепостную стену пробьет.

Московский государь крякнул от удовольствия.

– Молодец, пушкарь. Ишь, хват какой!

А тарусского князя обнял, троекратно облобызal.

– Угодил ты мне, Глеб. Ох, угодил! Ни к кому тебя под начало не отдам. На походе встань сразу за моей дружиной. А в сражении назначу тебе самое лучшее место.

Услыхав это, Шельма сказал себе: нынче же ночью сбегу, никакой Сыч не удержит. Попасть на лучшее место в сражении с Ордой? Лучше сразу в могилу закопаться.

Лучшее место ныне могло быть только одно: подальше отсюда.

* * *

Не сбежал.

Великий князь приставил к пушкам и «пушкарю» для вящего сбережения сугубую охрану, десяток ближних дружиинников. Не люди – псы цепные. По нужде и то одного не отпускали.

К вечеру шестого дня осени войско вышло к Дону. Встали.

Прошел слух: Дмитрий велел дожидаться татар здесь. Однако в ночь все же переправились на другую сторону. Там было широкое поле, показавшееся Яшке знакомым. Над полем низко летали болотные птицы, кулики. По ним и вспомнилось – проезжали здесь с Бохом два месяца назад. А кажется – целая вечность прошла.

Шельма, хоть и не стратиг, а догадался: великий князь ставит свою разношерстную рать впереди реки, чтобы некуда было бежать от татарской конницы. Значит, всем тут и сгинуть.

Был в походном шатре у Дмитрия большой совет, откуда князь Глеб вернулся поздно, понурый.

– Лучшее место дали? – замирая, спросил Яшка.

– Худшее, – печально молвил князь. – Не со всем войском, а наособицу, сбоку, правее правого полка. Там в Дон впадает какая-то речка, Непрядва называется, и выше брод. Дмитрий Иванович боится, не ударил

бы Мамай оттуда скрытно, в обход. Ставить в прикрытие много людей не хочет. Ты, говорит, со своими бомбастами встань перед бродом. Полезут татары – пугни их как следует. Не остановишь – хоть грохот услышу, изгото́влюсь.

Яшке очень понравилось, что вояка-князь такой унылый. Однако спросил:

– Пойдут татаре через брод, княже? Как думаешь?

– Зачем им? Поле широкое, для конницы приволье. Ударят всей силой в лоб, и дело с концом. Все наши биться будут, а мы пообочью стоять, слюни глотать...

Оживился тут Шельма, духом воспрял, стал деловит.

– Зря ты это, Глеб Ильич. Великой важности дело тебе доверено. Всё православное воинство прикрывать. Не посрамим Тарусы!

Поставили их у места, где в Непрядву вливался ручей именем Нижний Дубяк. Он разливался широко, но мелко, так что просвечивало дно. Ничего отсюда было не видно – ни куликова поля, где с утра развернулось войско, ни того, что на другом берегу. Он был закрыт густой дубовой рощей, а с утра землю еще и накрыл белесый туман.

Московские дружи́нники ушли, им в бою надлежало беречь особу государя. Тарусцы остались одни. Ждали в готовности, сами по себе.

Было очень тихо.

Установкой пушек распоряжался Шельма. Сделал так, как видел во время пробной пальбы. Каждую велел уложить на кучу плотно сбитого песка. В дуло заложили по шапке огненного праха. Потом забили сколько влезло мелких камней. Еще немножко трайбладунга Яшка насыпал в маленькие дырки сверху – точь-в-точь как это делал Бохов кнехт. Рядом в ведерке тлели горячие угли, торчала раскаленная кочережка.

Успокоенный, что татары этим путем не попрутся, Шельма расхаживал над железными трубами соколом, покрикивал бодрое. Все его слушали, будто он теперь самый главный воевода. И никто не заперечил, когда Яшка велел привязать коней поодаль, под деревом. Может, так для пушечного дела надо.

А надо оно было вот для чего.

Как рать побежит с поля от татарского удара и все замечутся, Шельма дунет прямиком к буланому жеребцу, которого подарил ему покладистый боярин, – и свисти ветер.

Князь сидел хмурый, чертил прутиком по земле, ни во что не вмешивался.

Однако в полдень, когда туман рассеялся, и со стороны поля начал доноситься дальний шум – там разом заорало много тысяч глоток, Глеб Ильич вскочил на ноги.

– И ведь не видно ничего! – закричал он страдальчески. – Эй, Бойка! Посади двоих посмышленней на распряженных лошадей. Пусть встанут у Дона. И ездят сюда по одному, рассказывают.

Двое всадников умчались прочь. А на поле как пошумели, так и перестали. Черт знает, что там происходило.

Князь опустился на колени, снял шлем, начал истово молиться. Подошедшему Яшке сказал, всхлипывая:

– Молю Господа, чтобы татары на нас через брод ударили.

Шельма покивал.

– И я с тобой.

Бухнулся рядом и давай креститься: «Господи, не слушай его! Меня слушай!»

Давно так жарко не молился.

* * *

Прискакал один из дозорных, отправленных наблюдать за полем. Сообщил: подошел Мамай. Наши сначала, увидев татар, грянули боевой клич. А потом поглядели, сколько их, и утихли. Татар же – от края и до края поля.

Князь отправил дружиинника смотреть дальше.

Скоро, но не очень скоро, вдали сызнова завопили – и опять через некоторое время смолкли. Загадку объяснил другой дозорный. Он видел, как перед изготовившимися к сече ратями поскакали на поединок два конных ратоборца, наш и ихний. Все, конечно, давай глотку драть. А эти понеслись прямо друг на дружку. Столкнулись со всего маху. И легли оба, прямо вместе с конями, не поднялись. Тут крик и оборвался.

Ускакал.

Сразу после этого из разных мест загудели трубы, земля будто вдохнула или ахнула своей широченной грудью, закряхтела, замычала, сдерживая боль, – и мучительный этот звук уже не умолкал. Что-то скрежетнуло, грохнуло.

– Сшиблись! – воскликнул князь, вскакивая на ноги.

К нему подошел Сыч.

– Княже, слухачей бы на тот берег послать. В дубраву. Не ровен час

выскочат поганые врасплох, из пушек пальнуть не поспеем.

– Выскочат они, как же... – Голос у Глеба срывался. – Сейчас всё решается там, на поле. Грудь в грудь. Глаза в глаза. Выдержат наши или побегут. Будь прокляты твои пушки, купец! – Это уже Шельме. – Кабы не они, бился бы я со всеми!

Пнул сапогом прибрежный камень, зашиб ногу, запрыгал на другой. Потом, не совладав с горем, прикрыл лицо ладонями и зарыдал.

Пользуясь тем, что князь горюет, ни на что не смотрит, Сыч подозвал двоих мужиков пошустрее, послал на ту сторону: одного левее, другого правее.

– Своеволифь, мельник? – неприязненно прошепелявил Бойка. – Ифь, воли взял.

Сыч на него и не посмотрел:

– Поди-ка к своим бездельникам, не мешай.

Дружины и правда просто стояли или сидели, полностью снаряженные к бою. Иное дело крестьяне – те без работы не привыкли. Сейчас, по приказу Сыча, насыпали в свои неразлучные мешки землю, укладывали за бомбастами плотной стенкой.

– Зачем это, Федорыч? – спросил Шельма, прислушиваясь к рыку дальней сечи. Тот стал ближе. Или показалось?

– От стрел прятаться, – коротко ответил мельник.

– Так князь говорит: не нагрянут татары?

– Береженого Бог бережет.

Из-за поворота реки галопом вынесся гонец.

– Татары ломят! Наши гнутся! – крикнул издали и повернулся обратно.

Смерды замерли. Сыч на них рявкнул:

– Что стали? Рой землю, сыпь!

Задвигались.

Опять примчался дозорный.

– Беда! Великокняжий стяг упал!

– Там будь, там! – махнул ему Глеб. Его лицо прыгало, губы были искусаны.

Ускакал.

И тут же – едва разминулись – появился второй:

– Поднялся стяг! Пятятся, но бьются!

И так было еще не раз. То плохая весть, то совсем плохая. Хорошей гонцы не привезли ни разу.

Теперь уже сомнений не оставалось: шум сражения медленно, но неотступно приближался. Русское войско под ордынским натиском

гнулось, отползло к Дону. Вот-вот побегут – тонуть в реке, пропадать под татарскими копытами.

Яшка давно уже, будто ненароком, прогуливался неподалеку от дерева, где щипала траву боярская лошадь.

Вдруг из дубравы, про которую все и думать забыли, донесся разбойничий свист. И сразу другой, еще пронзительней.

– Слухачи знак дают! – крикнул Сыч. – Держись, ребята!

Татары!

Роща захрустела, затрещала – громче, чем весенний ледолом на Волхове. Потом вся загустела, почернела, будто в ней разом выросло много новых деревьев. Это в дубраву с разгона, тучей, вломилась конная лава.

Все забегали, заметались. Князь обернулся на коня. Понял – не успеет сесть в седло.

Выдернул из ножен меч.

– Вперед! За Русь!

И побежал через ручей, по мелкой воде. Радужные брызги разлетались в стороны, сверкал остроконечный шлем, искры сыпались с длинного клинка.

Дружины тоже сорвались с места, гурьбой. И мужики – но эти не все, меньше половины. Остальных удержал Сыч:

– Куда?! Куда?! К пушкам!

Из-за деревьев, отчаянно перебирая ногами, вынеслись двое слухачей. И тут же следом повалили всадники, так что через несколько мгновений древесных стволов стало не видно.

От страшного этого зрелица кучка, ринувшаяся за князем, рассыпалась. Мужики повернули обратно все. Дружины – почти все. При Глебе, всё так же картинно бежавшем вперед, остались только трое.

Передние всадники на скаку стали стрелять из луков. Воздух наполнился пронзительным свистом, весь зарябил от стремительных, не уследишь взглядом, черточек.

Первым опрокинулся князь. Потом слухачи, так и не достигшие берега. Упали трое не устрашившихся дружины.

А из рощи выкатывались всё новые и новые конники. Теперь стрелы дождем сыпались и на этот берег. Втыкались в землю, в мешки, звонко стучали по пушкам.

Кто-то упал, кто-то, согнувшись, завопил от боли. Остальные кинулись за насыпь, попрятались.

Шельма, оцепенело торчавший посреди луга, очнулся, только когда по

вороту чиркнула юркая, самую малость промахнувшаяся смерть. Обернулся к коновязи. Понял – не добежать. В спину достанут.

Пал наземь, но и там было скверно.

Пшиш! Близко от головы в почву вошла стрела. Пшиш! – другая. Пшиш! – третья.

– Купец, сюда!

Это Сыч кричал, махал рукой, укрытый за мешками.

Яшка пополз к нему на четвереньках, но мельник не стал ждать. Поднялся, подбежал, схватил за шиворот. Потащил к крайней бомбасте. В руке у Сыча чернела, а на кончике алела кочерга.

– Куда тыкать? Пали! Пали, гад!



Теперь было не видно и брова – с плеском, с топотом его заполонила конница. Стрелы летели гуще прежнего, не высунешься. Никто из тарусцев и не высовывался, жались к мешкам, не поднимая голов. Только Сыч да злосчастный Яшка торчали на виду.

– На! Пали!

Мельник совал в руку раскаленную железку. Шельма не брал, мотал головой.

– Куда тыкать? Зубами загрызу! – взрычал Сыч. Ощеренный, всклокоченный, он показался Яшке страшнее татар.

Трясущимся пальцем Шельма показал на запальную дырку.

Сыч качнулся. Ему в середину груди с хрустом вонзилась хвостатая штуковина. Но мельник не упал, а, по-прежнему таща за собой Яшку,

шагнул к бомбасте и сунул кочергой в засыпанное черным прахом отверстие.

В ушах у Шельмы что-то лопнуло. По спине будто стукнуло большущей лопатой.

Это он, сшибленный могучей силой, ударился о землю. В глазах побелело от густого дыма. И стало тихо. Как в могиле.

Оглох.

Близко, всего в шаге, навзничь лежал Сыч. Из-под закрытого глаза у него торчала еще одна стрела.

Но второй глаз вдруг открылся. Сыч рывком сел. Посмотрел единственным оком на Яшку.

Шевельнулись губы:

– Вставай, гад! За мной!

– На что я тебе? Пусти!

Но сильная рука снова ухватила Яшку за шиворот. Поволокла куда-то через сизую тучу.

Мельника шатало. Зажатая в другой руке кочерга прочерчивала во мгле огненные зигзаги. Кончик задел Шельму по ноге. Яшка взвизгнул, вырвался, отскочил.

И Сыч, слава-те-господи, пропал в пахучем тумане.

Снова жахнуло. Грохота Яшка не услышал, но от воздушного удара качнулся.

И еще.

И еще.

А потом уже ничего не было. Оглушенный, ошелевший, Шельма еле держался на ногах, хлопал глазами. Вокруг был дым, только дым.

Но дунул ветерок, и пелена проредилась.

Оказалось, Яшка стоит один-одинешенек. Дружиинников с ополченцами не видать – спрятались за утыканным стрелами мешочным валом. Тяжелые пушки валяются разбросанные и перевернутые. Под крайней, придавленный, лежит неподвижный Сыч. Кочерга отлетела Яшке прямо под ноги, как только сзынова не обожгла. Но удивительней всего, что куда-то подевались все татары.

В воде лежали темные кучи и кучки. На том берегу – тела и лошадиные туши. Край рощи был весь ободраный: ветки переломаны, кора висит клочьями, многие молодые дубки перешлиблины. По-над бродом витают серые облачка еще не совсем рассеявшегося дыма.

...Сзади кто-то дотронулся до Шельминого плеча – он чуть не подпрыгнул.

Щука, подручный Сыча. Глаза выпученные.

– Яков, это всё ты? – беззвучно проговорили губы. Перст дрожал, указывал на побоище.

– Где татары? – спросил Яшка.

– А?

Тоже глухой.

– Татары где? Татары!

– Татары? Убегли. Пушек твоих напугались. А Федорыч где?

– Прилягу я, – слабым, неслышным самому себе голосом пролепетал Шельма. – Мотает меня что-то...

И осел на корточки. Ноги больше не держали. Так же мягко повалился набок. В висках стучало, перед глазами крутились желтые колеса.

Провалитесь вы с вашими битвами. А не хотите – сам провалюсь.

И провалился.

* * *

Падал на жесткое, а очнулся на мягким. Кто-то переложил обеспамятившего Яшку на мешки с травой, пристроил под голову свернутую попону, заботливо укрыл плащом.

Шельма открыл глаза, помигал, вспоминая, где он и что.

Вспомнил. Сел.

На траве в ряд лежали убитые тарусцы, десятка полтора. Князь – отдельно, на телеге, с благочестиво сложенными на груди руками, красивый и строгий. Татарская стрела угодила ему меж стальных пластин, прямо в сердце, так что смерть была мгновенной, и черты не исказились.

Половина оставшихся были ранены – стрелы сыпались так густо, что доставали и в укрытии.

Не успел Яшка оглянуться, как кто-то крикнул:

– Пушкарь опамятовал!

Слышно было глухо, словно через шерсть. Уши еще не оправились от великого грохота.

Шельму обступили.

– Что делать, пушкарь?

Он не столько расслышал, сколько догадался.

– Ноги уносить. Сейчас опомнятся, вернутся – килтык нам всем, – гулко ответил Яшка.

– А? Что он?

И они все тоже оглохли.

– Чесать отсюда надо! Того и гляди татары вернутся, а палить больше не из чего! – Для наглядности он показал на перевернутые бомбасты. – Были пушки, да все вышли!

– Ааа, – протянул Щука. Заорал остальным: – И то! Как мы сами-то не сдумали?

Все побежали – но не прочь от воды, а наоборот, к бомбастам. Навалились, стали укладывать их на места. Кто-то кинулся собирать камни для заряда, другие катили бочонок с прахом.

Ох и дурной же народ! Неужто им мало? Да пропадите вы пропадом!

И Шельма побежал к деревьям. Вскочил на коня, удариł каблуками.

По берегу во весь опор гнал один из дозорных, размахивал снятым шлемом, что-то орал.

Яшка натянул поводья. Понятно: сражение проиграно. Но, прежде чем улепетывать, хорошо бы узнать, в какую сторону бежит войско, – и самому повернуть наособицу.

Дружинник подлетел ближе, и Яшка прочел по губам невероятное:

– Бегут татаре! Бегут! Наш засадный полк по ним ударил! Все поле мертвыми завале...

Тут дозорный увидал, что здесь оба берега – и этот, а пуще того другой – тоже покрыты телами.

– Эвона как у вас... То-то грохотало по-над водой... Ишь, татарвы сколько положили... Ну, у вас тут сеча хуже, чем там, была. – И вскрикнул, посмотрев на телегу: – Ох, князюшка наш! Убит?

Шельма кивнул. Не мог охватить рассудком: как это – русские Орду побили? Разве такое бывает?

– А Бойка где?

– Тоже.

– И мельник?

– И мельник.

Воин перекрестился.

– Значит, теперь ты главный? Что делать велишь? К великому князю скакать, доложить?

– Давай, – равнодушно сказал Шельма.

Ныне, когда бежать-спасаться стало незачем, из него разом будто ушла вся сила. Он зашатался в седле, с трудом слез. Согнулся пополам, густо протошнился. Пал на четвереньки, отполз насколько смог. Свернулся калачиком, подрожал немного и уснул, теперь надолго.

Растолкали его уже вечером.

– Вставай, пушкарь! Едут!

Яшка поднялся. Посмотрел вокруг. Вздрогнул.

Вода в ручье была багровая. Неужто от крови?

Нет, то прощалось с кровавым днем заходящее солнце.

Слух, однако, прочистился. Было слышно, как в покалеченной дубраве радуются обильной жратве вороны.

– Кто едет?

– А вона. Уж не сам ли государь?

Повернулся в другую сторону – и точно: вдоль Непрядвы, от Дона, приближался целый сонм конных. Скоро стало видно, что впереди всех великий князь Дмитрий – голова обвязана тряпкой, рука на перевязи.

Тарусцы, кто мог стоять, обступили Шельму.

Дмитрий Иванович сначала осмотрел побоище, даже в воду заехал. Удивленно покачал головой на посеченные деревья, на груды трупов. Зычным голосом обратился к свите:

– Пронес Господь. Кабы татары отсюда нам в тыл зашли – конец. Ай да тарусцы!



И теперь уже направил коня к кучке уцелевших.

– Где князь Глеб? Обнять его хочу.

Ему показали.

Дмитрий спешился, снял шапку и обнял-таки Глеба Ильича, хоть и мертвого. Облобызal.

– Первым побежал на татар. Первым и лег, – сказал кто-то из дружиинников.

– Первым? – Великий князь обернулся. – А кто над пушками начальствовал? Кто поганых вспять оборотил?

Все обернулись на Шельму.

– Вот он, Яков-пушкарь. Пушки-то его.

Тут Дмитрий Иванович поцеловал и Шельму. Трижды.

Подставляя щеки под жесткие уста московского самодержателя, Яшка думал, что в мире всё стоит на неправде. Истинный победитель татар вон в траве валяется, рачительные мужики с него уж и порты с сапогами сняли. И про сечу эту на куликовом поле, на Непрядве-реке, тоже потом всё переврут. Станут чествовать одних, кого, может, и не за что, а тех, кого надо

бы, и не вспомнят. И всегда оно так... Ладно. Не нами мир поставлен, не нам его и бранить. Особенно ежели он в твою пользу неправдствует.

— Хороши твои пушки, ох хороши, — сказал великий князь. — Не продашь ли? Ты ведь купец, я помню. Продай, у меня ныне серебра много. В Мамаевой ставке взяли. Хочешь по весу дам, серебро за железо? Сколько они весят, твои бомбасты? Пудов по пять, по шесть?

— По семь с половиной, — быстро ответил Шельма.

— Ну, тридцать пудов серебра я тебе не дам, — спохватился Дмитрий Иванович. — А пятнадцать — пожалуй.

Яшка только крякнул, абаcus в голове так и защелкал. Пятнадцать пудов это... шестьсот фунтов... один фунт — сто немецких серебряных грошей. Сколько же это выйдет?

Святая заступница! Истинно богатство к богатству!

Приняв молчание за колебание, князь вкрадчиво добавил:

— А за доблесть в бою еще ярлык тебе дам на беспошлинную торговлю по всем московским землям. И грамоту о том велю выписать.

Московский ярлык с Егорием Победоносцем — все равно что ордынская пайцза. А теперь, пожалуй, и ценнее. Где она, Орда? А Москва взлетит высоко.

Подождал Шельма немного, не расщедрится ли великий князь еще на что-нибудь. Но и так выходило куда как щедро.

Плеснул рукой:

— Эх, была не была! Забирай, государь! Себе в убыль, Руси-матушке на пользу!



Плач о Страшном Суде и неотвратном воздаянии



Назад не ехали, а еле волоклись. Кабы не поклажа в бывшей пушечной повозке, Яшка полетел бы на быстрых крылах к драгоценной змеюшке, разлука с которой томила его нетерпеливое сердце, но пятнадцать пудов московских рублей, рубленого серебра, держали крепко. Да и опасно было по нынешним временам шляться по степи в одиночку: всюду бродили отбившиеся от Орды татары, и своих, русских лиходеев, сбежавших из войска в расчете погулять-пограбить, тоже хватало.

А тут охрана, и все с почтением. Держат за главного начальника и былинного богатыря. Пришлось даже отчество себе выдумать – ни в какую не желали обращаться к такому большому человеку без величания. Был Яшка, стал Яков Дмитрич, в воспоминание о московском князе, отце-благодетеле.

Плелись по-улиточьи по двум причинам, и обе досадные.

Во-первых, из-за мертвого князя. Он лежал в передней телеге, накрытый от мух лопухами. По-русски, видишь ли, покойников быстро не возят, только медленным, скорбным шагом.

Во-вторых, из-за раненых. Самых слабых пристроили на вторую телегу, а двоих тяжелых кое-как уложили на Шельмино серебро. Но остальные ковыляли на своих двоих, скоро уставали, и приходилось останавливаться, ждать, пока отдохнут.

За день проходили верст десять, много пятнадцать. Яшка сначала

злобствовал, но потом смирился, ибо что толку злиться на обстоятельства, изменить которые невозможно? Научись получать от них выгоду либо приятствие, и тем будь отраден.

Выгоды никакой не изобрелось, поэтому Шельма удовольствовался приятствием. Ехал важно, впереди всех, чтоб не глотать пыли, и лениво размышлял про всякое досужное. Такое умственно-бесполезное занятие именовалось «философия».

Вот взять человеческую жизнь. На что она похожа? На доску для Боховой игры в шахи. Двигаешься малой фигуркой с черного на белое, с белого на черное, и окружные хотят тебя сожрать, а ты норовишь слопать их. Однако это одна видимость, ибо на самом деле перешагиваешь с клетки на клетку не ты, а тебя переставляет чья-то рука. Не ты играешь – тобою играют. И что у Играющего на уме, фигурке понять не дано. Только что стояла она прегордым ферзем на белом поле, и вот уже валяется в гробовом ларце. Но бывает и иначе. Был ты пешкой бессильной, готовился проститься с белым светом, но невидимая рука довела тебя до некоей заветной черты – и стал ты ферзем, царем природы. И все тебе нипочем.

Кроме жизни размышлялось о вовсе непривычном – о смерти. А как о ней, проклятой, было не думать, если повсюду валялись мертвые татары? Обоз следовал через места, по которым только что гнали-убивали разбитую Орду.

Мир выглядел так, будто Апокалипсис уже грязнул, Страшный Суд свершился, малое число праведников вознеслось за облака, а все прочее человечество по грехам его истреблено в корень и брошено догнивать на опоганенной Земле.

Глядя на трупы – ободранные и раздетые (с этим у нас быстро), Шельма вспоминал древнее речение: человек рождается наг и таким же нагим уходит, сколь бы ни был богат. Это бы ладно. На том свете одежды и богатства ни к чему. Однако, если верить попам, за всё содеянное на земле придется нести ответ на Страшном Суде: за убийства, обманы, покражи и прочее. В убийствах он, Яшка, не грешен, однако по другим статьям поналипло много чего. Предстанешь пред Господом наг и очевиден – не отопрешься, не словчишь.

С другой стороны, нужно ли верить попам? Может, они это для своего удобства измыслили, чтобы людей пугать. Нет, наверное, никакого Страшного Суда, брехня всё. Семь лет назад был у Шельмы напарник, поп Лужка. Устроились они на дороге в Троицкую обитель, куда паломники к старцу Сергию Радонежскому за наставлением ходят. Яшка изображал на перекрестке юродивого. Показывал богомольцам, которые побогаче, как к

праведнику дойти: тропочкой, через лес. А там, в чаще, стоял скит, где сидел Лужка, кормил ручного медведя, представлял из себя святого старца. Поп изрекал мудрое, принимал подношения на обитель. Хорошо поживились. Лужка был враль и выверт каких мало, а тоже боялся Страшного Суда. Бывало, напьется и плачет, что черти его будут на огне жечь. И хорошо бы, потому что в конце концов Лужка надул товарища – сбежал со всем хабаром. Непременно его за это покарает Господь.

Кроме философского думалось про земное, привычное.

Что-то засомневался Яшка, надо ли ему уезжать за моря. Там, конечно, порядку больше и богатому купцу есть где развернуться. Это правда. А на Руси жуть, на Руси татары, на Руси нет закона торговому человеку в защиту. Тоже правда.

Однако где жуть, там и прибыль – давно известно. Татары ныне – от дохлой кобылы хвост. А что касаемо беззакония, то это страшно для слабого, для сильного же очень даже приятно. С ярлыком, с грамотой от самого великого князя Шельма попадал в сильные, на кого никакой посадник-воевода не тявкнет. С пятнадцатью пудами серебра, да с алмазной змеей, которая того серебра вдесятеро дороже, да с государевым покровительством, да с беспощадностью – это ж как развернуться можно!

И было еще одно соображение, немаловажное. В Европе рано или поздно могут явиться от Боха – тот же (бррр!) Габриэль. У Ганзы всюду свои лазутчики. А на Руси поди-ка, немчура, сунься к государеву подзащитнику.

Вот и гляди, нужно уезжать в чужие края либо нет.

Если прискучивало философствовать и прикидывать будущее, Яшка запускал буланого вскачь, носился по полю широким кругом – прочистить голову ветром. Далеко от своих, впрочем, не отъезжал, мало ли. И постреливал во все стороны взглядом, потому что у умного человека глаза всегда в работе: нет ли где какой опасности или, наоборот, выгоды.

На третий день медленного пути, верстах в тридцати от поля браны, остановился над одним из мертвцев. Их тут было меньше, но все еще попадались.

Сначала внимание привлек издохший конь – белый, тонконогий, чистых арабских кровей, хоть царю под седло. Потом посмотрел на лежавшего здесь же покойника да присвистнул.

Это и был царь. Верней хан, что одно и то же.

Мухаммед-Булак, некогда прекрасный собой юнош и законный государь Золотой Орды, а ныне просто голый труп с рассеченным

затылком. Видно, под ханом споткнулся скакун, и налетела погоня, да не разбирая рубанули с плеча, а после ободрали вчистую.

Вон оно как с ферзями-то бывает...

Подъехали телеги.

– Знакомого встретил, Яков Дмитрич? – спросили у Шельмы сочувственно.

– Да. Боярина одного сыновок.

– А похож на татарина.

– Мать у него татарка. Похороните его честно, ребята.

Закопали Чингисханова потомка наскоро, неглубоко. Сверху выложили крест из камней – дерево в этих голых краях взять было негде. Один дружинник знал молитвы, попел немножко, да и поехали дальше.

Не то чтоб Шельме было жалко оставлять высокородного отрока, несосватанного жениха на поклев воронам, но есть правило: видишь нечто, имеющее ценность, не оставляй на дороге, прибери в укромное место. Может, после пригодится.

И ведь пригодилось.

Еще через два дня, в диком поле, случилось нехорошее.

На дальнем кургане откуда ни возьмись вырос всадник в малахах. Поднял руку с нагайкой, и через минуту вокруг, будто из-под земли, собралось не меньше сотни других.

Татары! Готовятся напасть!

Тарусцы сбились вокруг повозок, загаддели.

Было их человек сорок, половина израненные. Погибать всегда неохота, а после победы, недалеко от родного дома – особенно.

– Пропали мы! – кричали одни.

– Биться будем или как? – вопрошали другие.

Им отвечали:

– Как биться-то? Стрелами истыкают, а нам и укрыться негде.

И все смотрели на Яшку – что прикажет.

Он опомнился от испуга первым.

– Всем здесь быть! Я поеду к ним, поговорю. Если махну шапкой, не ждите меня, езжайте дальше.

– Куда на погибель, Яков Дмитрич? Лучше вместе ляжем! Может, пронесет Господь!

Но какой там «пронесет» – конники уже начали спускаться с холма, разгоняться для атаки.

Шельма пришпорил коня, помчался навстречу, размахивая рукой.

Кричал по-татарски:

– Эгегей! Погодите! Не стреляйте!

Татары остановились. Куда им было торопиться?

Подъехав, Яшка объявил:

– Я свой, татарин. Переоделся после битвы, прибрался к русам. Кто у вас начальник?

– Ну я, – ответил сотник.

– А над тобой кто?

– Давлет-бек.



- Веди меня скорей к нему. Дело великой срочности и важности!
- Да кто ты такой? Из какого улуса? Кому служишь?
- Я человек благородного Шарифа-мурзы. Слыхал про такого?
- Как не слыхать...

Сотник глядел то на Шельму, то на обоз. Во взгляде читалось недоверие.

- А может, ты нас от русов уводишь? Что у них в повозках?
- Убитые и раненые. Нельзя время терять! Поспешим! Если что – догоните их. Куда они в степи денутся? Скачем к вашему беку. Скорее!

Юзбаш нехотя развернулся коня.

– Ладно. Но если соврал, пожалеешь.

Махнул Яшка своим – езжайте, увозите мое серебро, и поскакал с татарами.

Меньше чем через час прибыли они к немалому становищу, подле которого пасся огромный табун лошадей. Пока мчали рысью, сотник объяснил, что они, люди Давлет-бека, ловят осиротевших коней, которых после битвы по степи бегает множество тысяч, и отбирают самых лучших. Видно, бек этот был не дурак. Сообразил, что и от поражения можно поживиться.

Очень хорошо, что не дурак.

– Верно ли, что ты слуга Шарифа-мурзы? – вот первое, что спросил, выслушав сотника, горбоносый, узкоглазый татарин в грязном шелковом халате, перепоясанном красным кушаком. – Я знаю Шарифа-мурзу. Ну-ка, какая у него любимая присказка?

– «Чтоб мне не насмешить Аллаха», – ответил Яшка и сразу перешел к делу.

– Это и есть важное? – Бек пренебрежительно дернул плечом. – Кому нужен дохлый хан? Он и при жизни мало что значил. За труп Мухаммед-Булака я от Мамая ничего не получу.

Не дурак, но и не шибко умен, понял Шельма. Пришлось объяснить:

– От Мамая не получишь. А вот Тохтамыш тебя одарит щедро, когда получит доказательство, что законный хан мертв. Впрочем, как знаешь. Поскачу к Шарифу-мурзе. Он мудр и понимает, на чьей стороне сила.

– Постой, постой... – забормотал Давлет.

Сообразил: чем разбитого Мамая держаться, лучше перейти к новому господину. С таким-то подарком!

– А далеко до того места?

– Быстро поедем – за пару часов домчим.

– И что ты хочешь за указку?
– Двадцать лучших коней из табуна, на мой выбор, дашь?
Татарин облегченно рассмеялся.
– Бери. Других наловим.

Своих Яшка нагнал вечером, на привале. Был он усталый, но очень собой довольный.

Услышав топот, тарусцы с перепугу опять сбились в кучу, ощетинились копьями-топорами. Когда увидели, что это Шельма с ватагой ладных коней, – глазам своим не поверили.

– А мы сидим, тебя поминаем! Вот-де человек – татарам головой сдался, а нас спас! Как ты, Яков Дмитрич, цел? Откуда лошади?

– Угнал, – скромно молвил Шельма. – Как поганые спать улеглись, я путы развязал, да и был таков.

С седла спустился не сразу. Дал им полюбоваться, какой он молодец. Подбоченился, да прищурился, да на лбу величавую морщину прорисовал.

Приятно, когда на тебя глядят с восхищением.

* * *

До Тарусы тащились почти две недели.

Уходили на войну жарким летом, вернулись холодной, дождливой осенью. Сентябрь был на исходе.

Со скуки Яшка занимал голову уже вовсе пустяками. Глядел, например, на косяк журавлей, летящих в дальнюю Индию, и думал, что хорошо бы приручить вожака. Тогда каждой птице можно привязать на ногу по низке янтаря, который у них там дорог. А весной птицы прилетали бы обратно, приносили бы алмазы, яхонты, лалы и смарагды. Еще пряности в кожаных мешочках, чтоб не отсырели.

Нет, нельзя. Как только люди прознают – перестреляют из луков к черту все журавлиные стаи и пропадет навеки красивая птица.

А еще хорошо бы найти огненному праху не смертоубийственное, а полезное применение. Скажем, прикрепить к задку повозки малую пушечку, чтобы стреляла быстро и понемногу. Пальнешь – повозка сама вперед катится. Остановилась – снова пальнуть. И ехать веселей, и лошадей не надо.

Много всякого такого напридумывал, пока ехали. Но вот наконец над речной излучиной показался невеликий, подернутый дымкой градец, и

Шельмино воинство ускорило шаг, зашумело. Кто-то крестился, кто-то всхлипывал, дружинники понабожней читали благодарственную молитву.

Скоро и из Тарусы заметили. Радостно, а в то же время и тревожно ударил колокол. С холма вниз побежали бабы, ребятишки.

Их обогнала легкая коляска одвуконь. Яшка прикрыл ладонью глаза от встречного солнца, увидел за спиной у возницы красную шапку и лазоревый плат. Через полминуты понял: боярин Солотчин с дочкой. Переупрямила, значит, Степания Карповна батю. Пожелала дожидаться жениха в его тереме. Сейчас увидит, что суженого на телеге привезли, то-то будет реву...

– Разверните князя. Уложите поблагостней! – велел Шельма своим и пришпорил коня, поскакал навстречу.

Захотелось полюбоваться ясным лицом красавицы, пока оно не исказилось от горя. Зачем себе сердце рвать?

– Яков, ты? Стой, стой! – закричал боярин вознице.

Соскочил наземь, кинулся, схватил за уздечку. Был он какой-то вертлявый, суетливый, всё в глаза заглядывал, искательно улыбался. Шельма на него, впрочем, не смотрел. Пожирал глазами боярышню. Господи, до чего ж лучезарна!



Дева была бледна. Слегка поклонилась Яшке. Тихо спросила:
– Где Глебушка? Неужто вправду мертвый?
Знает уже, стало быть.
Шельма неопределенно махнул назад:
– Там он... На телеге.
– Поди, доченька, поди, попрощайся, – нетерпеливо сказал
Солотчин. – Князь Глеб Ильич за Русь-матушку сгинул. Святое дело.
Медленно, нерешительно Степания пошла по дороге. Дружины и

мужики остановились, обнажили головы.

Боярин же потянул Шельминого коня в сторону. Зачастил шепотом:

– Беда у меня, Яша, кругом беда! Мамай с поля бежал – всю Рязань пожег, разграбил. Не поглядел, что союзники. Потом московские прошли, хуже татар разорили – за ордынское пособничество. Не осталось у меня ничего. Пепелище. Смерды все поразбежались. Сам-двоє с дочкой ушел. И возвращаться некуда. Вотчину-то Дмитрий Иванович, верно, отберет, на кого-нибудь из своих бояр отпишет...

Старик заплакал.

А Шельма всё оборачивался, смотрел на Степанию. Ох походка, ох стать!

Вот дева подошла к скорбной повозке. Всплеснула ручками, зажала нос, попятилась.

Ничего не поделаешь, милая. Герои – они только при жизни герои, а как помрут – мертвое мясо, и оно тухнет.

Отвернулся, направил коня к городу.

Солотчин семенил рядом.

– А про тебя, Яков, слава идет. Отличился ты в славном сражении, побогатырски. Говорят, будто великий князь тебя щедро наградил серебром. С богатством тебя, Яшенька!

– Что мне серебро? Я и так богат. Видел, каких лошадей себе добыл? Княжеских! Да и лошади – тьфу, – похвастался Шельма, предвкушая долгожданную встречу с ненаглядной змеюшкой-лапушкой. – Захочу – дюжину таких Тарус куплю.

– И, сказывали, государь Дмитрий Иванович к тебе милостив?

– Лобызал в уста, сулил всякое, – подтвердил Яшка.

Карп Фокич всхлипнул:

– Замолвил бы ты перед ним словечко за старика, а?

– На что ты мне сдался? – удивился Шельма. – Просьбу государю на тебя тратить. Я лучше для торговли что себе выпрошу.

Сзади зазвякала сбруя. Это догоняла коляска. Степания сидела на резной скамеечке, утирала слезы. Зря Яшка боялся – ясное лицо боярыни и в скорби было прекрасно. Будто зашло златое солнце, и вместо него на небе воссияла серебряная луна, нисколько не уступающая красой дневному светилу.

Вдруг Солотчин, приметивший Шельмин взгляд, сказал вкрадчиво:

– А бери мою Степашу в жены. Приданого у ней теперь нет, но зачем тебе? Ты и так богатый. Зато она боярская дочь. И собою сахарна.

Яшка чуть не задохнулся:

– Ну ты, боярин, и змей! На что уж я бесстыж, да где мне до тебя! Душа у тебя есть или вся проходилась? Ты что плетешь?! Девка по жениху слезы льет, а ты ее продаешь!

И не мог дальше говорить, поперхнулся возмущением.

Карп Фокич, не обидевшись на уязвительные речи, пожал плечами:

– Я свою дочку лучше тебя знаю. Она плачет, что ей не судьба тафтяное венчальное платье надеть. Бежали из усадьбы, только его, к сердцу прижав, и вынесла. Степанушка моя – бабочка луговая. Ей бы порхать с цвета на цвет, а более ничего не нужно.

– И пусть порхает! – заступился Яшка за чаровательницу. – Летала бы, крыльшками махала, божий мир собою красила!

Боярин обрадовался:

– Вот и я о том же. С богатым купцом ей хорошо будет. Ты ведь для нее не поскупишься на всякие услады, украсы, наряды да игрища? Знаю, что не поскупишься. Будет Степания с тобой счастлива, и мне погорельцу выгода. Не попустишь же ты, чтоб твоего тестя обидели?

Шельма молчал, глядя на Степанию Карповну. Та вытерла слезы шелковым рукавом, и лицо освежилось, будто на смену ночи вновь пришел рассвет. Глаза от плача стали только яснее и ярче. На покойника боярышня не оглядывалась. Бабочки долго печалиться не умеют.

Представил себе Яшка, что она будет с ним рядом каждый божий день, – и задохнулся. Вот оно, счастье, а вовсе не злато-серебро, не каменья драгоценные!

Однако тут же и про каменья вспомнил.

Город был уже вот он, до княжьего терема рукой подать. Там, под крыльцом, уезжая на войну, Шельма и спрятал свое сокровище. Ах, змея волшебная, заколдованная! Обернулась красавицей-боярышней. Но при этом и сама, будем надеяться, никуда не пропала.

– Согласен ты аль нет? – с беспокойством спросил Солотчин.

– А она-то что? Вдруг не захочет? Я собою не красавец, с князь-Глебом не сравнюсь.

– Ну, рядом с ним теперешним ты красавец хоть куда, – криво ухмыльнулся боярин, видя, что рыбка клюнула. – Я сейчас, Яшенька, я мигом.

Побежал к коляске, закричал вознице, чтоб придержал лошадей.

Шельма же тем временем спешился у высокого крыльца. Огляделся.

На площади было пусто. Все побежали встречать ратников. Тарусцам не до Яшки. Кто-то сейчас радуется, кто-то воет.

Однако ж осторожности ради еще немножко прошелся. Сделал вид,

будто нечто обронил, опустился на корточки. Отодвинул доску, сунул руку...

Есть! Кожаный пояс был на месте, и в нем прощупывалась заветная цепь.

Распрямился, опоясался уже безо всякой опаски.

А здесь как раз и Солотчин окликнул. Его разговор с дочерью длился недолго.

Еще не отошедшее от радости сердце ёкнуло.

Отказала! Иначе и быть не могло...

Подходил к коляске – страшился столкнуться с негодующим, презрительным взглядом Степании Карповны. Да как он смел хоть на минуту подумать, что она с ним, червем, под венец пойдет...

Но боярышня смотрела не гневно, а испытывающе, словно видела Шельму в первый раз.

Вздохнула:

– Некрасивый. Пятно какое-то на лбу. Ты хоть добрый?

– Не злой, – честно ответил Яшка.

– А меня любить будешь?

Он встрепенулся – вспомнил науку, как с бабами разговаривать. Степания Карповна тоже ведь баба, пускай и первая раскрасавица на всем белом свете.

– Как же тебя не любить? – воскликнул он. – Пылинки сдувать буду. Лепестками розовыми осыпать. Жить со мной станешь, как на облаке небесном. Что пожелаешь – то и сделаю. Луну для тебя с неба достану и звезды прихвачу...

– Некрасивый, а говоришь красиво. – Дева улыбнулась. – Мне нравится тебя слушать.

– А сколько я сказок знаю! – пуще того воодушевился Шельма. – И не только сказок. Я всюду бывал, всякое повидал. Каждый день тебе буду про чудеса рассказывать, про дальние страны, про волшебные приключения.

– И про рыбку-кит? И про мертвую царевну?

– Про что захочешь. Ты вот про пятно на моем лбу помянула. А это не пятно, это знак судьбы.

Он придвинулся, чтобы показать клеймо. Степания дотронулась пальчиком – у Яшки по коже пробежали огненные мурashki.

– Ой, змейка!

– То не змейка, а латинская буквица S, как наша буква «Слово». Начало твоего имени: Степания. Знак этот у меня на челе с рождения, потому что ты мне Богом сужена.

Лучистые глаза широко раскрылись.

– А пошто буквица латинская? Я ведь русская.

Яшка снисходительно молвил:

– Боярышня, а святцев не читала. Святая Стефания латынянка была.

Не знала?

– Нет...

– Я тебе и про нее расскажу. Ты ведь в ее честь поименована.

По ясному челу девы вдруг пробежала тень, глаза вновь наполнились слезами. Яшка испугался: не так что сказал?

– Платье-то мое, венчальное, когда я его из горящего дома выносила, попортилось... Рукав правый почернел...

– Пойдешь за меня – другое пошьем, еще краше. Десять платьев хочешь? Иль двадцать?

Длинные ресницы качнулись, пали две хрустальные капельки – и съзнова просияла улыбка.

Карп Фокич больше ждать не стал. Вытащил из-за пазухи образок на снурке, воздел.

– Станьте предо мной, деточки! Благословлю на совет и любовь!

Осенял крестным знамением – сам прослезился.

А Шельма, ерзая на земле коленками, думал: я много былей и небылей знаю, но эта сказка всех чудесней. Не проснуться бы только.

– Поцелуйтесь, – велел боярин.

Коснулся Яшка своими грешными губами нежных уст Степании, вдохнул сладкий запах ее кожи – и чуть не лишился чувств. С такой жизнью и рая не нужно.

– Счастлива со мной будешь, Богом клянусь, – сказал он невесте.

Она кивнула.

Будущий тесть, поднимая Яшку под локоток, вдруг спохватился:

– Про Бога-то... За важной беседой совсем запамятовал, прости старика. Ждет тебя тут один человек. Третий день уже.

– Кто? – удивился Шельма. – Где?

– А в приезжем доме. – Боярин показал на большую избу, что стояла на другой стороне маленькой площади. – Знакомый твой. Нерусский, а уважительный. Тоже купец. Угощал нас со Степанушкой заморскими сладостями. Звать его Бох, имя такое.

И стали у Шельмы ноги, будто не из костей-мяса, а из гнилого сена. Подогнулись.

Обернулся он на приезжий дом. А там окно нараспашку, и стоит у того окна хер Бох собственной тучной особой, улыбается, манит пухлым

перстом. Из-за плеча у немчина торчит Габриэль, и этот-то не улыбается, а глядит, будто бомбасту навел – сейчас выпалит.

* * *

И потемнел вдруг белый свет, и стал серым, а потом черным. Это откуда ни возьмись налетела буря: засвистел ветер, из темной тучи, придавившей землю, хрустнуло громом, ослепило молнией. Полетели листья, сор, обломанные ветки. Столбом взвилась, завихрилась пыль и тут же пропала, смывая хлестким косым ливнем.

У боярина сдуло с головы шапку, у Степании лазоревый платок, и побежали они догонять пропажу; всхрапнули лошади, укатили коляску вместе с согнувшимся возницей; ускакал, бешено тряся гривой, Яшкин конь.

Шельма стоял под ураганом на опустевшей площади один-одинешенек, сирый и погибший, не двигался.

Но Бох шевельнул пальцем еще раз – плавно и даже не грозно, будто тянул за невидимую лесу, и поплелся Яшка на мановение. Бежать и не потщился. От судьбы кто сбежит? И как? Конь – и тот покинул несчастливца.

Как поднялся в дом, как вошел в горницу, не запомнил. И горницы не разглядел. Было там сумеречно, лишь серел прямоугольник слюдяного окна, уже прикрытого от бури.

Посреди темного покоя – стол, за столом – Бох, позади него, скрестив на груди руки, – Габриэль. Смотреть на них Яшка не решился. Просто встал перед судьей, потупился.

Страшный Суд – вот он где, а не там, на поле мертвецов. Ибо Страшный Суд – это когда судят не кого-то другого, а одного только тебя. И нет ни исхода, ни надежды.

Бывший ферзь, скинутый с шаховой доски, не пробовал выкрутиться, не оправдывался, не молил о пощаде. Какие тут могут быть оправдания, какая пощада?

– Габриэль, возьми, – сказал купец.

Яшка зажмурился, съежился.

Тяжелые шаги. Грубая рука рванула с чрева кожаный пояс. Однако ни удара, ни какого иного насилия за тем не последовало, и Шельма, устав сдерживать дыхание, глотнул воздуха, открыл глаза.

Бох стоял у окна, любовался алмазной змеей, которая умильно

извивалась в его руках.

– Недоумеваешь, как я тебя съезживаю нашел? – спросил купец, покосившись на Яшку. – Очень просто. На свете вообще всё много проще, чем кажется. Габриэль видел, как ты выезжал из города с отрядом воинов. И кожаного пояса на тебе не было. Оно и правильно, ибо зачем брать сокровище на войну? Я понял, что змея спрятана где-то здесь и что ты за нею непременно вернешься. Вот ты и вернулся...

Теперь он смотрел прямо на Шельму. Глаза привыкли к полумраку, и Яшка прочел во взоре немчина не гнев, а одно лишь любопытство.

– Скажи, а что это старый мошенник фон Золотшин махал над тобой и дочерью иконкой, крестил воздух? Неужто сия редкостная красавица достанется тебе в жены?

– Теперь уж не достанется... – прошептал Яшка и всхлипнул – жалко стало несбывшегося счастья.

– Что ты бормочешь? Не слышу. Габриэль, побудь за дверью. Он при тебе от страха ни слова сказать не может.

– Неужто она согласилась? – живо спросил Бох, когда они остались вдвоем. – Я видел, как вы поцеловались, и она не отстранилась. Даже не выказала отвращения, что было бы естественно, если б отец выдавал ее замуж против воли.

– Согласилась... – пролепетал Шельма.

– Значит, что-то в тебе усмотрела. – Купец удивленно покачал головой. – А говорят, чудес не бывает.

– Не бывает, – хмуро молвил Яшка. – Только подумаешь, что бывают, а потом видишь: нет, не бывают.

Наступила тишина. Ненастье, столь внезапно налетевшее на Тарусу, так же быстро и кончилось. Гром больше не гремел, мир прояснился.

Бох подошел к окну, снова его открыл.

– Поди-ка сюда.

«Чего тянется? – думал Шельма, приближаясь. – Будто кот с мышонком».

По площади ехал обоз: впереди скорбная телега с телом тарусского князя, за нею остальные.

Небрежно показав на повозку с рогожными мешками, Бох спросил:

– Это серебро, которое ты получил за мои бомбасты? Сколько заплатил тебе эрцгерцог?

Яшка сказал сколько.

– Неплохая коммерция. Наверное, ты хочешь долю за посредничество?

«Глумиться-то зачем?» – укорил купца Шельма, но, конечно, мысленно. Вслух же поспешно сказал, плеснув руками:

– Что ты, что ты!

Вспомнил еще одну свою вину. Вынул покраденную печатку.

– Вот, майнхер, твоя...

Бох коротко глянул, не взял.

– Один черт знает, где ты успел ею нашлепать. Я давно разослал эстафету, что моя старая печать недействительна. – Он встал прямо перед Яшкой. – ...Ох, плут, и доставил же ты мне хлопот. Редко кому удавалось меня надуть. А дважды – только тебе. Эй, Габриэль, войди!

Вот и всё. Конец. Яшка затрясся, снова закрыл глаза.

Услышал позади скрип досок. Потом – спереди – донесся неожиданный звук. Хихиканье?

– Ой... не могу... Габриэль, ты помнишь? Я расхваливаю канцлеру Мамаю и молодому королю мою алмазную цепь, у Магомет-Булака разгораются глаза, и тут ты вытягиваешь из своего кожаного пояса какую-то грошовую медяшку, и с нее на пол сыплются кусочки свинца! Я видел на своем веку много смешного, но такого – никогда!

Шельма раскрыл глаза – и не поверил им.

Бох хототал! Глаза сверкают, зубы блестят.

– Незабываемая минута! За нее тебе, Шельма, спасибо. И гоняться за тобой, вычислять, как сработает твой хитрый ум, тоже было... – Купец не сразу подобрал нужно слово, – ...нескучно. Да перестань ты трястись. Ничего я тебе не сделаю. И Габриэль тебя тоже не тронет.

Палач зарычал – обещание ему не понравилось.

Но Бох строго сказал:

– Стыдись, Габриэль. Ты лежал перед ним беспомощный, он мог тебя зарезать, как ягненка. Но не сделал этого. Этим он рассчитался с тобой за все обиды. Ну-ка скажи: «Я пальцем не трону Йашка Шельм, даже если встречу его в безлюдном месте. Клянусь!»

Страшный человек попыхтел-попыхтел – и повторил.

– Молодец. Ступай.

Они снова остались вдвоем.

Яшка помялся, осторожно спросил, еще не до конца поверив в спасение:

– А как мне... дальше-то?

– Да как хочешь. – Бох пожал круглыми плечами. – Сейчас навсегда рас прощаемся. С тобой, конечно, весело, но очень уж хлопотно. Катись на все четыре стороны. Алмазную змею и плату за бомбасты я забрал, но, кажется, у тебя есть табун отменных лошадей? К тому же, слышал я, эрцгерцог Димитр даровал тебе завидные льготы? Вот и торгуй, это лучшее

занятие на свете. Более выгодное, чем плутни. Береги свою невесту. Девушка она глупая, но нежная сердцем и очень красивая, а это редко бывает, чтобы в женщине совпадали два столь драгоценных качества. Живи с ней, не обижай.

– Я баб никогда не обижаю, – сказал Яшка. Он уже понял, что бояться нечего, и сразу осмелел. – Скажи, майнхер, а зачем я был тебе нужен? Зачем ты меня с собой в Орду взял? Татарский язык ты знаешь, в пути управился бы и без меня. А чего от меня ждать, верно, догадывался.

– Не очень, – хихикнул Бох. – Поди угадай, что ты выкинешь. На свете знаешь чего меньше всего? Нескучного. От людей мне давно скучно, а ты занятный. Дорога-то длинная. Не с Габриэлем же мне было досуг коротать. А еще вышла мне от тебя великая и нежданная польза. Зря я, оказывается, на Мамая ставил. Побили его русские – вот уж воистину чудо из чудес. Хорош я был бы перед королем Тохтермишем, если б помог его худшему врагу. А теперь у меня руки свободны. Благодаря твоей каверзе вышло только лучше.

– И поэтому ты оставляешь меня в живых?

– Ты сам себя оставляешь в живых. Посмотри на ту ветку. – Купец показал на росший за окном вяз, с которого буря сдула все листья, кроме одного-единственного, чудом уцелевшего. – Вот и ты такой же. Цепкий. Я люблю цепких.

И продолжил, вполголоса:

– Значение имеет дерево, а не листья на нем. Для здорового роста даже необходимо, чтобы листья гибли и обновлялись. Дерево растет медленно. Главное, чтобы он не засохло, не погибло от удара молнии, чтоб не искривился и не расщепился ствол. А сколько распустится и увянет листвьев, сколько их сорвет ветер – важности не имеет. Что жалеть листья?

– А? – подумав, спросил Яшка.

Бох удивленно взирался на него:

– Ты еще не ушел? Мы обо всем поговорили. Прощай.

Сел к столу, придинул конторскую книгу, подпер рукой большую голову, надел на нее барет – значит, беседа окончена.

На цыпочках, стараясь не мешать, Шельма двинулся к двери. Но на пороге задержался, обернулся, покашлял.

– Чего тебе еще? – оторвался от записей Бох.

Яшка нерешительно спросил:

– А ты точно немец?

– Немец-немец, кто ж еще, – буркнул купец и снова уткнулся в цифирь. – Всё. Иди себе с Богом. Надоел.

